Д. П. КОНЧАЛОВСКИЙ — ВОСПОМИНАНИЯ И ПИСЬМА

Д. П. КОНЧАЛОВСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ И ПИСЬМА

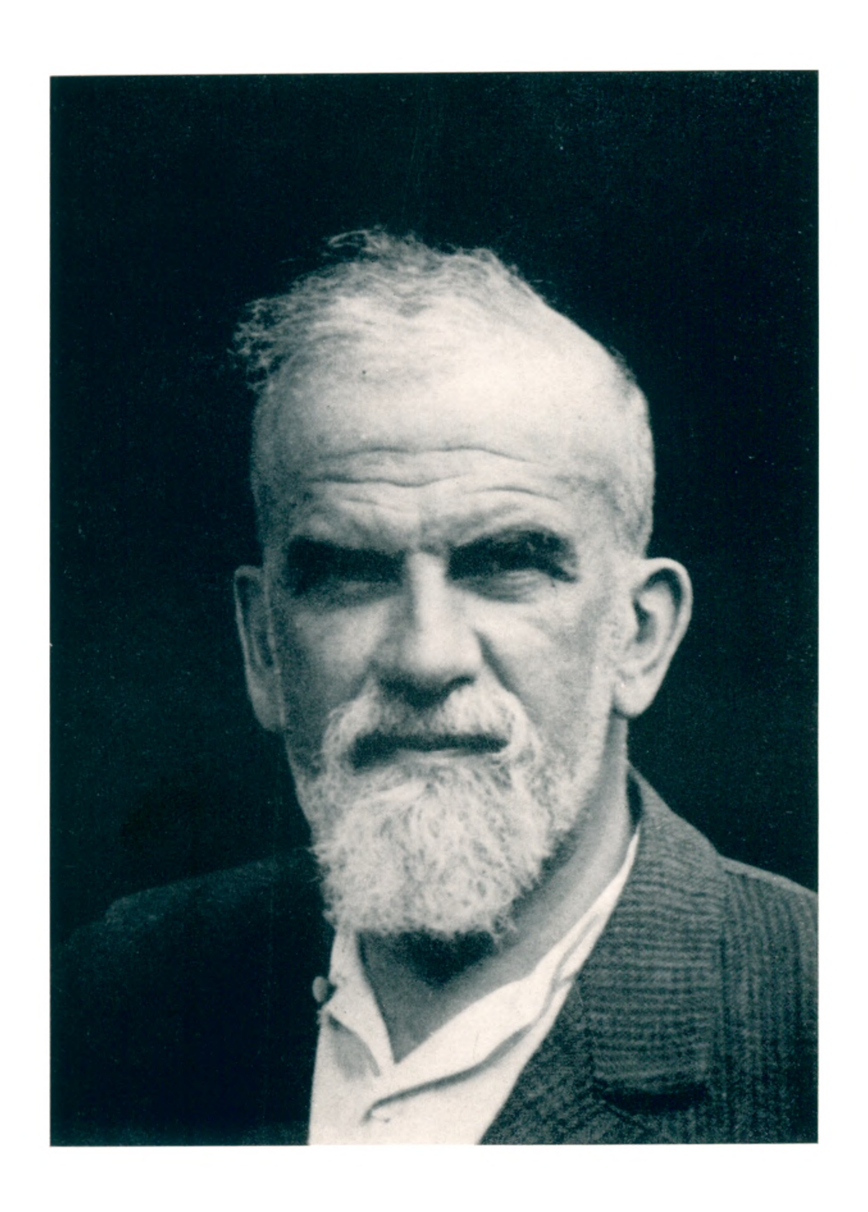


LIBRAIRIE DES CINQ CONTINENTS

PARIS

Collection
LES INÉDITS RUSSES
Vol. III

ВОСПОМИНАНИЯ
И
ПИСЬМА

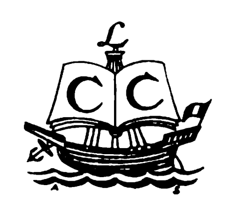


Дмитрий Петрович Кончаловский в 1936 году

Д. П. КОНЧАЛОВСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ
И
ПИСЬМА

(От гуманизма к Христу)



PARIS
LIBRAIRIE DES CINQ CONTINENTS
18, RUE DE LILLE (7e)

Того же автора:

ПУТИ РОССИИ. Размышления о русском народе, большевизме и современной цивилизации.
YMCA-PRESS, Париж, 1969, 259 стр.

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Предлагаемая книга представляет человеческий документ и свидетельство.

Автор её, Дмитрий Петрович Кончаловский — русский историк, профессор, офицер русской армии в первой мировой войне — является свидетелем и, до известной степени, участником событий 1917 года и последующей эволюции русского общества, главным образом его университетских кругов.

Книга состоит из воспоминаний, писем и записей, оставшихся после смерти автора. Воспоминания, которые Дмитрий Петрович не успел закончить, разделены на главы и расположены в хронологическом порядке. Даты писем, для удобства читателя, указаны всюду по новому стилю. Необходимые уточнения приводятся в квадратных скобках. Пропуски обозначены многоточием в квадратных скобках. Орфография унифицирована согласно правилам русской орфографии и пунктуации утверждённым и изданным в 1956 году.

Пояснения, относящиеся к упоминаемым автором лицам, занимавшим официальное положение, даны в примечаниях.



Вопросы, относящиеся к историческому развитию России и её состоянию в начале XX-го века, затронутые автором в связи с его рассказом, более углублённо и научно разработаны в его книге « Пути России » (YMCA-Press, Париж, 1969).

Издатель.

ПЕРИОД ЖИЗНИ ДО 1914 ГОДА

МОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Раньше, чем описывать события, свидетелем и участником которых я был, я должен сказать более подробно о моём собственном настроении и взглядах в тот знаменательный момент, явившийся кануном катастрофы.

Доминирующей чертой моего настроения был интерес к моей собственной судьбе и к судьбе моей семьи. Тут надо иметь в виду мою тогдашнюю психологию и жизненные установки столь отличные от теперешних. Они полностью гармонировали со всем характером жизни европейского и русского предвоенного общества, выросшего в атмосфере гуманитарного, научного и технического прогресса, господствовавшей тогда во всём мире. В то время мне было совершенно чуждо сознание и ощущение, что я, как и всякий человек, лишь игрушка в руках стихий или неведомых мне высших сил. Человечество в лице правительств, парламентских учреждений, политических партий, всевозможных ассоциаций, обществ и отдельных индивидов, вплоть до меня самого, представлялось мне и моим друзьям коллективным и полновластным хозяином жизни, уверенно ведущим её к определённой, ясно поставленной цели; а целью этой был некий мировой порядок, который « каким-то образом » осуществит все разнообразные стремления и чаяния, приведёт к гармонии все существующие противоречия и противоположности между правительствами, нациями, партиями, религиями, сектами, мировоззрениями; это будет такой порядок, который сохраняя все эти

противоположности, превращает их разноголосицу в какую-то чудную гармонию и симфонию, обеспечивающую счастье всех. Всякий, помнящий то время, признает, что такие представления составляли общий фон жизни и сознания не только привилегированных, но и так называемых обездоленных классов, с тою лишь разницей, что первые верили в наступление будущего « земного рая » путём эволюции, вторые же путём « революции ». Впрочем, эта последняя, при всей решительности её, мыслилась свободной от революционных ужасов прежнего времени, например Великой Французской или даже русской 1905 года. При такой вере в стабильность и прочность дел человеческих, в предустановленный ход прогресса было легко чувствовать себя хозяином жизни и планировать её на много лет вперёд. Именно таким образом она была спланирована у меня за два года до войны.

С университетской скамьи я решил посвятить себя науке, а мой более склонный к наблюдению и созерцанию, нежели к практической деятельности темперамент наряду с моей полной материальной обеспеченностью заставляли меня и позволяли мне смотреть на мои занятия историей, как на настоящую духовную роскошь и свободное служение истине вне всяких соображений заработка, академической карьеры и славы. Поэтому я не спешил во что бы то ни стало продуцировать « печатные труды » и добиваться учёных степеней, принципиально считая, что всякая предлагаемая на суд читателей работа, должна представлять собою хотя бы небольшое « открытие ». Над такими открытиями в области социальной истории Рима я работал последние два года перед войной, живя со своей семьёй за границей, и только перед самым её объявлением начал публикование результатов моих трудов.

Научная работа была целью и содержанием моей жизни. Этим, согласно моему убеждению, я выполнял своё назначение как человека, как моральной личности и оправдывал своё существование и материальную обеспеченность, избавлявшую меня от необходимости гоняться за насущным куском хлеба и продавать свою свободу. Я сознавал своё положение как привилегированное, как основанное на общей так называемой

« социальной несправедливости », но я считал себя в праве пользоваться этим положением, так как надеялся отплатить за него той пользой, какую я принесу своим вкладом в науку. И вместе с моим временем и моей культурной средой я был непоколебимо убеждён, что в особенности в наше время именно наука есть высшее выражение « человечности », и вместе с тем высшее благо человечества, способное в конечном счёте построить новый мир всеобщего счастья. Наш век довёл цивилизацию и культуру до такой степени сложности, что деятельность в них возможна только путём специализации. Таким специалистом чувствовал я себя в моей области — Римской истории, а всё остальное, в том числе и политику, я предоставлял другим. Это, конечно, не значит, что я превратился в узкого специалиста. Совсем напротив. Я признавал ценность и важность всех областей жизни, в особенности важность политических, общественных и экономических проблем, но активную деятельность в них я предоставлял другим. Должен, однако, сознаться, что мой интерес к социальным и политическим проблемам современности был весьма поверхностен. Только теперь, после всего пережитого, после тяжёлого и глубокого опыта революции, опыта, добытого собственными страданиями и потерями, я вижу, до чего легкомысленное создание человек, до чего он умственно ленив и как склонен в самых важных вопросах жизни руководиться не собственной активной критической мыслью, а Бог весть как сложившимися в нём предвзятыми идеями. У меня, пожалуй, тоже было своё социально-политическое миросозерцание, постепенно и непроизвольно сложившееся во мне под действием воспитания, семейных традиций, влияния среды, случайных встреч и впечатлений и, наконец, собственного темперамента. Я ненавидел деспотизм, самодержавие, буржуазную сытость, мещанскую пошлость, филистерство, снобизм, цеховое самодовольство, учёную ограниченность; любил свободу, народность, самобытность, примитивность, любил искусство, сочувствовал социализму, как главному противнику и борцу против социальной неправды современности. Однако, я не давал себе труда продумывать и обосновывать свои симпатии и антипатии, ибо я жил

исключительно личной моей жизнью, и все мои установки оставались целиком при мне, не будучи переводимы в какие-либо действия. Я не только не принадлежал ни к какой партии, но и не давал себе труда пользоваться своим правом избирателя. Тут действовала также учёная специализация. Меня гораздо более поглощала проблема политических партий и социальных движений в Риме, в эпоху Гракхов, нежели политическая борьба в Государственной Думе. Оторванность от окружающей жизни — таков удел художника или учёного, захваченного процессом творческой интуиции или научного синтеза. Тем не менее в отношении к современности и будущему у меня была своя философия истории, очень оптимистическая, ибо по возрасту моему я был в расцвете сил, здоров, счастлив своей семейной жизнью, материально обеспечен и удовлетворён своей исследовательской работой в избранной мною области.

Передо мною стояли творческие научные проблемы, и я чувствовал себя способным разрешить их; этим самым я сказал бы « своё слово », внёс бы свой вклад в сокровищницу науки и тем самым в чудное здание человеческой культуры, содействуя этим мировому прогрессу — установка, на которой для людей моего класса, воспитания и умонастроения зиждился смысл жизни. Для разрешения этой задачи был построен план ближайших лет жизни, местом которой должны были быть страны античной культуры — Франция, Италия Средиземноморье, а содержанием — работа в библиотеках, музеях, местах раскопок, местах великих событий античной истории. Рядом с этим был установлен также план для семьи, т. е. для воспитания детей, начинавших входить в сознательный возраст : сообразно моей тогдашней западнической установке, я решил дать детям образование во Франции и согласно этому — что совпадало также с моими собственными научными планами — с весны 1912 года я с семьёй поселился в Париже и дети мои пошли во французскую школу. Все эти мои начинания и планы казались мне абсолютно правильными, а их выполнение обеспеченным. Почему, на каком основании? Теперь мне кажется странным, что я даже не ставил себе такого вопроса.

Единственным основанием был мой непоколебимый и наивный оптимизм, и даже более, чем оптимизм — это была полная уверенность, что всё именно так и будет, как намечено и признано нужным. Если бы эта уверенность свидетельствовала только о моей личной глупости, я не стал бы говорить о ней. Но она была общей с моим веком и моим поколением, она была знамением времени. Всё прошлое последних десятилетий с его успехами «прогресса» во всех областях слишком импонировало и казалось неопровержимым, научным доказательством, что человечество, наконец, добралось до своей цели, изжило все невзгоды и болезни прошлого — пытки, рабство, обскурантизм, эпидемии, цензуру, даже войну, всё, что было в прошлом школой, экспериментированием — и теперь заживёт полной жизнью, накопляя «кредит» и сводя к минимуму «дебет». В Европе осталась лишь одна страна политической отсталости — Россия, но её исправление есть лишь вопрос времени; угроза миру — милитаризм — есть тоже только этап для его ликвидации путём ещё одной войны, которая будет, правда, страшной, но зато короткой и, разумеется, последней. Теперь кажется совершенно чудовищным, что весь этот хлам иллюзий и настроений представлял когда-то круг наших представлений о мире и жизни. В его обиходе не были исключены ни война, ни революция. Но революции отводилась роль благодетельного и быстрого кризиса, который приведёт последние отсталые страны с Россией во главе в семью свободных и целиком прогрессивных народов, война же покончит с милитаризмом, т. е. с Германией, так что ожидавшееся тогда столкновение между двумя группами европейских государств, приветствовалось тоже как несомненное начало новой эры, за которое стоит заплатить несколькими месяцами кровопролития и разрушений. Что дело идёт о нескольких месяцах, в этом не могло быть никакого сомнения, ибо экономическая структура современной Европы да и всего цивилизованного мира не допускает долгого перерыва в своем функционировании — ну, а ведь нужды экономики суть suprema lex, да и к тому же всё это доказано наукой.

Одна характерная черта моего личного быта может

дать яркую иллюстрацию тогдашнему легкомысленно-оптимистическому настроению людей моего ближайшего круга. Повторяю, это был круг академический, но не широкий, а очень тесный и довольно замкнутый. Свой академический цех в широком его объёме я недолюбливал : профессорское самодовольство, снисходительное отношение « ординарных » профессоров к нам, начинающим, мне претили (а я, скажу в скобках, хотя в годы непосредственно перед войной мне было уже за тридцать, в силу некоторых внутренних свойств моей натуры и моего отношения к науке, долго оставался в разряде начинающих); к тому же я и в то время, при всём преклонении моём перед наукой, считал большинство цеховых учёных людьми ограниченными. Но я был тесно связан с кружком сравнительно молодых историков, товарищей моих со студенческой скамьи и по преподаванию в Московских высших учебных заведениях. То были, во-первых Владимир Сергеевич Протопопов, затем Дмитрий Николаевич Егоров и Владимир Иванович Пичета. О них я ещё буду говорить в дальнейшем моём рассказе, так как судьба каждого из них очень характерна для истории русской интеллигенции во время войны и революции.

Мы все четверо при всех различиях наших характеров разделяли в общем безотчётное оптимистическое настроение в отношении ближайшего будущего Европы и России. Я не могу, однако, вспоминая этот поверхностный оптимизм, не задуматься над тогдашней противоречивостью моей собственной психологии. Если бы этот оптимизм представлял сущность моего общего отношения к жизни, я бы должен был признать себя глупцом. Но и у меня, и у Протопопова, который был не просто моим университетским товарищем, но моим настоящим другом, этот поверхностный оптимизм уживался рядом с глубинным пессимизмом в отношении к жизни, к истории и к человеку как к нравственному существу. Я бы сказал теперь, что наш оптимизм был для нас, как для людей, в то время нерелигиозных, некоторым суррогатом религиозных чаяний на спасение, на конечное блаженство, свойственных каждому верующему. Мы оптимистически смотрели на будущее потому, что мы *хотели*, « чтобы было хорошо ». А так

как добро и зло, по нашему мнению, в конечном счёте зависело от установления справедливого порядка — международного для всех и внутриполитического для каждой страны в отдельности, то мы и возлагали наши надежды на предстоящее уже при нашей жизни установление такого именно порядка в обеих областях. Собираясь друг у друга, мы далеко за полночь засиживались за стаканом вина или кружкой пива в нескончаемых разговорах о предстоящих великих событиях и конфликтах. В неизбежности общеевропейского конфликта мы были уверены, рисовали его себе бурным, но скоропреходящим, предусматривали также победу Антанты над Германией и проводили границу восстановленной нами и примирённой с Россией Польши, где-то недалеко к востоку от Берлина. Теперь я диву даюсь легкомысленному и благодушному тону наших тогдашних дружеских бесед. Мы не спрашивали себя тогда: а какова будет наша собственная роль при конкретном решении этих трагических проблем, решении « железом и кровью »?

Общему оптимистическому настроению того времени свойственно было также отгонять всякие сомнения и предчувствия, которые всё же закрадывались в душу при виде многих отрицательных явлений тогдашнего времени. Но ведь тогда, в связи с общей тенденцией цивилизации, цель жизни усматривалась в счастии, а последнее заключалось в ничем не возмущаемом наслаждении земными благами, во всей их совокупности, начиная от высших духовных и до довольно низменных материальных, которые, однако, умело облагораживались общей культурностью. В сущности, весь прогресс ощущался как источник наслаждения и радости; наслаждения эти были весьма разнообразны: научное и художественное творчество для избранных, а для культурной и образованной массы — наслаждение их плодами в популяризациях, театре, художественных выставках, художественных изданиях и репродукциях, туризме, спорте, краеведчестве, вплоть до таких чувственных удовольствий, как ресторан, кафе, бар с их утончённой кухней, комфортом, нарядными женщинами и музыкой. Жить было приятно и легко, и особенно приятно было сознание, что с каждым деся-

тилетием и даже годом эти приятность и лёгкость повышаются в степени и расширяются на всё больший круг людей, пока — как это мечталось — они не сделаются достоянием всех. Нарушить это сознание было слишком обидно, и потому всё нарушающее, портящее впечатление отгонялось прочь. А между тем были люди, смотревшие на всё совсем иначе. Характерно, однако, что не они задавали тон, и предостережения их пропускались мимо ушей.

Мой оптимизм, моё легкомыслие и невежество, однако, не были только моим личным достоянием. Мы все, большие и малые, являемся детьми своего времени и за редкими исключениями заражены его духом. Я по крайней мере поплатился моей личной судьбой, тогдашние вершители судеб Европы взвалили на себя ответственность за её катастрофу.



Зинаида Ивановна Иловайская

ПОЕЗДКА В ИТАЛИЮ С НАУЧНЫМИ ЦЕЛЯМИ [1])

4 февраля. Вторник. [1913. Москва].

Дорогая моя Зиночка,

Прости, что так долго не писал тебе. Но первые дни или, вернее, первый день я так завертелся в Москве среди своих друзей и родных, что положительно не выбрал минутки для письма. Вчера я целый день не был дома, а когда был, то здесь была масса народу, и писать было трудно.

Доехал я благополучно. Ожидание в Варшаве произвело положительно удручающее впечатление, но Москва загладила всё. Москва и после Парижа кажется прекрасной, оригинальной, и кроме того полной значительности. Впечатление это одинаково получается и от центра Ильинки, с его движением и шумом, и от тихих арбатских и пречистенских переулков.

Но Париж, Франция стоят в моём представлении, окружённые каким-то ореолом. Я почувствовал всю их красоту и величие, как только очутился в закопчённой, чёрной Германии и увидел всё эстетическое ничтожество и убожество прославленной германской культуры.

---

1) Письма к жене — Зинаиде Ивановне Кончаловской, урождённой Иловайской. Письма адресованы ей во Францию, где семья автора жила с начала 1912 по июнь 1914 года. Первые три письма посланы из Москвы, где автор находился проездом для устройства своих дел перед поездкой в Италию. Все остальные письма посланы из Рима.

5 февраля. Среда. Москва [1913].

Дорогая моя Зиночка,

Наконец то я могу написать тебе побольше. [...] Мне хочется поговорить с тобой и рассказать всё, что было со мной с тех пор, как мы расстались на gare du Nord.

[...] Почти всю ночь до Кёльна я спал. В Кёльне была пересадка, и сразу дала себя знать северная широта — в Кёльне было холодно. От Кёльна до Берлина ехать было скучно, публика неинтересная, а Германия — по крайней мере эта её часть — показалась такой мрачной и неинтересной. Париж всё время представлялся мне таким прекрасным, французы — такими тонкими, нервными, сложными сравнительно с немцами с их толстыми, упитанными, апатичными физиономиями. Мне стало грустно, что с тою жизнью, которую мы ведём в Париже, придётся, рано или поздно, расстаться, и тогда прощайте, исторические улицы, музеи, кафе, бульвары. Всё это придётся сменить на бедную впечатлениями, монотонную жизнь в культурно скудной обстановке, в тяжёлом климате.

[Без даты].

Дорогая моя Зиночка,

Сейчас я вернулся из Можайска. [...] Теперь я чувствую себя свободным и скоро опять умчусь за границу. Отчасти мне даже приятно, что я увижу Вену и Италию не из Парижа, а из Москвы, буду таким образом измерять то новое, что встречу, не на французский, а на обычный русский масштаб. Безделье в Москве меня уже начинает тяготить, и у всех здесь жизнь идёт всё по-прежнему, те же заботы и те же интересы. В Париже мне казалось, что я веду жизнь слишком рассеянную, а отсюда и по сравнению с здешним общим порядком она мне кажется регулярной и правильной.

[...] Когда я бываю без тебя среди родных, которые, несмотря на всю близость и симпатию ко мне, всё же прежде всего поглощены собою, своим делом и своим успехом, я чувствую особенно сильно мою близость к

тебе, чувствую, как мы срослись с тобою, чувствую, что только половина моей души живёт здесь, слушает, одобряет, интересуется окружающим, а другая половина думает о тебе, живёт тобою и с тобой. Я вижу здесь успех и удовлетворение, доставляемое хором похвал, и с сожалением вижу, что с этим неразрывно связаны мелочность и пошлость. Неужели, когда-нибудь будет то же и у нас с тобою? Не думаю. Слишком мы с тобою мизантропы, слишком малую цену придаём мнению людей, слишком в них разборчивы.

20 февраля 1913. Вечер.

[...] Вот я и в Риме. Признаюсь, мне в общем грустно. Рим своим пейзажем, воздухом производит очаровательное впечатление, редко, чтобы город мне нравился так сразу, как понравился Рим. Я не ожидал даже, чтобы остатки древнего Рима были так прекрасны, я думал, что они только импозантны, величественны; нет, оказывается они прямо красивы. А всё же главное чувство это грусть, и причину её я чувствую ясно. Когда я раньше думал о Риме и его истории, я всё это представлял себе живым. Теперь я вижу, что это мертво и, мало того, ещё осязательно находится под землёю. На памятниках можно видеть, какой слой земли засыпал почву, по которой ходили римляне, и мы теперь ходим не по ней, а над нею. Кроме того, я ещё не совсем привык видеть в этих памятниках действительные остатки Рима. Мне всё ещё Рим представляется таким, каким я постепенно, в течение многих лет создал его в моём воображении. Этот фантастический образ настолько ещё силен, что когда я сейчас подумал о Капитолии, я представил его таким, каким представлял по-своему, а не таким, каким я видел его сегодня. Ещё пройдет много времени, пока душа свыкнется и слюбится с новыми истинными представлениями.

1 марта 1913.

[...] Ты спрашиваешь, что мне всего больше нравится в Риме. Конечно Капитолий, Форум и Палатин. Вернее сказать, вид с Капитолия, так как сам он совсем

не римский и искажён Микель Анжело и другими реставраторами и имитаторами антиков. Я обошёл весь Форум, осмотрел все развалины и, несмотря на всю их разрушенность, они дают представление о том, что было, хотя бы в частях. Впрочем, я думаю, что непосвящённым они говорят мало. Приятно также на этих местах то, что кругом нет современности и даже несколько церквей рядом мало заметны. Другие памятники, в городе, я видел мало. И пока могу сказать, что всего больше мне нравится природа вдали, на фоне которой видишь город, синяя даль, линии гор в тумане, как видишь их с Капитолия, глядя в сторону Форума. Этот пейзаж всего больше говорит мне о древнем Риме, я за ним и ехал сюда, так как знал, что памятников осталось мало. Мне хочется видеть эти дороги, горы, ущелья, в которых когда-то сражались римские солдаты, обрабатывали землю крестьяне, ходили и ездили великие люди Рима. Тут можно всё себе представить, и тут, я думаю, мало изменилось. Сегодня был первый тёплый, солнечный день. Так хотелось за город, но я решил действовать систематически и, пока Рима не осмотрю, за город не поеду.

6 марта 1913.

[...] Эта мысль [о тебе] не позволяет мне всецело предаваться радостному настроению в те минуты, когда я наслаждаюсь здесь тем, что вижу, как сегодня и вчера, на Палатине. Зиночка, ты помнишь этот сад, зелёный и густой так же и зимою, как летом, на стенах и арках дворца Тиберия, сад со статуями и фонтанами, которые плещут водою в бассейны, а кругом дивный вид на Форум, Капитолий и весь Рим и даже его окрестности. Я хожу на Палатин тотчас после завтрака, в первом часу, когда все ещё не кончили есть, и Палатин пустой, так что я совсем один и наслаждаюсь тишиною и уединением. Зиночка, когда смотришь всё это, то понимаешь, что можно всё принести в жертву этому наслаждению жизни и за него, пожалуй, отдать честь и совесть. Я понимаю, что с этой утончённой культурой, с этим исканием красоты, старанием окружить себя ею в виде статуй, фонтанов, портиков, са-

дов, нравы в Риме должны были погибнуть, и все, кто могли, стремились всплыть наверх, дорваться, так сказать, до всех этих благ и наслаждений. Я это почувствовал также в Венеции в первые дни моего пребывания там. Эту красоту в соединении с природой можно полюбить так же, как женщину, и так же ради них погубить свою душу. Ты понимаешь о чём я говорю, Зиночка? Тут такое чувство, что ничего не надо делать в жизни, ничего искать, всё уже найдено в одном этом созерцании красоты и наслаждении ею. Как жаль мне, что тебя нет со мною. Так хочется поделиться всем этим упоительным восторгом. И я уверен, что ты не была бы так холодна и так скептически настроена, как, помнишь, той ночью в сентябре, когда мы сидели с тобой на скамье у Hôtel des Dunes и смотрели на море, освещённое луною, и на мои восторги ты сказала, что ты и здесь не забываешь о том, что над нами всегда тяготеет судьба. Да, пожалуй, такие мысли уместны в пустыне, на берегу океана. Но здесь ты бы этого не сказала, потому что и среди развалин здесь всё говорит о жизни, о наслаждении, быть может, прежде всего чувственном наслаждении. Ничего не хочется, хочется только дышать этим свежим воздухом, греться на солнце, слушать плеск фонтана и смотреть в голубую даль...

8 марта 1913. Рим.

Дорогая моя Зиночка,

Всё больше начинаю я проникаться всем, что вижу, и понимать и представлять себе прошлое так, как оно было. Мне всё дольше хочется оставаться среди этих развалин, из которых многие дают ещё почти полное представление о настоящем виде памятников. Но дух античной культуры идёт гораздо дальше, чем её реальное существование. Сколько здесь церквей, в которых целые части, и притом характернейшие, созданы из обломков Рима. Эти куски повлияли даже на самый стиль этих построек, и насколько он отличен от готики, от французских соборов, благодаря такой близкой преемственности! Сегодня видел одну маленькую забро-

шенную церковь S. Giorgio in Velabro, где наружный портик построен в XII веке, и он совсем античный, в то время, как на Севере в это время готика была в расцвете. Как ни разрушали Рим, он всё же продолжал жить и давать свои формы и тому, что вновь создалось на его развалинах. Эти постройки Средневековья, эпохи отрицания античной культуры, здесь гораздо ближе к Риму, чем постройки Возрождения, когда перед Римом вновь стали преклоняться.

[...]Вчера я сделал чудную прогулку и в эстетическом и в физическом отношении. Жаль только, что я был один. Почти всё время был виден вдали город. Я прошёл от самого северного пункта Piazza di Popolo вёрст пять с половиной ещё к северу, по Via Flaminia и Via Cassia, потом повернул на запад и потом на юг, всё время шел холмами, с которых с одной стороны виден Рим, с другой — римская Кампания. Дорога совсем пустынная, по сторонам виноградники и виллы. Два раза заходил в траттории, в одной из которых хозяйка предлагала мне принять участие в их обеде senza complimenti т. е. без стеснений. Обед состоял из салата, обильно политого маслом, и хлеба. Салат запихивался в рот прямо руками. Я выпил только вина, к сожалению, не мог побеседовать. Через три часа пути я прибыл снова в Рим с северо-западной стороны, близ Ватикана.

Roma, il 19 marzo 1913.

[...] Какое я испытываю наслаждение и как много я учусь! Каждый день мне даёт что нибудь новое, и я вижу, что есть столько ещё путей для расширения своего познания древности, столько целых областей, которые мне неизвестны и которые дадут мне совсем иное понятие о жизни древнего Рима и Греции, чем то, какое я имею теперь. В Библиотеке я прочёл Модестова и вижу, что знание Рима по одним только книгам без археологии и без знания самой Италии, есть какое-то отвлечённое знание. Зато сколько дают все эти обломки, статуи, фрески, стенная живопись! И сколько я увижу ещё в Помпеях. И, в то же время, сколько мыслей об искусстве вообще приходит в голову, когда я

хожу по музеям. И я надеюсь, что мысли эти я когда-нибудь соберу, приведу в порядок и выскажу свой последовательный взгляд на искусство древнее и современное, на его роль и значение в нашей жизни. Я, собственно, занят весь день, потому что и осматривание есть занятие трудное и утомительное, на которое требуется много внимания. Но зато я чувствую, что просвещаюсь, умнею, что и мысль моя становится определённее, потому что опирается на факты.

28 марта 1913. Рим.

Дорогая моя Зиночка,

Вчера и сегодня я много ходил по городу и много видел. Мне хочется в ближайшие дни закончить осмотр улиц, чтобы иметь цельное представление, хотя бы в общих чертах. До сих пор я некоторые части смотрел очень детально, и у меня остались целые кварталы, куда я ещё и не заглядывал. Потом займусь музеями и опять Форумом и Палатином уже с Hulsen'ом в руках. Это подробное, научное описание Форума с опытом реконструкций. Я тебе уже писал, что с Ватиканом я покончил. Это, кажется, главное, по крайней мере по количеству. Я видел также часть Museo delli Termi, видел все Капитолийские музеи, но туда мне хочется вернуться ещё раз. Вообще же я вижу, что в Риме надо будет побывать ещё не раз. Здесь столько материала, с которым можно знакомиться лишь постепенно, а не залпом, параллельно с чтением и с общим изучением истории Рима.

[...] Сегодня я видел Pincio, представь, в первый раз. Какой восхитительный парк и какой вид оттуда! Сейчас там, хотя летние деревья не распустились ещё, густая зелень, как летом. Воздух как будто за городом, видны поля и холмы вокруг Рима. Ни труб фабричных, ни дыма, как-то странно видеть большой город среди зелёных полей. Потом, на via Sistina произошло странное совпадение. Я читаю в Бедекере : дом № такой-то, в котором жил Торвальдсен. Ну, думаю, почему никогда не напишут, иностранцы, что жил здесь такой-то русский, например, Гоголь? И через несколь-

ко строк читаю : в этом доме жил le romaniste russe Gogol. У меня даже сердце сжалось, и я чуть не заплакал, сам не знаю отчего. Стало умилительно, что и среди русских есть великие люди, и вспомнилась Россия. На этой улице когда-то Гоголь думал о ней, писал « Мёртвые Души », был полон Россией и её страданиями, ведь это было в 40-х годах, в самую ужасную пору. И всё это среди этой роскошной природы, среди воспоминаний прошлого этой страны, если не всегда счастливых, то всегда грандиозных, возвышенных, а не тех тоскливых, какими полно прошлое России, да и её настоящее. И рядом с этим есть у Гоголя отрывки о Риме, я помню, которые полны впечатления юга, дышат какою-то страстью.

Мне кажется, что всё величие Гоголя сказалось в том, что он никогда не забывал и не мог забыть России, как ни ужасно сравнение между нею и Западом, что он всегда думал о ней и творил для неё. Но как всё-таки странно, что именно здесь создавались с такой поразительной живостью образы Чичикова, Манилова, Тентетникова, картины русских дорог, деревень, городов. Здесь, в двух шагах от святого Петра, от колонны Адриана, и видел Гоголь из своего окна всю панораму города на Тибр, его улица находится на горе.

А ведь сегодня мне 35 лет.

30 марта 1913.

[...] Иногда, входя в церковь, я останавливаюсь, совершенно поражённый её красотою. В средневековых простых церквах есть какая-то скромность и простота линий, есть бессознательное творчество, в котором отсутствует напряжённое искание новизны, стремление поразить эффектом уже пресыщенный эстетический вкус зрителя, что прежде всего бросается в глаза в искусстве позднейшем. Оттого так просто, цельно и стройно впечатление ими производимое. В этом впечатлении легко разобраться, и мне кажется, самое творчество художников того времени было спокойное и

радостное. В нём чувствуется даже не столько личное творчество, сколько ремесло, ибо оно вытекало не из прихотей фантазии каждого отдельного художника, но из требований известных, абсолютно признанных догматов. Церковь строилась по определённому плану, мозаики и фрески имели не только определённое содержание, но и определённую композицию. Художник выполнял чью-то высшую волю, которой он сам считал себя обязанным подчиняться, и подчинялся радостно в убеждении, что иначе не может и не должно быть. Поэтому всё внимание переносилось на выполнение, в которое вкладывалась вся душа. Оттого-то так прекрасны и жизненны все детали, так совершенна техника. И каким хаосом кажется после этой симметрии и гармонии примитивного искусства искусство позднейшее и новое.

9 апреля 1913. Среда. Рим.

Дорогая Зиночка,

Сегодня я видел одну частную, очень хорошую галерею Doria Pamphili, в которой есть несколько великолепных пейзажей Пуссена. В них чувствуется предшественник Коро и Пювис де Шаванна. Мне было приятно видеть французскую живопись среди итальянцев, как будто что-то близкое, с чем сроднился. Странно, вообще, я думаю о Франции, как о родной стране. К Парижу я привык, как будто бы провёл в нём всю жизнь, и как ни полюбил я Рим, познакомившись с ним, я Парижу не могу изменить. Итальянская живопись ярче, чем французская, чувства, которыми она вдохновлена, кипучее, более страстны, но во французской живописи есть мягкость колорита, есть какое-то спокойное восприятие и необычайная тонкость выражения. Мне кажется, и в самих нациях то же различие. Французы совершеннее, в итальянцах чувствуется резкость, грубость, отсутствие гармонии. Отсюда Франция представляется мне ещё сильнее и выше по своему культурному значению и в прошлом и в настоящем. В итальянцах, при всей их гениальности, есть какая-то незаконченность. Моменты подъёма,

расцвета искусства и науки сменялись более долгими периодами упадка. В этом виновата, несомненно, политическая раздробленность и долгая зависимость от чужеземцев. Между тем, во Франции, как в её политическом существовании, так и во всяком культурном начинании, есть замечательная последовательность, непрерывность развития и, потому, полнота и совершенство результатов. В этом отношении, Франция — единственная страна в мире, кроме, пожалуй, Англии, но Англия сравнительно бедна культурно, искусства в ней никогда не было.

10 апреля 1913. Рим.

Дорогая Зиночка,

Пишу тебе два слова, потому что с переездом на другую квартиру вечером, верно, не успею. Мне хочется сказать тебе только, чтоб ты не беспокоилась насчёт войны. Ведь её не будет, это ясно как божий день. Ясно, что никто её не хочет, что в настоящее время война решается не дипломатами, а общественным мнением. Ведь у нас её хотят только дураки — панслависты, общество её не хочет, а правительство боится её и не рассчитывает на себя и на победу над Австрией, ввиду несомненной помощи Германии. Ясно, что Англия, а также и Франция помогать нам не будут, ибо им нет никакого интереса, а Германия первая начинать войну не собирается.

[...] Если ты думаешь обо мне, в чём я не сомневаюсь, и хочешь быть ко мне ближе несмотря на разлуку, выбери минутку и пойди в Лувр, в галерею Тициана и других итальянцев. Я просто без ума от этой живописи. Это такая высокая, такая прекрасная идеализация жизни! И так она очищает, успокаивает душу, возвышает её. Если проникнуться красотою этого искусства, мыслью, как много прекрасного создано людьми, право, начинаешь спокойнее относиться к мысли о собственных неудачах, о возможных в будущем невзгодах. Чувствуешь удовлетворённость уже тем, что твоей душе была дана возможность такого высокого наслаждения.

16 апреля. Вечер.

Дорогая моя Зиночка,

[...] Ты уже знаешь из моих писем, что после телеграммы я успокоился насчёт твоей болезни, но первые два дня беспокоился страшно, всё как будто исчезло, все красоты Италии, когда я думал о том, что вдруг у тебя туберкулёз, и таким образом я опроверг то своё письмо, в котором писал, что наслаждение искусством и природой облегчает все личные невзгоды. Но если бы я потерял тебя, ничто, ничто не могло бы мне украсить жизнь и утешить меня [1]).

---

1) На другой день Дмитрий Петрович получил телеграмму, что состояние здоровья его жены опасно обострилось, и уехал в Париж с первым поездом, не успев бросить традиционную монетку в фонтан Треви. В Рим он больше уже никогда не вернулся.

ЖИЗНЬ И РАБОТА В МОСКВЕ В НАЧАЛЕ 1914 г.

Воскресенье, 1 февраля 1914 г.

Дорогая моя Зиночка,

Наконец я добрался до Москвы. Опишу тебе по порядку все мои впечатления и приключения, хотя последние очень немногосложны. Всё путешествие прошло как какой-то сон. Столько промелькнуло перед глазами лиц и картин, пока ехал я от Парижа до границы.

[...]В Кёльне я провёл три часа, а потом опять с обычной быстротой понёсся по Германии. Эта бешеная скачка поезда, в конце концов, наводит какое-то полузабытьё, в котором мелькает масса незнакомых лиц, постоянно сменяющихся на остановках. Но всё же, в этом мелькании и в том, что видишь по сторонам, в этих бесконечных фабриках и заводах или фермах среди возделанных полей видны жизнь и напряжённая деятельность. И когда я попал наконец в русский вагон, который, почти без шума и колыхания, медленно двигался среди пустых полей, заметённых снегом, у меня получилось впечатление, что я попал куда-то на край света, в царство покоя, безлюдья и сна. И это впечатление только усиливалось видом низкого, свинцового неба с полоской погасавшей зари на горизонте и мраком в вагоне, ибо в моём « скором » поезде не было ни газа, ни электричества, а только одна мерцавшая свеча. Другую я спросил себе у кондуктора и поставил на столик, как всегда делал во время путешествий в Можайск. И как тогда, стал я коротать свой медленный и долгий путь чтением последнего сборника

« Шиповник », в котором прочёл одну очень неудачную пьесу Андреева, другую более интересную Соллогуба и, наконец, целый набор « поэз » Игоря Северянина и других ему подобных в статье Чуковского о современных эго-футуристах. Так и не заметил я, как дополз до Петербурга. В Петербурге на всём печать уныния, неустройства и бездействия. Да и немудрено — всё как-то сковано сыростью, слякотью и темнотою. Я, впрочем, побоялся поделиться этими впечатлениями с Лёлей. Ясно, что она уже начинает любить Петербург, и критика её как будто обижает.

[...] В Москве всё до капельки то же, что было в прошлом году и даже два года назад, когда мы её покинули.

Среда. 4 февраля 1914. Москва.

Дорогая моя Зиночка,

Наконец то я нашёл себе пристанище и дивное пристанище. [...] Вчера вечером случайно, проходя от Протопопова мимо номеров Троицкой, я нашёл комнату небольшую, но чистую, светлую, уютную за 38 рублей с постелью! Сейчас я уже перебрался и благоденствую, тем более, что за шатание по Москве и вследствие сырости номера я схватил насморк, довольно здоровый, а тут чувствую, что он проходит. Обед здесь стоит 55 копеек два блюда, и очень вкусный. Все говорят, что столовая Троицкой очень хорошая. Таким образом жизнь в Москве мне не будет стоить очень дорого, даже прямо дёшево. Комната, обед и ужин — 68 рублей в месяц. Это гораздо дешевле, чем я рассчитывал.

Теперь о лекции. Сошла она прекрасно. Я ни разу не заглянул в записки, даже не развернул их. Но народу у меня ещё никогда не было так мало — душ 30-40, тогда как аудитория рассчитана человек на 1.000. Я, впрочем, был доволен, перед небольшим числом читать спокойнее. Следующий раз их будет наверное больше, ибо многие ещё не съехались после праздников. Новое здание курсов великолепно, именно внутри. Громадная halle в центре с колоннами в стиле em-

pire, крытая стеклянным потолком. Аудитория тоже светлая, комфортабельная, приятно в ней сидеть. Из профессоров сегодня встретил Сперанского [1]), Богословского [2]) и Покровского [2]). Богословский убеждал сделать из моей книги [3]) диссертацию, с Покровским говорил о Риме.

[...] Пиши мне побольше, о всяких мелочах, о лесе [4]), о верховой езде детей, о всех их глупостях. Спасибо за фотографии.

Понедельник, 9 февраля 1914.

[...] Прошло уже больше двух недель после моего отъезда, и они для меня пробежали незаметно, особенно те девять дней, что я провёл в Москве. Я перевидал далеко ещё не всех знакомых, но успел уже пять раз вернуться домой далеко за полночь. В первый раз это было в день приезда, о нём я тебе уже писал, это суббота у Протопопова. Во второй, в прошлый четверг, в день Лёлькиного рождения я смотрел вечером картины в Петиной мастерской, а потом засиделся у них за вечерним чаем. На другой же день вечером я опять пошёл к ним. У Пети сначала было деловое заседание Бубнового Валета [5]), и я с Олей, чтобы не мешать им, пошли в синематограф, но предварительно послали домой из магазина вина и апельсинов для крюшона. В синема мы видели Pont-Aven и реку Aven, что напомнило мне Бретань и вдруг вызвало снова желание уехать поскорее во Францию [...]. Вернувшись, мы застали всю компанию художников в ожидании чтения статьи и реферата для диспута, сочинённых некиим Юрьевым, недавно вышедшим из студентов юношей. Петя говорил мне раньше, что он понимает и хорошо пишет. Но на сей раз статьи оказались плохи. Первую

---

1) Педиатр.

2) Историк, профессор Московских Высших Женских Курсов.

3) Тема книги — социально-экономическая эволюция римской республики.

4) Лес Fontainebleau.

5) Бубновый Валет — Общество художников, последователей французских импрессионистов.

ещё кое-как прослушали, когда же приступлено было ко второй, подали крюшон и начался кабак. Но бедный докладчик всё же дочитал свои писания до конца среди невообразимого гама. В этот вечер я лёг часа в три и проспал на следующий день до 12. Хорош? Но слушай дальше, будет и ещё того лучше. В субботу вечером был опять у Протопопова, по его специальной просьбе. Он обкормил нас всё малороссийскими продуктами, — салом, копчёным гусем и колбасами с капустой и это всё в 12 часов ночи. Лёгши во втором часу, я проснулся в половине шестого и не мог больше заснуть вследствие ощущения какого-то камня в желудке. Так довёл я свою жизнь до воскресенья. В этот день, поработав до полудня, отправился к Максу обедать и за твоими письмами. Там видел типы докторов, Максиных протеже, друзей и поклонников. От Макса пошёл к Егорову [...] В половине шестого отправился прямо к Пете, так как у нас с ним был уговор сойтись вместе с Протопоповым и есть селянку Надиного изготовления. Ты видишь, всё идёт пока, как по программе, так, как ты предсказывала в Париже. Однако получилось нечто гораздо более грандиозное, чем я ожидал. Кроме Протопопова на селянку оказались приглашёнными ещё Юрьев и один студент, замечательный музыкант, с которым Петя разучил на рояле всего Дон-Жуана и поёт по нескольку раз в неделю.

Пение началось уже за обедом, затем в конце его явились Лентулов [1]) с женой, которые тоже присоединились к обеду. Я его узнал больше, он неглуп и симпатичный, несмотря на некоторую грубость. Потом явились Рождественский [1]) и Фальк [1]). Браун был вызван по телефону. Наконец, уже попозже, явилась девица, каково её общественное и иное положение, я не знаю. Но она очень недурна собою и великолепно танцует танго и танцы в стиле Дункан. Описывать тебе деталей не буду, ты легко можешь себе представить, что должно было происходить затем. Скажу только, что пива было выпито что-то 35 бутылок, хотя львиная доля пришлась на Протопопова, который и был един-

---

1) Художник, член Общества « Бубновый Валет ».

ственный сильно выпивший. Пели, танцевали и болтали всякий невообразимый вздор.

[...] Танцы были представлены вышеупомянутой девицей по имени Наталья Флоровна, фамилии её я не знаю. [...] Танцует она очень недурно, с увлечением и грацией. Конечно, была награждена всеобщим восторгом и комплиментами, в том числе и моими. [...] Была ещё одна « женщина » в полном смысле слова. Некая баронесса Клодт. Неимоверной толщины, ещё молодая и с глазами с поволокой. Оля всё время натравливала меня, чтобы я за ней ухаживал, ибо эта дама страшно любит ухаживание и пикантные разговоры. Под конец уже танцевали все, затем Протопопов пел « барыню » и говорил научную речь. Разошлись в три часа, а накануне Петя с Олей вернулись от Юргенсона в пять утра, когда звонили к обедне. Такова жизнь в Москве. Сущая Содом и Гоморра! Но следует сказать, что этот вечер был на редкость весёлый и симпатичный. Мне очень жаль, что тебя не было на нём.

Понедельник, 16 февраля 1914.

Дорогая Зиночка,

За последние два года жизни я в первый раз чувствую усталость от развлечений. Может быть это только потому, что развлечения эти были всё ж таки довольно однообразны, а круг лиц, в котором я вращался эти две недели, был небольшой. Вчера они закончились вечерним собранием у Лентулова довольно скучным, потому что в конце концов надоедает встречать почти одни и те же лица. Сегодня я решил прервать такой образ жизни и приняться за правильные занятия, но и то, при всей твёрдости моего решения, не могу остаться дома вечером, потому что ещё на прошлой неделе обещал сегодня быть у Никольского [1]). От него, впрочем, можно уйти рано, тогда как у Пети, у Лентулова, даже у Протопопова собираться-то принято не ранее, как к 10 часам. Ты пишешь, что после моего опи-

---

[1]) Н. М. Никольский — историк.

сания московской жизни и веселья тебя не тянет в Москву. Меня же последние дни тянет опять в Париж. Я вижу в этой жажде веселья, встреч и собраний, общей всем московским знакомым, какую-то томящую скуку существования. Одни могут собираться чаще, другие реже, смотря по тому, кто насколько свободен. Но даже и у самых занятых и серьёзных людей собрания эти всё же очень часты.

[...] Ты знаешь из газет, что Коковцова[1]) прогнали. Его отставка означает дальнейшую победу реакции и дальнейший шаг на пути к упразднению должности премьер-министра[1]), представляющего объединённое правительство перед лицом Государя и Думы. Теперь снова министры — каждый свободно будет преследовать свою политику, как в былые времена. Знаешь ли ты о скандале с Кассо[2])? Его застали в кабинете ресторана « Медведь » два студента Денисовы сидящим и пирующим с их матерью. Отец их член Государственного Совета по назначению. Один из студентов дал Кассо по физиономии, после чего тот удалился из кабинета. Через несколько дней студент застрелился вследствие позора матери. Вся эта история пропечатана в газетах, Но Кассо остаётся министром, ибо это дело признано фактом его личной жизни. Я очень рад, что Кассо остаётся. По крайней мере без всяких компромиссов положение выступает во всей ясности. Теперь ректора, директора, профессора и преподаватели гимназий будут выполнять моральные предписания о внешкольном надзоре за молодёжью, о наблюдении за её нравственностью, исходящие от кутилы, соблазнителя чужих жён, завсегдатая кабинетов с побитой мордой.

В газетах насчёт Кассо писали, но довольно слабо. Вообще, жизнь в России представляется мне каким-то маразмом и застоем, и кажется, что ещё долго не кончится эта реакция, потому что в самом обществе нет

---

1) В. Н. Коковцов, с 1903 г. был несколько раз министром финансов; с 1911 по 1914 г. — Председатель Совета Министров. Дмитрий Петрович называет его премьер-министром по аналогии с Западом.

2) Л. А. Кассо — министр народного просвещения с 1911 по 1914 г.

деятельных сил и здоровых интересов. Может быть, там, под поверхностью интеллигентных и буржуазных классов, в крестьянстве и в рабочей среде накопляется возмущение, и даже силы для борьбы с этим невыносимым порядком, однако я не верю в их действительность, в возможность, что эти силы низших классов, лишённые идей, способны будут сделать больше, нежели стихийное и беспорядочное движение протеста. Оно будет таким же, каким было в 1905 году, и неспособно будет пересоздать всю жизнь. Русское общество глубоко развращено во всех своих частях и группах, вплоть до нашей компании, вплоть до меня самого. Я чувствую это в том, как легко и все мы и я поддаёмся нашим слабостям, лени и бежим от сознания ответственности в развлечения и наслаждения, высокие или низкие по своему характеру — но всё же в наслаждения. Да, пора это кончить, пора подумать, что кто-то своею шкурой расплачивается за этот непрерывный пир. И если возвращаться сюда, то уж никак не к этой весёлой по внешности, а в сущности тоскливой жизни; не знаю, что надо делать, но лучше ничего не делать и не жить здесь, чем жить так, как живут люди нашего кружка, как живёт вся интеллигенция и буржуазный класс России.

Быть может, впрочем, и не вся интеллигенция живёт так. Я говорю лишь о той, которую мы знаем. Но не характерно ли для неё то, что молодёжь так усиленно развлекается, что курсистки так поглощены театрами, концертами и танго? Да не только курсистки, но и гимназистки. Всё это пустяки в Париже, где это капля в море огромной, сильной жизни, свободы проявлять свою деятельность в каком угодно направлении. Но здесь, где, кроме этого, всему поставлена преграда, где запрещается лекция о страховании рабочих, здесь такие явления приобретают характер огромной значительности. И я от души желаю, чтоб разогнали Думу, чтобы реакция дошла до крайних пределов. Быть может, хоть это заставит общество очнуться. И чем скорее мы будем катиться в эту пропасть, тем лучше.

Четверг, 19 февраля, $11^{1}/_{2}$ часов вечера.

Дорогая моя Зиночка,

С понедельника этой недели жизнь моя несколько исправилась. По крайней мере я начал работать и думать над работой и чувствую, что интерес ко многим вопросам моей историографии во мне возрождается снова. И всё же я ещё не окончательно освободился от натиска приятелей, приглашающих к приятному времяпрепровождению. Однако уже и то хорошо, что я после него снова принимаюсь за работу. Будь это 15 лет назад, когда я был студентом первых курсов — ничего бы я не делал.

Вчера был вернисcаж Бубнового Валета, после которого компания художников, и я в их числе, провели вечер сначала в кабаке, а потом у Пети. Была и Наталья Флоровна, о которой я уже писал тебе — танцовщица. Она, кажется, хочет меня очаровать, ибо сыплет мне комплименты, приглашает к себе; но очаровать меня ей не удастся.

[...] Сегодня был на выставке Максим Горький и будет, кажется, писать о ней статью, в каком смысле, не знаю. Весь день я работал, и так хочется запереться, сказать всем, что я уехал, и думать только о своей работе. Как странно, что мы скучали с тобой в Париже по московским вечерам и встречам. Всё это так скучно и бесцельно, и в сущности весь интерес жизни в деле, в заботах, в хлопотне, а развлечения должны играть роль только физического отдыха. Ты, я думаю, тоже пришла к этому выводу после моих рассказов о Москве.

[...] Поцелуй моих маленьких детишек, скажи им, что я очень рад их письмам, пусть пишут мне почаще. Завтра отвечу им всем.

Понедельник, 9 марта 1914.

Дорогая Зиночка,

Не надо предаваться грустным размышлениям о жизни и о том, сколько в ней печального. Смерть кон-

сьержкиной дочери меня очень поразила, но всё же лучше, что она умерла внезапно и тогда, когда надеялась на выздоровление. Я понимаю твоё тяжёлое состояние, оно передалось и мне, но я нарочно не ответил на твоё письмо тотчас же, а сначала кончил свою работу, письмо же отложил до вечера. Я не хочу теперь думать ни о чём грустном. Лучше поговорим о том, что требует сейчас затраты сил, внимания, энергии. Всё время я работаю усиленно, сосредоточенно и работа подвигается вперёд быстро. Времени у меня масса, я могу работать по двенадцати часов в день, так как встаю и ложусь спать рано. Уже в этой потребности вставать рано я чувствую приближение лета. Так приятно, просыпаясь в шесть часов, видеть, что в комнате светло. С утра я читаю Вергилия и Фукидида, а затем работаю над книгой и в то же время над лекциями. Уже конец им близок, и я рад, что и они и книга скоро с плеч долой. И всё же приходится запираться и прятаться от людей. Вчера от 5 часов и до вечера просидел у меня Протопопов. Сегодня утром чуть было не пришёл Тяжёлов, но, по счастью, я уже раньше сказал швейцару, чтобы говорили, что меня нет дома.

[...]Великая вещь одиночество. Всё внутри успокаивается, укладывается и получается чувство какой-то свободы, и внешней и внутренней. Ты не обижайся на меня за эти слова, я ведь и в одиночестве чувствую тебя с собою, думаю о тебе и мечтаю о нашем свидании. Но я говорю об одиночестве и свободе от всего чуждого. Хорошо это или дурно, но я чувствую, что кроме тебя у меня, в сущности, ни с кем нет близости. Быть может, это оттого, что никому, кроме тебя, моя личность и мой внутренний мир не внушает участия и интереса. Но я право не страдаю от этого, ибо я совершенно независим и ни от кого, кроме тебя, не жду и не требую ни сочувствия, ни похвал, ни поклонения. Конечно, если я что-нибудь « свершу » в жизни, признание людей мне будет приятно и даст удовлетворение, но свершить я стремлюсь всё же не ради этого, а ради самого себя. Сочувствия же я не жду ни от кого, даже от родных, потому что, мне кажется, все они слишком

много заняты собою, а другим уделяют мало внимания и мало места в своей жизни и своём чувстве [...] Только с тобою у меня полная близость и общность.

17 марта 1914. Вторник.

[...] Сегодня я был на кладбище, на могилах папы и мамы. Они занесены снегом, кругом тишина, и ни души на кладбище. И всё, что осталось от их жизни, это деревянный крест на могиле. Неужели всё? — а сколько там под этим крестом погребено надежд, радостей и страданий, которые мы знаем, и сколько такого, чего мы не знаем? И всё же это не всё. Я вспомнил наших детей, особенно Наташку. Ведь вот оно то, что продолжает жить, как след их исчезнувшей жизни. Когда вы приедете в Можайск на лето, мы свозим детей в Москву и покажем им могилы дедушки и бабушки. Потом ходил я дальше по шоссе через линию Брестской дороги, где я когда-то ездил каждый день в казармы. Если бы это было несколько лет тому назад, то вся эта прогулка, воспоминания и меланхолическая даль пейзажа за городом, которым я любовался, привели бы меня в расстройство и грусть на несколько дней. Но теперь я стал другой, Зиночка. Это кладбище вдруг напомнило мне другое, в Риме, за городом у церкви San Lorenzo. Я вдруг представил себе ясно, как будто видел вчера, эти чёрные кипарисы кругом белого мрамора памятников, а дальше пустынные зелёные поля, белые дороги и ещё дальше синюю линию гор. Какая могучая природа, воздух, небо Италии! Какая великая и блестящая жизнь! И всё это здешнее мне кажется теперь таким чуждым, серым, сумрачным. Нужды нет, что это своё, а то чужое. Разве не может и то стать своим, если его любишь всею душою и черпаешь в нём наслаждение самое высокое? И опять вспомнились мне слова Гёте : « Кто был в Риме, тот уже не может быть совсем несчастным ». Нет, Зиночка, я никогда не думал, что поезка в Италию так переменит мои вкусы, мои взгляды и даже мои привязанности. Я ведь только наполовину здесь. Да и что меня здесь привязывает? Лекции? Кому они нужны? А моя личная работа ведь вся относится к Риму и Италии. Если бы была здесь жизнь,

возможность приносить пользу людям, но настоящую пользу, восставать против той гадости, которая здесь творится, я бы, может быть, и не стремился отсюда. А сейчас, нет, ничто меня не привязывает к России.

Воскресенье, 29 марта 1914 г.

[...] Сегодня работал только утром, затем был с Петей у Щукина. Какая прелесть французская живопись. Велик гений французской нации и он так же отражается в её искусстве, как и в языке, и даже более, чем в языке. В этой живописи есть богатство восприятия жизни и, в то же время, умеренность в передаче. Есть серьёзное стремление к полному познанию изображаемого и поразительная добросовестность в выполнении, в котором нет ни капли напускного, эффектного, непродуманного. Я исключаю Матиса, в котором много внешности и как раз стремления к эффекту. Пикассо мне не нравится совсем.

8 мая 1914.

[...] Вчера у себя на столе нашёл письмо Сергея Ивановича Протопопова. Он выражает благодарность за статью[1]) и передаёт благодарность редакции. Сообщает он также, что общее мнение о статье и редакции и читателей лестное; все находят, что статья написана « талантливо » (!?). Не знаю, радоваться ли этому отзыву или смеяться? Талант вылился очевидно помимо меня, ибо я мало приложил труда к составлению статьи. Всё же, я сознаюсь тебе, что отзыву этому рад и по слабости души моей готов ему верить.

[9 мая 1914 г.]

[...]Так я и не обедал у Пети, и ходил вечером один и скучал о тебе. Скучаю я и о Париже. В Москве так скверно, да и в России тоже. Читала ли ты, что делается в Думе? Это какое-то непроглядное рабство.

---

[1]) Статья о старом Париже в полтавскую газету.



Дача в лесу под Можайском на берегу Москвы-реки

13 мая 1914.

Дорогая моя Зиночка,

Пишу тебе прямо из Можайска[1] из моей комнаты, где сижу перед окном и вижу сосны, свежую молодую зелень берёз и слышу гул сосен издали и щебетание птиц. Погода сейчас такая, как была в 1910 году, когда мы спозаранку в апреле забрались сюда, то есть одно очарование. Что-то есть в ней торжественное, тихое, спокойное, но не как сон, а как какое-то спокойное созерцание. Недавно побывав среди французской весны, я ясно вижу разницу её с нашей. У нас нет того блеска, какого-то яркого и сильного проявления жизни, как там. Всё там пышет силою — и изумрудная зелень, и роскошное цветение деревьев. А здесь и поле и лес кажутся словно притихшими, и их развитие представляется идущим медленно, робко, как-то украдкой. Но и в этом есть своя радость, бесшумная, спокойная. Правда, она всё же больше располагает к меланхолии и задумчивости, нежели к деятельности.

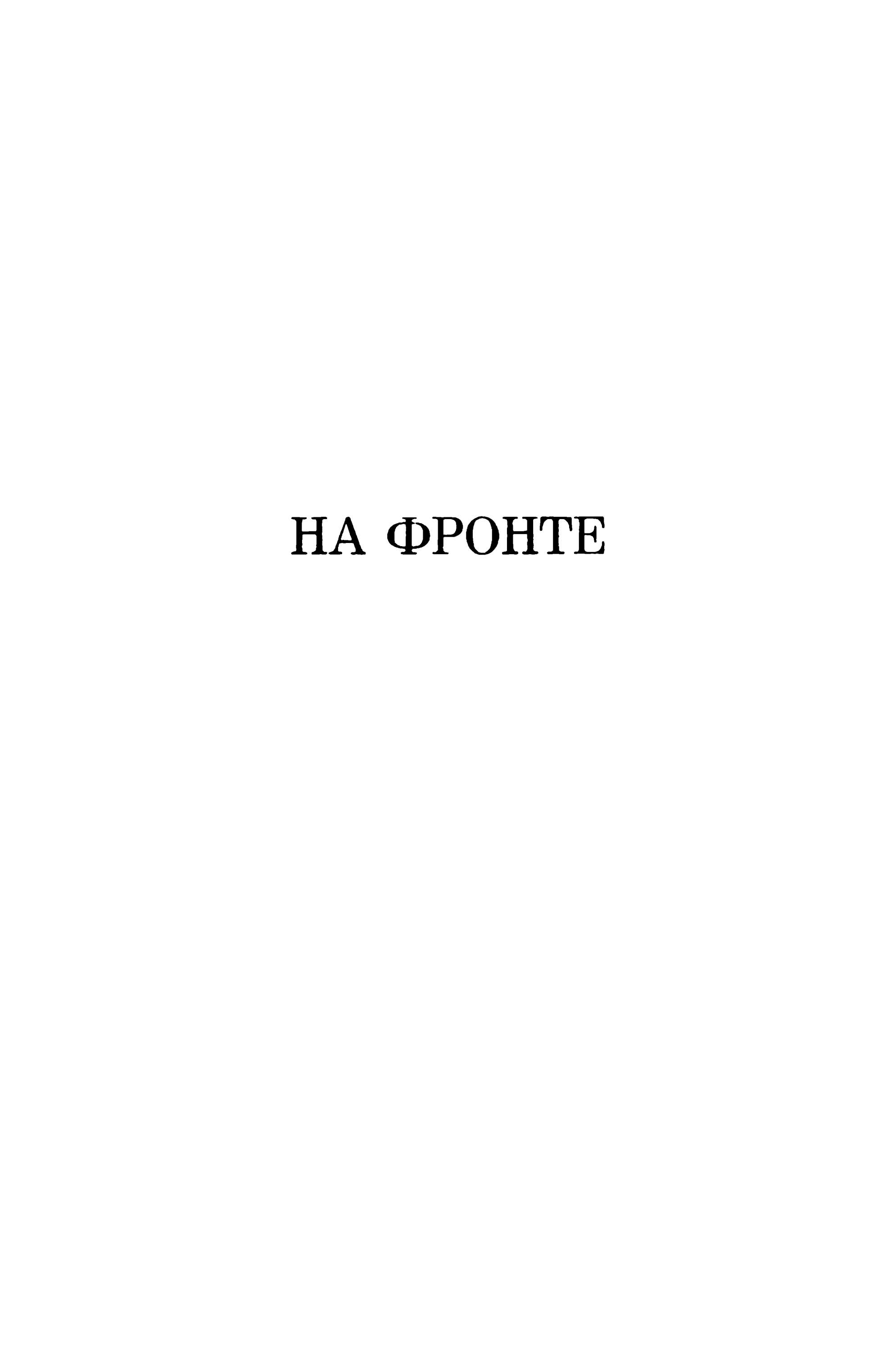
У нас на участке стучат топоры, разговаривают плотники, но и это не нарушает общей тишины. А воздух такой тёплый, чистый, живительный! Вот уже такой чистоты, действительно, нигде не надёшь за границей, разве только на берегу океана.

Мне страшно жаль, что тебя и детей нет здесь и что этого момента весны вы уже не застанете. Просто обидно, что дети не могут оставить занятий теперь же, да и дача, впрочем, ещё не готова.

Сейчас я вернулся и пишу тебе уже из Москвы. Потом я сделал прогулку по реке через Воронью гору и обычной нашей дорогой лесом домой. В лесу такое благоухание сосен, после зимы от тепла они пустили смолу, так что, когда я валил ёлки на нашей площадке, руки прямо прилипали к стволу.

---

1) Дмитрий Петрович подразумевает тут не город Можайск, а участок и дачу в шести километрах от него, куда его жена и дети приехали прямо из Парижа 10-го июня 1914 г.



НА ФРОНТЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ
НАСТРОЕНИЯ В АРМИИ И В ТЫЛУ

Объявление войны вызвало во мне весьма сложную реакцию, полную внутренних противоречий. Я до сих пор отчётливо помню мои тогдашние переживания. В глубине души, там, где у каждого человека таится сознание настоящей, последней правды, которую он часто не решается высказать открыто, я ощутил это событие как тяжёлый удар, как конец моего светлого мира радостей и надежд, как преддверие какой-то ещё непостижимой катастрофы. Ощущение это неразрывно связалось в моей памяти с впечатлениями первых дней мобилизации. При наступившем внезапно в связи с нею расстройством транспорта мне приходилось ездить в Москву с дачи по пяти-шести часов вместо прежних двух, а со станции идти домой пешком. Целью поездок было узнать о своём назначении в какую-либо часть, так как в течение целой недели я не получал ни из Москвы ни из Можайска никакой повестки о призыве. Возвращаться со станции на дачу мне несколько раз приходилось на рассвете. Я шёл полный впечатлений от мобилизации и общего настроения в Москве, впечатлений невесёлого порядка. Как памятны мне эти ранние августовские утра с застывшим стеклянным воздухом, с холодной росой, предвещавшей близкую осень, с багровой зарёй на востоке. Уныло глядел на меня знакомый раньше обычно такой радостный пейзаж, и уныло было у меня на душе.

Но привычный моей натуре оптимизм и желание, чтобы вышло всё же по-моему, загнали эти мрачные предчувствия глубоко внутрь и заставили меня хва-

таться за все явления и факты окружающей жизни, которые давали надежду на другой, благой исход. К тому же мобилизация тотчас же бросила меня в поток людей и событий, я стал человеком толпы, думал, чувствовал и действовал как другие, прилепляясь в особенности к тому, что поднимало дух и этим помогало жить. И вот, подведя итог всем фактам и присоединив к нему коэффициент нужного мне оптимизма, я вместе с большинством уверился в том, что война по условиям нынешней техники и экономики не может и не должна продлиться более трёх месяцев, во всяком случае к Рождеству мы с победой вернёмся домой, и тогда-то возобновится прерванный ход моей личной жизни. И именно эта личная жизнь, а не мировые последствия войны стояли тогда в центре моего внимания.

Шаг за шагом, удар за ударом надежды эти были развеяны, а вся обстановка войны, ближайшее окружение моей военной части, злоба дня военных действий и службы, всё это постепенно стало завладевать моим существом и превращать недавнего учёного и интеллигента в фронтового офицера. Интересы науки и собственного творчества в ней отодвинулись на задний план, во всяком случае на время войны, а первое место заняли ближайшие боевые задачи как общие, европейские и русские, так и частные, касающиеся собственного дивизиона, парка, батареи. Жизнь фронта с его нуждами и интересами стала во главу угла и с этой точки зрения стала рассматриваться вся остальная жизнь. В мироощущении произошло разделение на « фронт » и « тыл », а принадлежность к фронту внушала сознание своего превосходства и законности своих прав и требований, предъявляемых тылу. Не малую роль играло при этом чувство гордости быть на важном посту в роли решающего фактора мировых событий, быть центром внимания и предметом забот родной страны.

Всё это давало огромное удовлетворение, особенно в течение первых месяцев войны. Но по мере того, как она затягивалась, вышеописанное состояние и ощущения стали сменяться другими. Доминирующими чертами нового настроения стали скука, безразличие, скептицизм и ирония в отношении ко всем окружающим

явлениям, за исключением своих собственных, личных дел и личной судьбы. Прежняя готовность жертвовать собою сменилась повышенной заботой о себе. Так называемое « ловчение », раньше бывшее среди фронтового офицерства исключением, стало явлением очень заметным. Прежние фронтовики начали предпочитать спокойные и безопасные места в тылах и на этапах армии. Резко изменились также отношения между фронтом и тылом. Благосклонное и горделивое когда-то приятие фронтом похвал и приношений со стороны тыла сменилось теперь раздражением и досадой. Хорошо, мол, вам расписывать в газетах героизм и терпение « доблестной, родной, любимой армии », а каково нам здесь сидеть в окопах и кормить вшей и рисковать своей шкурой на позициях или в боях, когда наши жертвы и потери ни на йоту не подвигают дело к развязке. Вы там в тылу каждое утро за чашкой кофе разворачиваете газету и жадно ищете сенсации о новом наступлении, успехах и потерях, ибо вам наскучило это вечное « на фронте без перемен ». А вы побывали бы здесь и на собственной шкуре испытали бы, чего стоит нам каждая попытка наступления.

* * *

Последние месяцы 1916-го и первые месяцы 1917 года я безотлучно провёл в своей бригаде, куда я был переведён по моему желанию с моего прежнего места службы в 8-ом Сибирском горном артиллерийском дивизионе, в течение всей войны находившегося на юго-западном фронте. Причиной моего перевода в новую часть явились весьма враждебные отношения, сложившиеся у меня с командиром дивизии, полковником Мышаковым. Этот полковник представлял собою тот отрицательный тип начальника, которых было так много среди высшего командного состава царской армии, и которые своими действиями столь способствовали военным неудачам и деморализации армии : невежественный и корыстный бюрократ, он думал только о собственной выгоде и удобствах и о предстоящем генеральском чине, который надеялся получить простой выслугой лет. Всё участие его в военных действиях вы-

разилось в том, что из своего « штаба дивизиона », державшегося всегда в глубоком тылу, он делал нелепые распоряжения двум подчинённым ему батареям и их паркам, и творил всяческие личные неприятности офицерам. Желание избавиться от этого начальника явилось главным мотивом моей просьбы о переводе. Другим, тоже немаловажным, мотивом явилось желание попасть на средний участок фронта и быть ближе к Москве, т. е. к моей семье, родным, друзьям, московской культурной жизни, газетам и политическим новостям. Всего этого я был в течение долгих месяцев лишён в дивизионе, скитавшемся по глухим горным участкам юго-западного фронта в Галиции, Буковине и северной Румынии.

Осенью 1916 года шёл уже третий год войны. Теперь, после всего, что пришлось испытать за истёкшие с тех пор тридцать с лишним лет, двухлетний срок тогдашних военных событий представляется коротким и ярким мгновением. В то время этот срок казался вечностью : война, превратившаяся в позиционную, представляла монотонную периодическую смену долгих сидений на месте и коротких частичных наступлений, не приводивших ни к чему : она давно уже наскучила всем и перестала возбуждать какие-либо надежды. Интерес к общим вопросам и высоким материям, как патриотизм, судьба родины и т. д., притуплялся и у каждого солдата и каждого офицера всё более сосредоточивался на себе самом, на своих личных делах. Именно этот личный интерес был сильнейшим побудителем в моём искании служебной перемены. К тому же в армии, как и во всей стране, давно уже укрепилось сознание, что дальнейшие судьбы России и, в частности, исход этой войны определятся не военными действиями, а тем или другим разрешением политического кризиса в тылу.

Ту же усталость, апатию и безнадёжность, какие господствовали в армии, я ясно почувствовал в Москве, где я провёл несколько дней в ноябре 1916 года при переезде из одной части в другую. В отличие от моих прежних побывок в Москве в 1914 и 1915 годах, когда я приезжал в командировку, в отпуск или за подарками для нашей части, я не нашёл прежнего интереса к

армии, её нуждам и её страданиям, которые, однако, как раз теперь стали гораздо более тяжкими и заслуживали большего внимания и сочувствия. Проглядывало даже какое-то неудовольствие на армию за её слабые боевые достижения. « Тыл » был преисполнен сознания своей заслуги перед армией в деле её снабжения оружием и боеприпасами, а также в обслуживании различных её нужд; он считал себя в праве требовать от армии соответствующей оплаты в виде более ощутительных боевых достижений. Впрочем, ещё в гораздо большей степени, чем это было в армии, интерес и внимание тыла были поглощены политическим положением, конфликтом между Государственной Думой и правительством, этими двумя силами, настроения, взгляды и цели которых были диаметрально противоположны. Как разрешится этот кризис, никто не ведал, но что дальше так продолжаться не может, что должно произойти нечто решающее, это сознавал каждый. Среди интеллигентских и буржуазных кругов, в которых я вращался в Москве, наряду с живейшим интересом к политическим сплетням и слухам, всего более были заметны раздражение и досада на то, что война является помехой личным видам и планам каждого, досада на то, что прежняя привольная, богатая всякими возможностями жизнь так долго парализована войной. Много внимания также поглощали растущая дороговизна и всё удлиняющиеся « хвосты » у лавок — выражение, тогда ещё недавно вошедшее в обиход.

Таковы были в общем настроения в тылу и в армии, хотя они и не в одинаковой степени сознавались и отчётливо формулировались офицерством и солдатами. Впрочем, солдатская масса с гораздо большим терпением и сознанием долга несла свой крест и гораздо более была готова на дальнейшие жертвы также и в конце войны. В повышенной степени подобные настроения разделял и я, в повышенной потому, что более чем двухлетний перерыв в моей научной деятельности казался мне теперь огромной потерей сравнительно с моими коллегами по специальности.

ПИСЬМА К СЕСТРЕ [1]

[Начало августа 1914 г.]

Дорогая Виточка,

Пете и мне тоже выпало на долю принять участие в защите родины против гнусных немцев. Отрадно сознавать, что мы будем сражаться за правое дело вместе с передовыми свободными нациями — Францией и Англией. Моё сердце как друга и поклонника французов радуется при виде того, как при первых же шагах французской дипломатии и при первом подвиге французов и бельгийцев, в русском обществе стало спадать ослепление всем немецким и появилось изумление перед Францией и вера в её силы и превосходство.

Какой великий момент мы переживаем! Я верю, что вместе с поражением Германии наступит новая эра в жизни народов Европы, что и в международных отношениях и во внутреннем порядке восторжествуют те начала права и свободы, которыми проникнуты Англия и Франция и к которым теперь, по воле рока, должно будет склониться наше реакционное правительство, связавшее свою судьбу и судьбу России с передовыми и свободными нациями Запада.

Завидую тебе, что ты переживаешь эти минуты в Париже, где, как нигде в мире, энтузиазм и подъём проявляются так сильно и прекрасно. Но я, во всяком случае, на своём месте не только как наблюдатель и

---

[1]) Виктория Петровна Кончаловская, сестра автора. Обосновалась в Париже с 1899 г. Преподавательница русского языка в Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes с 1907 по 1954 г.



Виктория Петровна Кончаловская в 1902 году

сочувствующий, но как действующее лицо. Что бы ни случилось в будущем со мной, я живу теперь в каком-то радостном возбуждении и считаю себя счастливым тем, что принадлежу к поколению, которому выпало на долю пережить и совершить великие события. Пишу тебе из Сибири, куда был назначен, по мобилизации, но оттуда еду завтра на запад вместе с войсками.

23 октября 1914.

Дорогая Виточка,

Больше двух месяцев прошло с тех пор, как я писал тебе из Сибири, и сколько изменилось с тех пор в мире и в нашей жизни! Не проходило дня за всё это время, чтобы я не думал о Франции и о тебе, которая единственная из всех нас осталась там, где живёт теперь половина моих чувств, опасений и надежд. И я рад тому, что ты там осталась, это даёт мне право думать, что не всё порвано между нами и Францией, что есть там живой и родной представитель той идеальной связи, которая соединяет нас — меня и мою семью — со страной, которая дала так много нам всем и навсегда приковала к себе наши сердца. Милая Франция, как боялся я за неё, ты не можешь представить; каким тяжёлым кошмаром висели передо мной картины близкой осады Парижа! С какой радостью прочёл я вести об успехах французов на Марне, и как всё же грустно мне думать и представлять себе картины разрушения целой полосы той цветущей приветливой территории, по которой столько раз мчался я от бельгийской границы к Парижу, счастливый быть наконец во Франции, у цели долгого и утомительного путешествия по скучной и зловещей Германии. И сколько всё-таки ран для сердца! Гибель Реймского Собора, бомбардировка Notre-Dame, это наглое глумление, это гнусное торжество немцев... Я непрерывно думаю о сотнях тысяч жизней, которые уже унесла или унесёт эта война, жизней таких красивых, тонких, я вижу перед собой эти хрупкие фигуры, интеллигентные, красивые лица, которых столько встречал в Париже, которыми привык

любоваться и радоваться. Где ты, наша мирная жизнь в Париже, наша улица, квартира, моя работа, школа детей, Люксембург, и столько привычных и милых сердцу уголков? Где вы наши французские друзья? Вернётесь ли вы к нам, увидимся ли мы, или уже невозможен возврат к старому через эту пропасть, полную слёз, страданий и крови? Многого надо достигнуть, много пережить, чтобы возможным стало забвение страшных ударов и потерь, чтобы возможным стало безмятежное наслаждение жизнью. И прежде всего, надо достигнуть искупления, самого беспощадного искупления всего совершённого, мы ещё должны позлорадствовать, в свою очередь, мы должны насладиться досыта поражением и позором Германии, которое придёт рано или поздно. В нашей армии ожесточение растёт. Когда в первый раз наши были в Пруссии, было предписано ко всему и всем относиться бережно и щадить всё. Хотели щегольнуть рыцарством перед варварами немцами, уже тогда показавшими себя в Лувене. И пали жертвой этого наивного рыцарства. Всё население оказалось шпионами. В ульях были поставлены телефоны с подземными проводами. Одна случайность, и два корпуса погибли, всё завоеванное было сразу утрачено. Как раз к моменту несчастья под Сольдау с Самсоновым прибыли на границу сибирские корпуса. Теперь идёт музыка уже не та. Теперь всё подвергается разрушению. И когда мы снова и окончательно вторгнемся в Пруссию, от неё камня на камне не останется. Немцы ругают нас варварами, такими мы и будем в Германии, наши солдатики покажут себя.

[...] Тем временем я побывал в боях, под Граёвым ещё давно, а последнее время под Бялобжегами, Августовым и Сувалками. Один раз пришлось идти под обстрелом тяжёлой артиллерии по переправам через Августовский канал. Теперь наш корпус уже давно перешёл границу, но наша горная батарея пострадала в бою под Сувалками и починяется здесь в Августове, а поэтому сидит в Августове и наш парк, в котором я служу. Парк это часть, хранящая снаряды для батареи. Но через неделю мы отсюда выступим.

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА ПРОТОПОПОВА [1])

По дальнему Западу России, от вод Балтики до берегов Днестра непрерывною лентой протянулась зловещая, смертоносная полоса. Каждый вечер, лишь только сумрак спустится на землю, по бесчисленным дорогам в неё вливается поток людей. Это новые бойцы, со всех концов России пришедшие сюда, чтобы завтра на рассвете стать на место павших сегодня. Тихо идут они, без песен, без огней... В сумраке надвигающейся ночи стирается своеобразие их лиц, а общая участь завтрашнего дня равняет всех, уничтожает все те различия, которые они оставили позади себя, в своей прежней жизни. В один весенний вечер вместе с серым потоком молчаливых людей в полосу смерти вошёл Владимир Сергеевич Протопопов, а 3-го июля он пал, поражённый в грудь осколком австрийского снаряда.

Теперь, когда прошло почти три месяца со дня его трагической кончины, и когда первые порывы скорби об этой незаменимой утрате улеглись, настало время дать оценку личности и деятельности покойного Владимира Сергеевича. Мне невыразимо грустно, что в день, когда друзья, сотрудники и ученики его собираются, связанные памятью о нём, чтобы в общих воспоминаниях воскресить светлый и дорогой образ, я не могу быть вместе с ними. Но я чувствую неодолимую потребность хотя бы издалека поделиться с кругом близких к покойному людей своими воспоминаниями

---

[1]) Письмо, прочитанное в октябре 1915 года в заседании Исторической Комиссии Учебного Отдела Общества Распространения Технических Знаний.

о нем, своим пониманием его личности. В той обстановке, в какой я нахожусь, я не могу сделать это так полно, так удовлетворительно, как я хотел бы, и как того требует всё значение личности покойного. Подавив в себе чувство скорби, оставив в стороне всё личное, что связывало меня с товарищем и другом в течение большей половины моей сознательной жизни, я хотел бы дать *объективный* его образ, как представляется он мне во всём своём спокойном величии теперь, когда смерть подвела итог его жизни и его деятельности.

Владимир Сергеевич имел много замечательных качеств, нравственных и умственных; эти качества находили вокруг всеобщее и неизменное признание. Замечательна его честность, чувство долга, его чуткая совесть, необычайны его память, обширная учёность, его тактичный и здравый ум. Глубоко оригинальна самая внешность, угловатая и исполненная достоинства в то же время, его манера держать себя, самые мелочи его житейской обстановки. Все его проявления осуществляли какой-то особенный, ему одному свойственный стиль, столь яркий, столь выдержанный, что нельзя было найти в нём ни одного противоречия, ни одного диссонанса. Но всё же не отдельные качества, ни даже редкая и богатая совокупность их делают в моих глазах личность его значительной и необычайной. Ведь есть на свете не мало людей честных и богато одарённых. Необыкновенным в личности покойного Владимира Сергеевича было то, что в сочетании качеств её ни одно из них не было случайным, ни одно не стояло особняком от других. Характер Владимира Сергеевича содержал в себе то, что мы реже всего встречаем в людях, именно — *единую сущность*, из которой, как частности из целого, вытекали все его отдельные черты и проявления. Этой определяющей сущностью характера его была простота. Надо понять всё значение этого слова. Простота, как я понимаю её в определении характера Владимира Сергеевича, есть полное соответствие двух сторон человеческой природы : ума и чувства, или даже инстинкта. Когда я мысленно прохожу всю его жизнь, вспоминаю его поступки, вкусы, суждения и принципы, я вижу в них поразительную гармонию и цельность. Сознательная логика и бессознательный ин-

стинкт в личности его совпадали; каждый его поступок, каждое проявление одинаково вытекали из обеих этих сторон его духа и в обеих находили своё оправдание. В этом лежит необычайная цельность и простота его натуры. Это основное его свойство представляет нечто совершенно исключительное. Именно оно освобождает его характер от тех ненужных, случайных и противоречивых черт, которые так часто делают сбивчивыми и непонятными поступки и проявления людей, даже самых незаурядных. Именно оно придаёт его образу такую ясность и спокойствие.

Ничто не было так чуждо Владимиру Сергеевичу, как инертность и квиетизм. Непрерывная деятельность была его потребностью и привычкой, но деятельность эта была так спокойна, так ритмична, что, казалось, всякое напряжение ей было чуждо. Казалось, она не встречала препятствий, для преодоления которых нужны были бы борьба и усилия воли. И в самом деле, таких препятствий не существовало внутри, в его душе, ибо все побуждения деятельности проистекали в нём только из природных склонностей и привычек. Он обладал каким-то необыкновенным чувством меры, и инстинктивно умел не ставить себе таких целей, которые не соответствовали бы его природе или превышали бы его силы. Оттого его работа никогда не превращалась в тщетные потуги и бесполезную суетню; но то, что он ставил себе целью, он преследовал с непоколебимым упорством и неизменно достигал.

Гармония ума и чувства, делавшая характер Владимира Сергеевича столь цельным, была самым счастливым его даром, была тем редким талантом, который ставил его особняком среди людей. Но он не делал его ни непонятным, ни чуждым другим людям. Владимир Сергеевич не был существом не от мира сего. Это был человек, и всё человеческое было ему доступно и близко. Он обладал редким чутьём людских отношений, редкой способностью понимать и формулировать каждое положение в них и необыкновенным тактом в выборе своей к ним позиции. Его глаза были открыты на всё. Не было того проявления благородства и честности, которое не нашло бы отклика в сердце Владимира Сергеевича, но не было и той пошлости, которая

ускользнула бы от его взора. Первое не возбуждало в нём сентиментальных восторгов и душевных порывов, которые не могли быть переведены в действие, вторая не вызывала бесплодного и бесполезного гнева. Владимир Сергеевич был рыцарь во всех отношениях, но он никогда не превращался в Дон-Кихота. Всего менее он имел склонности сражаться с мельницами, и потому никогда не становился смешон. Он не был мечтателем, и его трезвый ум прекрасно понимал меру вещей жизни. Он знал силу человеческих слабостей и прощал их людям. Как во всём остальном, так и в области вопросов морали им руководили врождённый инстинкт и врождённый же здравый смысл, умудрённый опытом и знанием жизни. Свою чуткую совесть, свою непреклонную мораль Владимир Сергеевич получил вместе с кровью матери, от её предков, французских протестантов, свой искренний демократизм он унаследовал от отца, горячего идеалиста 60-х годов. Но *придуманных* принципов он не признавал. Глубокий идеалист, он обладал чувством терпимости и понимал, что сущность идеала в его недосягаемости для людей. Поэтому он не требовал подвижничества ни от себя, ни от других, и ясно видел, как близок и незаметен переход от святости к самодовольству и высокомерию. Владимир Сергеевич не искал подвигов и не напрашивался на геройские поступки, но когда жизнь сама подвергала испытанию его подлинные принципы и задавала ему вопрос, он не уклонялся в сторону и всегда давал прямой ответ, не задумываясь о последствиях. Таких больших, решающих ответов ему пришлось дать два раза: первый стоил ему академической карьеры, второй стоил ему жизни.

В науке Владимир Сергеевич был таким же, как и в жизни. Его путь не мог стать иным, чем он был на самом деле. Какое на первый взгляд странное и противоречивое сочетание специальностей — математика и история! Владимир Сергеевич соединил обе вместе; он не мог остаться только математиком, не мог сделаться только историком. Математиком он был потому, что простота математических истин соответствовала простоте его мышления, безупречной логике, проявлявшейся в его научных занятиях так же, как и в поведении

его вообще. Прямая линия была для него всегда и во всём кратчайшим расстоянием между двумя точками. Он остановился бы в этой области только, если бы был человеком спекулятивного мышления, отвлечённым от жизни философом. Но таким он не был. Напротив, он любил конкретное; жизнь в её добре и зле, во всём прекрасном и страшном, что она содержит в себе, привлекала его ум и сердце. История была для него тою же жизнью. Выбирая факты и эпохи для изучения, он повиновался тому же чувству простоты, которое определяло весь его характер. Первоначальное, первобытное, простое, имело для него притягательную силу. Банальности, повторений, вторых изданий он терпеть не мог. Ему были скучны те эпохи, когда старые истины и старые идеалы становились всеобщим достоянием, но при этом теряли свежесть непосредственности и силу убедительности, когда культурные ценности, распространяясь в массах, стирали местные особенности, но при этом тускнели сами. Он любил те моменты истории, когда человеческий дух в юношеском порыве создавал свои первые произведения, когда творчество било ключом из ещё свежих источников, и жизнь строилась в грубых, общих, но выразительных и ярких формах. Поэтому его оставляло холодным амальгамическое однообразие Римской Империи и эпохи Просвещённого абсолютизма, загромождённых мёртвыми формами, остатками прежних времён .Напротив, чарующую прелесть имели для него пластические и свежие формы античной Греции, блестящий и живой хаос Средневековья, возвышенная строгость готики, яркий быт итальянских коммун. Точно так же в окружающей жизни его привлекало своеобразие людей из простонародья, не тронутых общей цивилизацией, страны, сохранившие ещё первобытность, города, где уцелели старые, кривые улицы.

Стремясь постигнуть творческую работу духа в его первоначальных, свежих источниках, Владимир Сергеевич оставался верен себе и в самых методах изучения. В этом изучении он всегда восходил к первоисточникам. То, что шло из вторых рук, имело в его глазах лишь вспомогательную ценность. Всякое его знание

было потому так прочно, что опиралось на первоисточник. Как историк, Владимир Сергеевич был источниковедом в полном значении этого слова, и он был им не из учёного педантизма, но в силу своего инстинкта правды.

Историческая конкретность имела для него всё своё значение ещё и по другой причине. Верный своему чувству меры, он видел в факте единственный твёрдый объект знания, в его открытии и точном описании единственное *неоспоримое* приобретение науки. Он всегда помнил положение одного историка, что системы проходят и лишь факты остаются. Эта любовь к конкретному, эта здоровая оценка пределов нашего знания опиралась на феноменальную память, и такое счастливое соединение качеств сделало из Владимира Сергеевича учёного с огромными, редкими по глубине и обширности познаниями.

Таким был Владимир Сергеевич в жизни и в науке. Его пути не совпадали с теми широкими и торными дорогами, по которым движутся массы, так называемая большая публика. В других он восхищался счастливым даром облекать истину в красивую и лёгкую форму, способностью популяризации, в себе он их не чувствовал и выработать не пытался. Сам он предлагал истину такой, какою открывалась она ему, не делая её ни более доступной для понимания, ни более красивой. Познавание было для него не игрою и не развлечением, а трудом и напряжением ума. Владимир Сергеевич не успел, а может быть и не мог стать доступен пониманию большого круга людей; но тем сильнее было его значение для лиц, имевших счастье близко знать его. *Смысл всей своей жизни* — вот то, самое главное и самое важное, что он оставил нам после себя.

В этой жизни не было ни одного компромисса, ни одного противоречия, ни одного пятна. Её пример заставляет глубоко задуматься над всем, что обычно считается ценным, что определяет жизненный успех. Далёкий от подражания кому-либо, Владимир Сергеевич и сам не мог стать образцом для безусловного подражания. Он воплощал свой особый стиль, он был слишком самобытен. К тому же он был крайне терпим и чужд всякой мысли оказывать давление

или влияние на кого-либо. Но бессознательное воздействие его личности было неотразимо. Эта натура, цельная, как бы отлитая из одного металла, всегда верная себе, была пробным камнем, безошибочно отделявшим подлинное от подделки, золото от лигатуры. Для всех, кто знал Владимира Сергеевича, его совесть была мерилом должного, его такт и здравый смысл — мерилом возможного в отношениях жизни.

В этой закончившейся теперь жизни всё было полно глубокого смысла, всё имело своё оправдание, в ней ничего не было случайного. Также не была случайна и его смерть, ибо он сам пошёл ей навстречу туда, откуда живым выходят только волею случая. Он глубоко верил, что льющиеся теперь на пространстве всего мира потоки крови станут искупительной жертвой за грядущее счастье и мир человечества, и он не счёл себя вправе воспользоваться будущими плодами общей жертвы, не предложив судьбе, как цену, и свою собственную чистую и честную кровь.

СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД

РЕВОЛЮЦИЯ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Февральская революция 1917 года, послужившая прологом к большевистскому перевороту в октябре, застала меня на фронте в окрестностях Минска, где я в чине подпоручика состоял младшим офицером одной из батарей 11-ой тяжелой артиллерийской бригады. С момента первого известия о происшествиях в Петрограде, принесенных нам вернувшимся из служебной командировки унтер-офицером, и до Октябрьской большевистской революции мне пришлось быть свидетелем неуклонно нараставшей и охватывавшей всю страну анархии.

Революция в самом разгаре войны! Кто мог бы утверждать, что сам по себе этот факт должен принести гибель стране. Спросим об этом историю: во Франции революция 4 сентября 1870 года организовала национальную оборону и спасла по крайней мере честь страны. Ещё раньше, в 1792 году, в разгар революции Франция отразила чужеземное вторжение, а затем начала свое победоносное шествие по Европе. Но Россия? В её собственном прошлом 1905 год и Японская война стояли, правда, предостерегающим примером, и всё же пример этот не смущал, ибо велик был соблазн верить в революцию как взрыв творческих и организующих сил народа. К тому же, Россия так переменилась, так выросла материально и духовно за последние двенадцать лет.

Согласно двум этим противоположным установкам в отношении к революции, стали почти немедленно группироваться офицеры в действующей армии и в тылу. Старые служаки и уже созревшие на службе кадровые офицеры, привыкшие к порядку, служебной

рутине и субординации, чувствовали себя не по себе, мало разбирались в происходящем, но в то же время, сознавая полностью, как безнадёжно был скомпрометирован старый режим, не протестовали прямо против нового наступавшего порядка вещей, а относились к нему недоуменно и скептически. В нашей части они больше молчали и лишь от времени до времени высказывали иронические замечания по поводу того или другого неудачного проявления революционности. Но молодое кадровое офицерство и, в первую очередь конечно, интеллигенция, в лице прапорщиков запаса влившаяся в командный состав армии, образовали активную группу энтузиастов — сторонников революции. К этой группе, конечно, принадлежал я. За два с половиной года весь горький опыт войны, показавший полную неспособность старого режима выполнить национальную задачу и привести страну к победе, заставил меня все надежды возложить на революцию, которую я мыслил себе как взрыв энергии страны. Революция, в глазах таких мечтателей, каким в то время был я, казалась последним якорем спасения, и отныне задачей и долгом всех сочувствующих ей сделалось использование открываемых ею возможностей в целях победы. Это была не та вера, о которой говорится, что она есть « уповаемых извещение », это была ясная, так сказать научная, уверенность в том, что в русском народе полностью действуют силы порядка, жив здравый смысл и инстинкт солидарности. Русский народ в своей массе совсем не то, чем он был в 1905 году. Опасность социальной революции и анархии я исключал, ибо думал, что социальный вопрос со времени 1905 года утратил свою остроту, благодаря реформе Столыпина, а главное — благодаря общему необычайному экономическому подъёму России, который всякому бросался в глаза. Деятельностью революционеров я не интересовался, считая их a priori ничтожными болтунами. Я судил о них по случайным встречам и впечатлениям, например, по Луначарскому, с которым однажды ещё в студенческие годы просидел вечер в споре об искусстве и который показался мне весьма начитанным, но пустым фразёром, или по портрету Ленина, дегенеративный

тип которого производил на меня отталкивающее впечатление. Присутствие взрослой, наиболее ответственной части населения на фронте, в соприкосновении с внешним врагом, в постоянном ощущении стоящей перед страной опасности, казалось мне несокрушимой гарантией против возможности социального переворота. Два с половиной года боевого товарищества всех классов общества на фронте создали в моих глазах мираж всенародного объединения.

А впрочем, был ли это только мираж? Когда я вспоминаю положение на фронте в первые недели и сравниваю его с позднейшим хаосом, то кажется прямо поразительным, как ещё много было в солдатской массе элементов порядка, сознания ответственности и готовности также и впредь нести военную страду. Не говоря уже об артиллерии и коннице, полнее сохранивших свой кадровый состав, воинский дух и дисциплину, даже пехота, постоянными пополнениями превращённая скорее в сброд, даже эта пехота в руках умелых, толковых и тактичных офицеров проявляла организованность и дисциплину. Но много ли было таких офицеров в пехоте? Проблема человеческих кадров могла казаться частичной и всего лишь военно-технической проблемой. А между тем проблема эта разрешилась под действием важного, универсального фактора — гражданского духа русского общества.

То, что я скажу сейчас о русском обществе в войне, может выставить меня в положение кающегося и кающегося поздно, а такое положение смешно и жалко. Пусть так. Но я взялся за перо, чтобы в пределах моих знаний, опыта и способностей вскрыть правду и постараться в фактах прошлого найти объяснение тому, что кажется необъяснимым и останется необъяснённым, если только в нашем анализе мы не будем беспощадны и к другим и к самим себе. Да! Пехотное офицерство! Казалось бы, маленький пунктик, а от него развалилась армия, развалился фронт и погибла старая Россия. Так от копеечной свечки когда-то сгорела Москва.

В состоянии офицерских кадров, как солнце в капле воды, отразилось нравственное и гражданское состояние нашего общества в его высшем и особенно в его

средних слоях. Однажды, много лет спустя после войны, просматривая новые книжные поступления в библиотеке Московского Университета, я натолкнулся на несколько толстых томов « Антологии французских поэтов, погибших в войне ». Там были сотни имён молодых людей, начинавших жизнь и творчество, составлявших вместе с остальной интеллигентной молодёжью — художниками, учёными, инженерами — цвет нации. Известно, что во Франции во время и после войны существовал вопрос об « окопавшихся в тылу », существовал он, конечно, и в Германии. Но, не подвергая эту проблему специальному изучению и не доискиваясь точных цифр, я решаюсь утверждать, что в смысле участия интеллигенции и образованного класса в войне на линии огня, в смысле их жертв своею кровью Россия среди всех воюющих стран составляла печальное исключение. Я решаюсь даже утверждать, что именно отсутствие подлинного патриотического и гражданского духа в нашем обществе явилось причиной военного поражения России, лёгкого успеха Октябрьской революции и внедрения большевизма в жизнь России.

Моё утверждение о роли русского общества в войне я могу подтвердить здесь данными из моего личного опыта и наблюдений. Во всей Москве, из так называемых академических кругов, т. е. высоко квалифицированных лиц преподавательского состава, мне известны, кроме меня самого, лишь два человека, принявшие участие в войне на боевых позициях. Только один из них, а именно мой друг В. С. Протопопов, вступил в армию добровольцем. Протопопов был мой друг и представлял собою в умственном и нравственном отношении совершенно исключительную, избранную натуру. Вступив в армию добровольцем, он постарался это скрыть и обставить дело так, чтобы оно имело вид выполнения государственной повинности в общем порядке. Надо сказать, что в первые же дни мобилизации призыву в армию подверглось всё мужское население, причём лица, никогда не отбывавшие воинской повинности в силу самых разнообразных, предоставленных им законом льгот, тоже призывались, но подвергались проверке в призывных комиссиях. Здесь каждый мог воспользоваться своей льготой и избавиться от призыва. Мог это

сделать и Протопопов, ибо, как преподаватель, он состоял на государственной службе. Но об этом факте он умолчал на комиссии и, таким образом, был взят в армию. « Я поступил так, — говорил он мне, — для того, чтобы дело не имело такого вида, словно я иду на войну добровольцем; ведь в мои годы и при моём общественном положении это показалось бы смешно ». Я нарочно привожу здесь это объяснение: оно показывает, как относилось общество к такого рода фактам. Действительно, общее мнение было таково, что, пусть мол простой народ, масса и люди рядовые, серые идут на фронт как пушечное мясо. Мы, избранные, должны беречь себя для более высоких задач, на которые способен не всякий. Поступок Протопопова у его учеников и учениц, у массы его поклонников вызвал преклонение, но собственных его товарищей, принадлежащих к « избранным », он заставил пожать плечами. Двое из них, правда социал-демократы, а именно довольно известный историк В. Н. Сторожев, ныне покойный, а также мой товарищ по университету, впоследствии при большевиках ставший членом Белорусской Академии Наук, Н. М. Никольский, уже после геройской смерти Протопопова прямо говорили мне, что считают его патриотический акт « глупостью ».

Я мог бы указать много других подобных же примеров из моих личных наблюдений. Ограничусь ещё только двумя. Целая плеяда молодых поэтов полегла за родину на полях Франции. А наш, в то время « знаменитый », поэт Игорь Северянин во время первых грозных битв на фронте устраивал свои публичные поэтические выступления в Петербурге и Москве и, косвенно отвечая на упрёк в уклонении от общей патриотической жертвы кровью, кокетничал в такой декламации:

Когда же. . . . .
Падёт последний исполин,
Тогда, ваш нежный, ваш единственный,
Я поведу вас на Берлин.

Позже, в самый разгар наших поражений летом 1915 года, одна дама с весьма видным общественным положением, жена известного профессора, впоследствии члена Временного Правительства, умилённо рассказы-

вала мне о « патриотизме » своего юного сына, который, считая своим долгом добровольцем идти на фронт и не дожидаясь срока своего призыва, поступил... в санитары одного из медицинских отрядов Земско-Городского Союза. Конечно, на войне погибали и санитары, но всё же безопаснее быть санитаром, нежели бойцом в передовой линии пехоты!

В том-то и оказалась беда России, что её интеллигентная и образованная молодёжь массами повалила на различные посты фронтовых и тыловых учреждений знаменитого Земско-Городского Союза или Земгора. Деятельность почтенная, принёсшая огромную пользу фронту. Но всё же было бы лучше, если бы этот цвет интеллигенции, получивший насмешливое прозвище « земгусаров », заступил места павших в начале войны кадровых офицеров пехоты. Только они смогли бы явиться тем командным составом, который был в высшей степени необходим пехоте и во время войны, и особенно позже, в революции. Вместо того офицерские кадры пехоты заполнялись прапорщиками из недоучек, из приказчиков и даже извозчиков; наиболее пригодным материалом могли бы стать те новые командиры, которые произведены были из унтер-офицеров; они по крайней мере, хорошо знали службу и были храбры. Эти их качества, однако, не послужили ни к чему; русский человек, кажется, бывает лучше на скромном, незаметном посту, чем когда он вдруг поднимется наверх. То был общий голос наблюдателей на фронте, что унтер-офицер, толковый, храбрый, готовый жертвовать собой, не рассуждая, терял эти качества, как только превращался в « ваше благородие ». Достигнутое положение было в его глазах заслуженной наградой, и надо было постараться уцелеть во что бы то ни стало, чтобы насладиться ею вполне. И вот прежний храбрец становился шкурником и старался держаться в тылу. Нужно ли говорить о том, что всё это пехотное офицерство в целом, в силу низкого своего культурного уровня, было совершенно неспособно приобрести авторитет и влияние в солдатской массе, в особенности в трудных и щекотливых ситуациях, возникавших в условиях революции?

Имею ли я право бросить камнем в этих обойдён-

ных судьбой, грубых, лишённых культуры и политического кругозора людей? Нет, конечно. Но указать на этот важный и печальный факт я обязан. Также и представителям нашего « культурного » общества я не считаю себя вправе делать упрёк, ибо я сам не стоял на той высоте, которую только что восхвалял в западных обществах. Говоря откровенно, я был весьма склонен надменно взирать на своих штатских коллег, выделяясь среди них в моём военном мундире; я снисходительно принимал выражения их восхищения по адресу моему, как представителя армии. При этом про себя я говорил : « Да, да, восхищайтесь, но я выполняю свой долг, а вы? Почему вы всё-таки здесь, а не там?.. ». Но выпячивая грудь перед людьми тыла, я должен был бы согнуться и стушеваться перед людьми настоящего фронта, перед теми, которые действительно рисковали жизнью каждый день, почти каждый час, тогда как мы, артиллеристы, вели довольно спокойную и сравнительно даже комфортабельную жизнь на наших расположенных далеко от пехотных окопов и укрытых позициях.

Хочу ли я, подчёркивая приведённые только что факты, сказать этим, что русские люди морально ниже западных, что они не способны ни к патриотизму, ни к самопожертвованию вообще. Совсем нет. Также и в первой мировой войне были примеры высокого патриотизма и самоотвержения. В. С. Протопопов был не один. Но в целом дух русского общества был иной, и этот дух явился симптомом того расстройства и упадка государственного и общественного порядка, при котором индивид теряет сознание своего морального и гражданского долга, чувство своей солидарности с массой себе подобных и не связывает своего личного блага с благом целого.

Распространяясь так много о факте, как будто бы частном и специальном, я хочу сразу выдвинуть на первый план и осветить важнейшее явление общественной жизни, по моему мнению, корень всех бед и злоключений нашей современности. Русское общество и государство, какими они вступили в войну 1914 г., если уже и не были построены на системе неравенств, привилегий и льгот, то ещё всецело были проникнуты их

духом. В этом проявилась страшная отсталость России от Запада в мировой войне, раньше всех воюющих держав выведшая Россию из строя. Произвести надлежащую, целесообразную расстановку человеческих кадров в армии и в тылу, поставить каждого на надлежащее место в интересах общего дела, т. е. конечной победы в войне — эта задача для исхода войны была решающей. Но решение самой этой задачи зависело от гражданского уклада общества, от его духа и от твёрдости стоявшей во главе его власти. Ни то, ни другое, ни третье в России не оказалось на высоте. « Дух » существовал только в газетных статьях и безответственных выкриках в Государственной Думе и публичных собраниях. На деле почти всякий стремился устроиться потеплее, побезопаснее и даже повыгоднее. Для всего офицерства с самого начала войны было ясно, что всё дело в командном составе всех степеней, что в русской армии это вопрос больной, что оздоровить эту важную область можно лишь на основе целесообразности и справедливости, что для выполнения этой задачи у общества в целом не хватает надлежащей « морали », а у власти надлежащей твёрдости. Отсюда одна общая черта у всех — нечистая совесть, с которой так называемое общество вступило в революцию, и сознание, что революция несёт ему заслуженную кару. Если в тот критический момент войны общество оказалось духовно слабо и дрябло, то нужна была действительно диктаторская власть, чтобы беспощадным принуждением заставить каждого делать то, что подсказывала ему совесть, но на что не хватало гражданского мужества. Тогда такой власти не оказалось, ибо монархия потеряла веру в свои собственные принципы и идейные основы. Но тогда обнаружилось, хотя и не для всех стало ясно сразу, что для России, как государства среди прочих мировых государств, дело шло либо о возрождении прежнего гражданского духа, либо о создании всесильной государственной власти. То или другое должно было выявиться в процессе революции, но сначала ей суждено было пройти через стадию анархии.



Д.П. Кончаловский в своём кабинете в Москве
в одну из побывок с фронта осенью 1916 года

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БРИГАДНЫХ КОМИТЕТАХ И ДЕЛЕГАЦИЯ В ПЕТРОГРАД

Вышеописанная моя философия истории определила мои установки, как в отношении войны, так и в отношении революции.

Конечно, я не собирался « бросаться в революцию » и делать политику. Я так же считал себя не призванным к ней, как и в нормальной жизни до войны. Но в делах и ситуациях моего ближайшего окружения я вменял себе в обязанность в меру моих сил и способностей содействовать той цели, для которой я присутствовал в армии, т. е. сохранению её порядка и боеспособности, чтобы этим дать возможность людям, взявшим теперь в свои руки судьбы России, довести войну до победного конца, а страну до какого-то нового устроения. Независимо от моего личного решения, само моё положение, как запасного офицера, среди прочих кадровых офицеров бригады выдвигало меня на довольно ответственную роль в бригаде.

Ибо вместе с революцией в жизнь армии вторглась политика, и её действие усиливалось с каждым днём. Прежде всего оно выразилось в создании в каждой части офицерско-солдатских комитетов, призванных к участию в управлении и командовании наряду с военным начальством. Совершенно естественно, что бывшие прапорщики запаса, ещё недавние штатские и большею частью люди с высшим образованием, сразу выдвинулись здесь на первое место предпочтительно перед кадровыми офицерами, в большинстве безграмотными политически и часто непопулярными среди солдат. Правило это распространилось и на меня, и я не счёл возможным уклониться от новых обязанностей. К

счастью, в артиллерии они не были так трудны, щекотливы, а иногда и опасны, как в пехоте. Ни среди солдат, ни среди офицеров у нас не оказалось искушённого в пропаганде « революционера », который стал бы вызывать « конфликты » между солдатской массой и начальством или вести общую политическую агитацию, как это было во многих других, особенно пехотных частях. Всё же мне тоже случалось попадать в трудное положение между двух огней, т. е. между справедливыми, как мне казалось, требованиями солдат и строптивостью начальников, не желавших считаться с новыми условиями и поступаться своими привычными и казавшимися им законными прерогативами. Чтобы избегнуть конфликтов, надо было лавировать между Сциллой и Харибдой, быть дипломатом, на что я совершенно не был способен.

Моя деятельность в комитете вскоре открыла для меня одну весьма соблазнительную возможность. Непосредственно в связи с переворотом в Петрограде на фронте установился обычай посылать от крупных армейских соединений — как армия или корпус — делегации из офицеров и солдат для принесения поздравлений Временному Правительству и Совету Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов и для выражения им заверений в сочувствии и преданности революции. Так как по каким-то причинам наша бригада не смогла принять участия в выборах делегации от корпуса, то ей было предоставлено право послать собственную делегацию в составе одного офицера и трёх унтерофицеров, по одному от каждого дивизиона. С целью избрания делегации и составления для неё наказа было устроено общее собрание всех бригадных солдатских комитетов. Составить такой наказ значило, в сущности, определить отношение собрания к революции, к созданным ею органам власти в лице Временного Правительства и Совета Депутатов, к новому революционному порядку вещей в армии и в стране, это значило также выразить соответствующие надежды и ожидания касательно будущих политических и социальных судеб России. Задача составления наказа представляла таким образом дело тонкое и щекотливое. Ибо некоторые уже ясно сознавали, — большинство же пока лишь смутно

чувствовало, — что революция поставила страну на распутье, и что в ней естественным ходом вещей возникает конфликт между двумя силами, зовущими её каждая на свой путь. Эти силы — Временное Правительство и Совет Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов. Первая вышла из Государственной Думы и является преемницей старого режима, носительницей и представительницей старой русской государственности и общественности, принципов порядка, дисциплины, иерархической субординации, т. е. всего того, что необходимо всякому обществу. Временное Правительство, вышедшее из Государственной Думы и общественных организаций, воплощало собою и должно было сохранить и донести до Учредительного Собрания всё то ценное, что всё же имелось в Российской государственности и общественности, что в прошлом подавлялось и засорялось злоупотреблениями и неправдами бюрократизма и полицейщины, ныне окончательно отменёнными и уничтоженными революцией. Вторая сила, представленная Советом Депутатов, воплощала собою принцип революции, как таковой, как новый момент русской жизни, самоутверждающийся в противоположности к российской действительности, со всем, что существовало в ней плохого и хорошего. Революция, таким образом, мыслилась и ощущалась не просто как перемена, переход от одного порядка к другому, новому, представляющему собою исправленное и дополненное издание первого, — нет, она была самостоятельной антитезой этого порядка, представляла собою некую самостоятельную ценную сущность. На первых порах задача сводилась к охранению и закреплению внезапно возникшей ситуации, к предотвращению всякой возможности восстановления старого порядка, а поскольку преемником последнего являлось Временное Правительство, задача революции и её органа — Совета Депутатов — сводилась к контролю над ним с целью пресечения реакционных поползновений. Далее, революция мыслилась как источник политического творчества, долженствующего создать в России новый порядок вещей; однако Совет Депутатов, считая себя представителем народных масс, всё же не чувствовал себя в праве уже теперь начать такое творчество и

видел свою задачу в благополучном доведении страны до Учредительного Собрания.

На собрание я попал в качестве члена дивизионного комитета. Председательствовал на нём один прапорщик, по образованию юрист, возглавлявший бригадный комитет. Участниками собрания были несколько офицеров, кроме меня, исключительно кадровых, и несколько десятков солдат, преимущественно унтерофицеров. Вся эта публика была совершенно не искушена в политических вопросах и плохо представляла себе создавшееся в связи с революцией положение. Среди неё не нашлось ни одного политически « сознательного », как сказали бы теперь в подобном случае, т. е. лица, искушённого в социальных и политических проблемах в духе революционной подпольной пропаганды. При таком положении мне, с моим образованием историка и социолога, оказалось нетрудным занять ведущее место в прениях, которые сосредоточились главным образом вокруг пункта о полномочиях Совета Депутатов и его отношениях к Временному Правительству. Ибо повсюду, также и в армии, уже намечалась демагогическая тенденция действительно признать этот орган своего рода верховной инстанцией над Временным Правительством — роль, которую он с самого начала присвоил себе. Теперь дело шло о том, чтобы санкционированием такой роли со стороны армейских частей придать Совету действительный авторитет, проистекающий из поддержки его притязаний со стороны армии. Все эти наши « прения » о роли Совета Депутатов, конечно, имели значение только для нас, как выяснение наших собственных взглядов. Практического значения они иметь не могли, так как Совет давно уже взял верх над Временным Правительством. По счастью для меня, среди собрания не нашлось ни одного определённого и решительного защитника такой роли Совета и мне без особенного труда удалось провести мою умеренную точку зрения на ту позицию, которой надлежало держаться представителям армейской части в отношении к целям революции и действиям созданных ею новых органов власти. Мне вообще удалось придать всей делегации, с одной стороны, торжественно-поздравительный, с другой же, осведомительный характер,

что давало мне возможность самому принять участие в ней. Ибо в ходе прений всё более выяснялось, что офицером, возглавляющим делегацию, буду избран именно я.

В прения на собрании я вовлёкся сам собою и вполне естественно, в силу потребности высказываться по животрепещущим вопросам, но когда стало ясно, что моё мнение по всем пунктам оказывается решающим, меня взяло желание попасть в делегацию. Ибо соблазн видеть революционный Петроград был велик. На нашем участке фронта мы лишь с запозданием узнавали о событиях и, как говорится, ничего не видели дальше своего носа. Не менее важным было чисто личное соображение, характерное для морального состояния каждого офицера, длительно привязанного к фронту: это — стремление хоть в течение нескольких дней повидать родную семью, разлука с которой становилась невыносима. Правда, семья находилась в Москве, но командировку в Петроград можно было легко соединить с посещением Москвы.

Опыт этой поездки в тыл оказался для меня потрясающим и в конце концов определил моё отношение к революции и мою дальнейшую линию поведения. Во главе трёх унтер-офицеров, представителей каждого из трёх дивизионов бригады, я отправился в служебную командировку в Петроград около 23 апреля нового стиля. Делегация официально была направлена в Комитет Государственной Думы, Временное Правительство и Совет Депутатов. Каждому из этих учреждений, в лице их председателей или их специальных представителей, мы должны были передать приветствие бригады с выражением готовности выполнить свой воинский долг до конца, а также уверенности, что данное учреждение сумеет сохранить приобретения революции и довести страну до заветной цели — Учредительного Собрания. В дополнение к политической миссии нам было также дано специальное поручение похлопотать в Артиллерийском Управлении о скорейшем перевооружении нашей бригады новыми шнейдеровскими тяжёлыми пушками вместо устарелых и неуклюжих крепостных орудий, образца 1877 года, которыми мы пользовались до сих пор. Это

поручение показывает, до какой степени ещё сильна была уверенность в возможности продолжения войны и как слабо офицерство представляло себе начавшийся в России разгул анархии.

Её симптомы поразили меня уже в дороге. На вокзале в Минске творилось нечто невообразимое. Последний раз я видел этот вокзал в ноябре месяце 1916 года при переезде с юго-западного фронта в тяжёлую бригаду. Всё шло тогда своим обычным порядком : офицеры козыряли и тянулись перед генералами, солдаты перед офицерами; они знали своё место в помещениях вокзала, на платформах у поездов.

Теперь было не то. Всю авансцену занимала солдатня; она ещё не совсем захватила положение, но уже грозила заполнить всё, хотя элементы порядка ещё не исчезли : вооружённые ружьями солдаты из более надёжных частей стояли у всех входов и на платформе, образуя целые заграждения при подходе или отправлении какого-либо поезда. Ибо буквально толпы солдат без оружия, небрежно и неисправно одетых, наводняли платформу и рвались в вагоны подходящих к платформе поездов. Вооружённым патрулям приходилось буквально бороться с этими ватагами, чтобы дать в вагонах места офицерам и солдатам, имевшим билеты и командировочные свидетельства. От непрошенных вторжений солдатской толпы надо было охранять также офицерский буфет и служебные помещения. Вся эта солдатская масса ещё повиновалась силе, и патрулям удавалось поддерживать кое-какой порядок при посадке в вагоны. Так я смог отправиться в Петроград, как положено офицеру, в вагоне 2-го класса; мои спутники поехали в 3-м. Всё же внешний вид и общая повадка солдат в отношении офицеров производили самое тяжёлое впечатление. Прежнее принудительное отдание чести под действием знаменитого приказа № 1 [1]) сменилось полным и иногда нарочито оскорбительным невниманием и неучтивостью. На этом

---

1) Приказ № 1, от 1 марта 1917 г., исходящий от Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, подписанный военным и морским министром Временного Правительства Гучковым. Приказ фактически подчиняет командование армии и флота Совету и освобождает солдат от субординации офицерам.

общем фоне распущенности отдельные случаи подчёркнутого, аффектированного отдания чести, поскольку оно являлось как бы милостью, казались скорее оскорбительными.

* * *

Миссия нашей делегации в Петрограде свелась к тому, что мы побывали в Таврическом Дворце, где присутствовали на различных митингах военных частей и организаций, представились председателю Комитета Государственной Думы Родзянко, который с рассеянным и скучающим видом выслушал произнесённое мною приветствие от нашей части, поблагодарил меня и ничего не сказал в ответ. Видно было, что все эти делегации, из которых наша была, может быть, уже тысячная по счёту, ему порядком надоели. Мы видели председателя Временного Правительства князя Львова, типичного интеллигента-либерала с мягким и добродушным выражением лица, который принял нашу делегацию весьма любезно, расцеловался со всеми нами и, в ответ на моё приветствие и пожелания, заявил, что, « несмотря на многие печальные явления и эксцессы, вполне естественные в народе, ещё не привыкшем к свободе, он с удовлетворением замечает под бурной поверхностью признаки устанавливающегося нового, здорового и многообещающего порядка вещей ». Совместно с другими военными делегациями мы были приняты в Совете Рабочих и Солдатских Депутатов, где выслушали рассказ о том, как представителям Совета удалось парализовать махинации Гучкова и К^0, желавших спасти монархию, и добиться провозглашения республики. Мы присутствовали при торжественных церемониях отправления на фронт частей Петроградского гарнизона, причём солдаты в строю, держа папиросы в зубах, рассеянно выслушивали напутствия членов Совета охранять революцию и готовиться к выборам в Учредительное Собрание. На улицах Петрограда и в стенах Таврического Дворца мы были свидетелями бесчисленных демонстраций, процессий и митингов, которые все протекали по одному шаблону, с краткими речами, выкриками лозунгов и одним куплетом Марсельезы, исполняемым военным оркестром. Несмотря на

все признаки « революционного энтузиазма », которые старательно показывали наружно, ни внутреннего огня, ни веры, ни решимости, направленной к определённой цели, за всем этим не чувствовалось. Все эти « революционные » выступления уже успели принять какой-то казённый, трафаретный характер, и я с недоумением спрашивал себя, какой смысл имеет для всех этих людей подобное времяпрепровождение, тогда как ведь каждый из участников его наверное имеет своё собственное дело, которое лежит без движения. Приходилось сознаться, что мы, русские, любим, когда жизнь выходит их колеи, как развлечение и разнообразие в скучных рабочих буднях, и не спешим вернуть её в эту колею. И потому в Петрограде каждый день находились люди, готовые продолжать празднование революции до бесконечности.

По улицам иной раз проходили толпы детей с красными флагами, пискливыми голосами выкрикивавших какие-то революционные лозунги. Один раз, в бывшем зале заседаний Государственной Думы, навсегда прекратившей своё существование, мне пришлось присутствовать на массовом митинге учащихся средней школы, гимназистов и гимназисток, которые развязно расселись в креслах депутатов, а какой-то толстый прапорщик, вероятно из учителей, с думской кафедры произнёс демагогическую речь о революции, в заключение которой « приветствовал свободных учеников и учениц новой свободной школы ».

Другой раз — и тот случай особенно запомнился мне — я был свидетелем митинга группы солдат, вырвавшихся из германского плена и пробравшихся через Швецию на родину. Хорошо одетые, в гражданском платье, с серьёзными лицами, в полном порядке они вошли в Таврический Дворец, и здесь их вожак — приземистый, сильный солдат — произнёс складную и прочувствованную речь, в которой призывал товарищей-солдат не поддаваться германской пропаганде и демагогическим призывам русских революционеров кончать войну и брататься с врагами, ибо каждый немецкий солдат есть « сам кайзер и сам Гинденбург » и вся немецкая пропаганда стремится лишь к тому, чтобы разложить русскую армию и поработить Россию.

Вдохновлённый этим выступлением, я попросил слова и произнёс речь на тему о необходимости войны до победного конца. Я не помню содержания этой моей речи, да и не в словах было дело. Но я излил в них накопившееся во мне чувство злобы и негодования при виде того, как крайние революционные элементы ведут свою демагогическую пропаганду в массах, стремясь внести в них хаос и анархию. У них это называлось « углублением революции ». Я говорил в каком-то исступлении и кончил призывом к продолжению войны до победного конца. Как видно, я говорил с большим подъёмом и чувством, судя по бурным овациям толпы, покрывшим её конец, а когда я спустился с трибуны, отовсюду ко мне протянулись руки, искавшие пожать мою.

Моё общее впечатление, вынесенное из этой первой встречи с революцией в самом её очаге, революционном Петрограде, показало мне, что революция не принесла стране никакого нового порядка, что, наоборот, она выливается в хаос и анархию. Правда, надежда на то, что под этой внешней суматохой и растерянностью должно скрываться какое-то творческое начало, исчезла во мне не сразу. Я запомнил ободряющие слова князя Львова о признаках нового складывающегося порядка, и мне хотелось верить им. И потому я ещё горячо оспаривал слова профессора Мануйлова, моего старого знакомого, ставшего теперь министром народного просвещения, которого я навестил на его министерской квартире в эти дни моего пребывания в Петрограде. Рассказывая мне о своих переживаниях, о разнуздавшихся ревнителях новой школы, о проводимых ими явочным порядком дезорганизующих реформах, о бессилии и жалкой роли Временного Правительства лицом к лицу с демагогией Совета, он с горечью заявил, что « Россия погибла ».

Принесённые моей миссией в Петроград впечатления и переживания, так сказать, нахлынули извне на те представления о России и её будущем, которые сложились во мне до войны и во время неё на основании всего того, что я знал о моей собственной стране. В свете моего нынешнего опыта, все мои тогдашние представления и ожидания кажутся мне полной слепотою и непростительным легкомыслием. Извинение им мож-

но найти разве лишь в том, что это ослепление было у меня общим не только с массой политических профанов, но с лицами, считавшими политику своим призванием. Достаточно напомнить не только слова, сказанные мне князем Львовым, но, что ещё гораздо важнее и симптоматичнее, всю деятельность Керенского, дерзнувшего стать во главе революции и настойчиво проводить идею войны до победного конца. Моя слепота и моё легкомыслие были фатальны, и можно ли было требовать политического предвидения от обывателя, от специалиста-учёного, занятого своим делом, каким был я? Мои тогдашние представления о России заключались в том, что я был твёрдо убеждён в незыблемости её общественного порядка, сложившегося веками. Революция 1905 года, казалось мне, разрешила социальный вопрос. Поверхностно судя о русской действительности, я не придавал никакого значения деятельности революционных партий, ни программы, ни целей которых я толком не знал. Россия в годы перед войной представлялась мне охваченной мощным экономическим прогрессом, и в этом я не ошибался : достаточно познакомиться со статистическими данными или с тем, что говорит о состоянии России такой знаток, как министр финансов Коковцов в своих мемуарах. Во мне говорила также вера в могущественное действие конституционного начала, которое как-никак в лице Государственной Думы начало постепенно входить в русскую жизнь. Это действие, казалось, так или иначе должно обеспечить для России правильное общественное и политическое развитие. В годы перед войною революционное движение пошло на убыль. Свобода печати, деятельность прогрессивных партий, законодательная работа Государственной Думы, несмотря на все препятствия, в конце концов, казалось, принесут стране дальнейшие необходимые реформы; вместе с ростом народного образования и благосостояния крестьянства, признаки которого были несомненны, поднимется его культурный уровень. Словом, Россия твёрдо стоит на пути прогресса, и единственным препятствием ему, препятствием временным, остаётся досадный анахронизм : влияние косной, реакционной бюрократии и так называемой придворной камарильи.

Но что значит это обречённое наследие прошлого сравнительно с бьющими ключом силами прогресса? Повторяю, такие настроения и предвидения относительно будущего России были не одним моим уделом. Лица, которые смотрели на русскую действительность иначе, насчитывались едва ли десятками. В силы порядка верили даже сами крайние революционеры, которые даже в начале революции не были твёрдо убеждены в собственных шансах. Недаром Ленин, перед своим приездом в уже охваченный революцией Петроград, опасался, что он будет арестован Временным Правительством. К сожалению, я не могу точно привести в высшей степени важный исторический документ, а именно письмо Ленина в редакцию Энциклопедии Граната, в которой он сотрудничал, письмо, датированное началом 1916 года, из содержания которого явствует, что Ленин совсем не предполагал возможности революции в близком будущем. Об этом письме говорил мне один из членов редакции, имени которого я здесь, конечно, назвать не могу.

В моей скромной роли младшего артиллерийского офицера я пережил все испытания войны и все её разочарования и всё же до самого наступления анархии в тылу и в армии я был твёрдо уверен в конечной победе России в рядах её западных союзников. Самым горьким моментом разочарования было всеобщее отступление русской армии в первой половине 1915 года, вызванное технической дезорганизацией и недостатком оружия и боевых припасов. Однако, начавшееся в тылу общественное движение, могучая помощь, оказанная деятельностью Земского и Городского Союза и мобилизацией промышленности, восстановили надежды. К 1917 году армия казалась окрепшей и восстановившей свою боеспособность. Весною этого года мы стояли накануне общего наступления, которое, как ожидалось, нанесёт смертельный удар врагу. В армии ходили слухи о « тёмных силах », собиравшихся сорвать войну. Однако ходили также слухи о готовящемся перевороте, который представляли себе скорее всего как дворцовый. Впрочем, уже с самого начала наших общих неудач весною 1915 года, в тесном кругу офицеров нашей части, мы много толковали о вопиющих недостатках

нашего высшего командования, причём, не стесняясь, высказывали взгляд, что необходима революция, которая освободит связанные бюрократической и придворной реакцией народные силы и выдвинет на командные посты достойных людей как в тылу, так и, в особенности, на фронте. При этом замечательно, что в течение всей войны, в самые, казалось бы, безнадёжные моменты позиционной скуки и утомления, мы не замечали никаких следов наступающего развала армии. Напротив, её бодрый дух представлял решительный контраст с тем унынием и смутой, которые, по-видимому, господствовали в тылу; этими впечатлениями от тыла были полны рассказы офицеров, возвращавшихся на фронт из отпуска или командировок. И действительно, события первых же недель после переворота в Петрограде показали, что разложение армии пришло из тыла, и что решающим фактором событий является не масса, а настойчивая и смелая, направляемая определённой идеей и целью пропаганда, хотя и небольших, но сплочённых крепкой организацией групп.

Это последнее явление бросилось мне в глаза уже во время моей поездки с делегацией в Петроград, но я осознал его вполне лишь много, очень много времени спустя. Среди шума и движения революционной суеты я явственно увидел присутствие этих групп и признаки их деятельности, лишь одной стороной своей обращённой наружу, но в главном тщательно скрываемой от посторонних взоров. В Совет Рабочих и Солдатских Депутатов, куда мы явились для беседы и выражения приветствия от нашей части, нас не допустили : лишь, стоя в прихожей, через открывавшуюся по временам дверь мы могли заглянуть внутрь « святая святых » Центрального Комитета, где люди были, очевидно, заняты какими-то важными делами.

В кулуарах Таврического Дворца по разным углам я увидел столы с разложенной на них свежей « революционной литературой » на разных языках « угнетённых национальностей », а возле столов группы солдат этих же национальностей, оживлённо разговаривавших между собою на своих языках. Особенно бросился мне в глаза рослый солдат-украинец в кавалергардской форме, озиравшийся вокруг весело и

гордо. В моих глазах он явился как бы символом малороссийского сепаратизма, дождавшегося наконец своего момента и смело поднимавшего голову в наступавшем хаосе революции. И вместе с ним поднимали голову представители других национальных меньшинств — Польши, Кавказа, Финляндии и сколько их ещё было в императорской России. Среди хаоса и неразберихи революции только в Совете Депутатов, да в этих группах чувствовалось что-то определённое, направленное к ясной цели, и в то же время что-то вызывающее. Подобное же впечатление я вынес в моём пути. В Минске на пересадке я явился в комитет местного совета за нужными мне справками. Там тоже сидели люди революционного типа, спокойные, уверенные и деловитые; в самом их обращении с приходящими, в особенности с офицерами, чувствовалась какая-то чуждость; какая-то грань, отделяющая от толпы непосвященных этих « товарищей », что-то знающих, что-то делающих, что-то таящих про себя. Всё это были люди либо совсем молодые, либо же только-только достигшие зрелости, по культуре — люди полуинтеллигентные, мелкая сошка — вольноопределяющиеся и солдаты, военные чиновники и офицеры младших чинов. Их авторитетная и уверенная манера, их бодрый, а иногда и окрылённый вид так резко контрастировали с унылым, безразличным, словно в воду опущенным видом большинства офицеров, которые повсюду, в вагонах, на станциях, в учреждениях держались молча или же тихо перешёптывались между собою. О генералах и говорить нечего: те просто стушевались и, видимо, думали только о том, как бы забиться в какой-нибудь незаметный угол. Солдатская же масса походила либо на потерявшее пастуха и бродившее без толку и цели стадо, либо на слепую лавину, катившуюся прямо вперёд, грозя всё смести перед собой.

Перебирая теперь в моей памяти отдельные моменты и образы тогдашнего времени, я вижу в них выражение тех общественных сил, из взаимодействия которых — активного или пассивного, сознательного или бессознательного — стала складываться та совокупность явлений, которая на обиходном и весьма неточном языке покрывается общим термином « револю-

ция». Князь Львов и Родзянко вместе с общественными деятелями и министрами, вместе с несколькими бледными и недоуменными, либо же неопределённо радостными фигурами интеллигентов, обойдённых мною в предшествующем моём рассказе, представляли ту общественную силу, на которой тогда, после снятия прежней бюрократической и придворной верхушки, казалось бы, должен был начать создаваться новый, свободный гражданский порядок в тылу; в одном ряду с ними генералы и офицерство, не только кадровое, но и вобравшее в себя массу представителей буржуазии и интеллигенции, должны были бы быть носителями нового военного порядка на фронте. Обе эти группы, только внешне разделённые войною, были однородны; они представляли верхи и центр русского общества, в них сосредоточивалась культура, образованность, административный и технический опыт, национальное сознание и идейное руководство страны, к ним, естественно, должно было бы перейти теперь после исчезновения традиционного государственного аппарата ответственное руководство новым строительством жизни. Эта сила, казалось, должна была бы стать тем центром, к которому могли бы потянуться со всех концов страны разбросанные элементы, ищущие объединения и опоры для создания живой и жизненной организации, устанавливающей новый, свободный, справедливый и разумный порядок на местах. Собственно говоря, в бессознательной потребности этого порядка и в поисках такого организующего центра происходили в первые недели революции бесчисленные собрания и митинги в тылу и на фронте и посылались делегации в Петроград. Но никакой творческой политической инициативы эта сила не проявила, она осталась парализованной и пассивной, растерянной и разобщённой. Одни неопределённо как будто радовались происшедшему перевороту, ещё надеясь на какие-то «силы порядка» в происходящем хаосе, как будто такие силы могут выявиться и что-то сделать сами собой; либо же они со смущением в душе ещё пытались тешить себя этой надеждой. Такой фигурой, олицетворявшей собою неопределённый интеллигентский оптимизм, стоит в моём воображении князь

Львов с его благодушными, но ничего не означающими словами, обращёнными к нашей делегации. Характерно, что ни этот глава правительства, ни двое его товарищей-министров, которых я повидал тогда же частным порядком, не расспросили меня о положении на фронте, не указали мне никакого дела в целях организации порядка, не подсказали мне даже идеи такой организации. Всё, чем они питались, были неопределённые надежды на то, что всё образуется как-то само собой, а заняты они были только разговорами и вопросами « высшей политики ». Такова была та часть « общества », которая ещё радовалась революции. Другую его часть составляли люди, уже сразу махнувшие рукою на всё и решившие заранее, что « Россия погибла », как сказал мне Мануйлов, ответственный министр, через голову которого ревнители новой школы уже начали опрокидывать её вверх дном. И как бы воплощением этой группы стоит в моей памяти грузная фигура Родзянко, как он с скучающим видом выслушивал моё поздравительное приветствие от нашей части, уставив перед собой рассеянный и утомлённый взор. Да, эта сила, вышедшая из старого порядка, по праву призванная строить новый, оказалась пассивной, и в сущности, вся роль, которую она сыграла в событиях, свелась к тому, чтобы на некоторое время послужить инертным препятствием для стремлений « углубителей » революции.

А эти углубители революции? О, у них цель была поставлена ясно, и поставлена она была давно.

ПОЧЕМУ Я УКЛОНИЛСЯ ОТ УЧАСТИЯ В ПОЛИТИКЕ

До второй мировой войны я двадцать четыре года прожил под советской властью и потому могу считать себя участником революции, хотя лишь с таким же правом, с каким несомая ветром песчинка может быть признана участницей в образовании дюны. На вопрос, что я делал во время революции, самым правильным ответом был бы, пожалуй, ответ, некогда данный Сийесом : « жил ». Это значит, что моё отношение к революции было пассивно, подобно тому отношению большинства русских людей, о котором говорено мною выше. И оказалось оно таковым по целому ряду условий, внешних и внутренних. Если бы даже я всецело сочувствовал революции с самого начала, я не мог бы принять участия в ней даже на ролях послушного исполнителя директив её вождей, ибо люди моего культурного типа, моей психологии, моих нравственных и политических установок, моего исторического миросозерцания были на такие роли непригодны.

Мои политические установки? Принадлежа по рождению и воспитанию к русской интеллигенции, выросши в семье, отец которой когда-то пострадал от царского режима, подвергшись почти двухлетней административной ссылке единственно за свои либеральные мнения, я ненавидел русский царский режим и, особенно в ранней юности, с энтузиазмом относился ко всему « революционному », что всегда в истории человечества казалось мне синонимом свободы и источником всякой жизни и творчества. Индивидуальная психология в своей сложной структуре подобна геологическим напластованиям. Мои зрелые полити-

ческие установки и исторические взгляды сложились впоследствии в связи с жизненным опытом и изучением истории, и тем не менее, вопреки им, я чувствую, что в моей душе, подобно остаткам древнейших геологических пластов, ещё говорят симпатии и антипатии, воспринятые мною бессознательно в отрочестве в революционной атмосфере отцовской семьи и её друзей. И потому, несмотря на выработавшийся во мне впоследствии скорее консервативный образ мыслей, я всё же не чувствую того подсознательного, инстинктивного сожаления о старом режиме, унесённом революцией, и той инстинктивной ненависти к этой революции, которые свойственны многим русским, особенно эмигрантам, выросшим и воспитавшимся в атмосфере лояльности к царскому режиму и отрицательного отношения к русскому революционному движению. Как ни ошибочны кажутся мне теперь чувства и суждения моей ранней юности в области истории и политики, я всё же благодарен им, ибо они дали мне необходимую для историка широту взгляда и способность понимать также и психологию противников, ибо она была когда-то моей собственной психологией.

Политические взгляды и установки моего зрелого возраста определились моими историческими занятиями, начиная со студенческой скамьи, и конечный результат этих последних выразился в особенности в том, что я глубоко осознал огромную роль, присущую в истории моменту стабильности и косности, оценил значение « статики » истории преимущественно перед её « динамикой », которая так пленяла меня в ранней юности, вызывая во мне энтузиазм к революциям, войнам, драматизму и героизму в истории. Таким образом моя профессия историка повлияла на мои политические взгляды в консервативном смысле. Момент революции в истории стал казаться мне гораздо менее действенным и значительным, а так как революцией par excellence в глазах каждого являлась великая французская, то оценка этой последней, сложившаяся во мне под влиянием взглядов Жозефа де Местра, Токвиля и Тэна, стала общим мерилом для отношения моего к моменту революции, как историческому фактору вообще. Закон развития человеческих обществ есть

эволюция; при всех своих крайностях, революции бессильны изменить её ход и, в конечном счете, несмотря на кажущееся противоречие ему, толкают развитие в однажды принятом им направлении. Таким образом, в политических моих взглядах я мог назвать себя консервативным прогрессистом.

Но одно дело исторические взгляды и установки в отношении к историческому прошлому, другое дело эмоциональные переживания при соприкосновении с окружающей действительностью. Я мог легко и просто объяснять и оправдывать историей многое в реальной действительности царского режима, переносить эту действительность было тяжело. Я был патриотом, любил свою родину, её старину, её культуру, гордился славными страницами её военного прошлого, любил русский быт, простой народ, питал надежды на его великое будущее и в то же время, вместе со всеми интеллигентными и культурными русскими людьми, воспитавшимися в духе западничества и преклонения перед европейской культурой, я глубоко страдал от вопиющих недостатков и пороков и русского быта и, в особенности, русской общественной и политической жизни. В этом случае мои непосредственные переживания стояли в противоречии с моими историческими воззрениями. Вопреки той общей связи и взаимной обусловленности, которую я усматривал в исторической эволюции и которая отводила в ней собственно политическим явлениям очень скромное место, я приписывал недостатки окружающей меня действительности почти всецело русскому политическому строю и коренное изменение последнего считал непременным условием для преодоления всех язв русской жизни и дальнейшего её расцвета, в наступлении которого я был глубоко убеждён. Тем не менее я не был революционером. Для меня было совершенно ясно, что русская правительственная реакция, столь губительная и отвратительная, была в огромной степени вызвана крайностями подпольного революционного движения. Между двумя полюсами русской политической жизни — реакционностью бюрократии и максимализмом революционеров — положение всех умеренных культурных элементов русской интеллигенции было по-

истине трагическим и, в частности, мне было очень трудно придерживаться определённого отношения к двум этим крайним полюсам. Несмотря на всю умеренность моих теоретических взглядов, я не мог не сочувствовать проявлениям революции вплоть до таких актов террора, как убийства Сипягина[1]), Боголепова[2]), Бобрикова[3]), Плеве[4]). Ибо перед лицом полицейского режима, с его насилиями и бесправием, брало отчаяние и террор оправдывался как, правда, печальное, но неизбежное средство борьбы. Как бы то ни было, даже и не оправдывая террора как нормальное и постоянное средство политической борьбы, я вместе с большинством прогрессивной интеллигенции видел в революционерах и террористах подлинных героев.

Почему же, однако, сам я не только не сделался революционером, но и воздерживался от политической деятельности? Более того. Уже после революции 1905 года, когда в России установилось какое-то, правда, довольно жалкое подобие конституционного режима, я ни разу не воспользовался своим правом голосования на выборах в Государственную Думу. Я таким образом оказался в категории «диких», политически индифферентных людей, пассивность которых так горячо осуждается призванными политиками, как одна из причин общественных и политических бед нашего времени. Эти политики правы в известной мере, но не полностью. Вопрос, в сущности, заключается в том, обязан ли каждый гражданин государства быть активным участником политики, иметь определённые политические убеждения, принадлежать к политической партии, подчиняясь её дисциплине и действуя вполне в её духе? Часто вопрос этот решают в положительном смысле, не вдумываясь в него глубоко, и лишь на том основании, что, согласно господствующей ныне политической моде, настоящим, подлинным направителем жизни народа и государства считают совокуп-

---

1) Министр внутренних дел, убит в 1902 г.

2) Министр народного просвещения, смертельно ранен в 1901 г.

3) Финляндский генерал-губернатор, убит в 1904 г.

4) Министр внутренних дел, убит в 1904 г.

ную волю этого народа. Наше время есть век так называемой « демократии », а это значит, что источником власти является народ в своей совокупности и что, следовательно, задача управления сводится к согласованию его с всеобщей волей, выражаемой посредством голосования. Практически, однако, так как весь народ не может быть согласен в своих мнениях и желаниях, то решающим признаётся мнение и желание большинства. Следовательно, всё дело сводится к тому, чтобы выявить это подлинное большинство, а для этого необходимо, чтобы голосовали все и чтобы никто не уклонялся от выполнения своего гражданского долга. Ибо уклонение это фальсифицирует результаты голосования, нередко отдавая большинство более активным, крепким партиям. Тот аргумент индифферентистов, что политика, де, является грязным делом, что большинство политических вождей являются беспринципными карьеристами, всего меньше думающими об общем благе, парируется обычно указанием на то, что такое печальное явление укоренилось в политической жизни как раз благодаря уклонению от политики многих, считающих себя порядочными людьми. Всё это, может быть, и верно, однако никакие доводы не могут выкинуть из жизни естественные факты, а именно целую совокупность условий, определяющих поведение людей. Ибо именно они, эти условия, разнообразные и разнородные, решают дело, а вовсе не отвлечённое рассуждение, как бы ни казалось оно логичным и неотразимым. Ибо люди повинуются своей натуре, а не логическим рассуждениям, даже и тогда, когда они согласны признать примат всеобщей пользы.

От политики, в собственном смысле, я всегда уклонялся, во-первых, следуя своему внутреннему призванию быть скорее наблюдателем и созерцателем, нежели практическим деятелем, и во-вторых, убедившись на опыте, что в первой роли я могу быть более полезен моим ближним, нежели во второй. Если я уклонялся от политики, то это было не в силу эгоизма и индифферентизма, желания сохранить своё спокойствие и безопасность и предоставить другим устраивать жизнь для меня. Когда сама жизнь сталкива-

ла меня с необходимостью принять участие в политике, я не уклонялся от неё и выполнял свой « гражданский долг ». В моей личной жизни было два таких момента, когда мне пришлось поневоле принять участие в ней, и оба раза опыт мой вышел отрицательным.

В первый раз это было на последних курсах университета в 1901-1902 годах, когда в нараставшей общей революционной атмосфере происходило сильное студенческое движение. Волей-неволей приходилось реагировать на него уже в силу того, что оно отзывалось на научных занятиях. Я стал в ряды так называемого « академического » движения, целью которого было добиться от правительства академической свободы и некоторой автономии университетской жизни. Умеренное по своим целям, в условиях царского режима того времени оно всё же считалось нелегальным, и потому преступным, а совершаясь рядом с общим подпольным революционным движением, стремившимся превратить студенчество в своё орудие, оно оказалось между двух огней : между правительством с одной стороны, и подпольными революционными партиями с другой. Группе студентов « академистов », к которой я принадлежал, приходилось тайно собираться по частным квартирам, обсуждать вопросы нашей программы и тактики, нелегально печатать наши бюллетени и прокламации, выступать на сходках и вести борьбу на два фронта : против правительства и против революционеров. Моё решение участвовать в движении я принял, повинуясь сознанию моего гражданского долга, не взирая на связанную с ним опасность подвергнуться репрессиям, каковая опасность в то время заставляла многих студентов держаться в стороне. Я не могу сказать, чтобы сознание этой опасности оставляло меня совершенно хладнокровным, но у меня оказалось достаточно мужества, чтобы преодолеть его также и в тот момент, когда надо было идти на общую студенческую сходку, созванную нашими противниками « политиками » с целью провозгласить на ней революционные требования и, значит, сделать её событием революционным. С риском попасть в тюрьму и ссылку я выполнил свой долг и, вместе с группой моих единомышленников, сделал попытку прове-

сти на сходке «академические» лозунги вместо общих политических, предложенных её организаторами-революционерами. Попытка наша провалилась, но случай спас меня от репрессий, и я отделался лишь несколькими часами пребывания в тюрьме. Однако, весь мой опыт участия в студенческом движении только отвратил меня от политики, показав мне, во-первых, что эта деятельность не по мне. Мне была не только тягостна атмосфера конспирации, но и приёмы моих противников революционеров были мне в особенности противны; а были среди них лица, игравшие впоследствии роль в русской революции в рядах социал-демократической партии. Тогда я воочию убедился, что главным приёмом их политической агитации была беззастенчивая ложь и что тактика их основана на принципе, что цель оправдывает средства. Такой принцип был мне попросту отвратителен.

Второй раз это было в начале 1917 года, когда я принял участие в деятельности солдатских комитетов. Само собою разумеется, что перед людьми моего типа, запасными офицерами, обладавшими образованием, умением говорить и более или менее разбиравшимися в революционной обстановке, открывались теперь, сравнительно с кадровым офицерством, возможности настоящей карьеры путём участия в политике. Что касается меня, то моя деятельность в солдатском комитете и поездка в Петроград были первым шагом в такой карьере, если бы только я пожелал её. По возвращении из Петрограда, я узнал, что солдаты нашей бригады единодушно прочат меня в председатели бригадного комитета. Отсюда же открывалась дорога на более высокие выборные посты в корпусе и в армии. Я сознательно уклонился от этой деятельности и по совершенно определённым и ясным мотивам. Я не могу сказать, чтобы я был теоретически лишён политического самолюбия. Перспектива иметь в своих руках влияние на массы и власть устраивать общественный порядок в целях общего блага во славу родины, во имя осуществления собственных человеческих и культурных идеалов была соблазнительна и для меня, в особенности поскольку я был историком и в историческом процессе прошлого наблюдал и изучал борьбу

таких идеалов и одушевлённых ими индивидуальных воль. Но в жизни, очевидно, решающими являются не отвлечённые, теоретические склонности, а непосредственная любовь к практической стороне дела, понимаемого, как конкретное ремесло. В политике, чтобы заниматься ею, надо любить всю её конкретную кухню — толпу людей, шумные собрания, выступления, словесную борьбу, её военные хитрости, партийные интриги, и прочее и прочее. А как раз вся её обстановка и атмосфера, да ещё в условиях революции и при характере « русской общественности », не только не привлекали меня к себе, но прямо и положительно отталкивали. Я не любил и не люблю толпы, ни в собраниях, ни на балах, ни в театре. В тогдашних условиях препятствием для меня служило также инстинктивное сознание, что я с моими умеренными взглядами, с требованиями порядка и дисциплины, подчинения своих личных интересов благу целого, с моими скорее консервативными политическими убеждениями, с моим отсутствием технического опыта политической деятельности едва ли смогу оказаться сколько-нибудь равносильным противником той демагогической пропаганды крайних революционеров, которые, как это уже было ясно, стремились играть на анархических инстинктах, невежестве и эгоизме солдатской и народной массы. При наличии этих крайних элементов с их демагогией я не мог рассчитывать на продолжительную популярность среди выдвигавших меня солдат : « Сегодня выбирают и одобряют, а завтра выкинут вон, да ещё и сломают шею ». Я понял, что при всех данных русских условиях, в политике мне не место, и я сознательно отказался от неё. Моя судьба в этом отношении определилась не личным моим выбором, но всей совокупностью событий, ибо все люди моего типа, пожелавшие остаться верными своим убеждениям и своей натуре, либо оказались выброшенными из политики, либо потерпели в ней фиаско.

Говорил во мне также и мой личный эгоизм : война переживалась, как тусклые будни, и было жаль себя, что так бесцельно приходится тратить своё время, оторванное от научной работы, которой посвящал я

свои силы непосредственно перед войной и в которой ожидал первых значительных и плодотворных результатов. При этом я думал о семье, общения с которой так долго был лишён, о свободе от надоевшей военной обстановки и ежедневных служебных функций, о дорогой сердцу подмосковной природе, окружавшей мою дачу, где лето проводила моя семья, о Москве с её родными, друзьями и знакомыми, с её культурной привычной жизнью, о возможности вновь обратиться к книгам и прерванной научной работе. Вот что влекло меня к себе, а вовсе не политическая деятельность на фронте, в которой при всех данных условиях я не видел проку и не считал лично себя способным принести какую-либо пользу. Повторяю, я скорее боялся солдатской, как и вообще народной массы. Я чувствовал основной анархизм её психологии, видел слабость элементов порядка и права даже в рядах русской интеллигенции. То, что я отказывался тогда от непосредственного участия в политической деятельности, вовсе не значило, что я отворачивался от политики, терял интерес к революции. Совсем напротив, я с живейшим интересом относился к событиям, как их наблюдатель, стремящийся понять их сущность и смысл, угадать их направление. Я сопоставлял чисто революционные явления с теми явлениями русской общественной и культурной жизни, среди которых вырос, невольно сравнивая всю эту российскую действительность с состоянием и психикой общества на Западе, особенно во Франции. Сопоставляя известные мне факты русской истории, мой личный жизненный опыт в России и на Западе и мои наблюдения во время революции, я приходил к довольно неутешительным выводам касательно настоящего и будущего России.

Однако эти выводы складывались во мне постепенно, по мере того как развёртывались события революции. После моего возвращения из Петрограда мои впечатления, вынесенные из поездки, были неопределённы, но всё же я старался прогонять закрадывавшиеся в душу сомнения и оставаться оптимистом, цепляясь за положительные соображения скорее логического, нежели фактического порядка. Я опирался так-

же на ту схему будущего развития России, которая питала мой оптимизм в годы, предшествующие войне, и которая была основана на несомненных явлениях культурного и экономического подъёма России. Должен сознаться также, что приняв решение уклоняться от политики на фронте, я невольно сосредоточил все свои мысли на личных моих делах. А здесь на первом месте стояло страстное желание повидать свою семью, которую я видел последний раз лишь в течение нескольких дней поздней осенью 1916 года. События сложились так, что моё желание исполнилось. Как раз по возвращении моём из Петрограда пришел приказ о моём переводе в парковую бригаду. Об этом переводе я подал рапорт уже давно, и тотчас же после моего приезда в новую часть я получил « сибирский » отпуск на шесть недель — давно желанная награда за почти безотлучное моё пребывание на фронте в течение всей войны.

ПИСЬМО К СЕСТРЕ

Москва 1917 г. 30 мая.

Дорогая Виточка,

Пишу тебе, кажется, чуть не через два с половиной года после моего последнего письма. Часто за всё это время я порывался писать тебе, но не мог. Стоило либо сказать много, либо вовсе молчать, и цензура заставляла выбрать именно последнее. А теперь после такого перерыва, если подумать обо всём пережитом, даже страшно становится, и не знаешь с чего начать и даже на чём остановиться для беседы.

Факты моей жизни такие : сначала я был в Горной Артиллерии в парке (то, что у вас называется Service de ravitaillement — подача снарядов на батарею). Был в Восточной Пруссии до 22 декабря 1914 года. Затем наш дивизион был переброшен в Галицию. Я прошёл походом от Брод (на границе) до Львова, где простоял неделю. Затем походом же в Карпаты, где мы воевали с января до 1-го мая 1915 года. Затем отступали на Стрый, где были яростные бои. Оттуда переброшены были к Рогатину (южнее, тоже в Галиции) и отступали на Бжеданы, а позднее, в августе, на реку Серет. 1-го сентября 1915 года я перешёл в батарею и участвовал в сентябрьских и октябрьских боях в районе Тарнополя. В начале ноября нас снова перебросили из Галиции уже в Бессарабию на запад от Хатина, к северу от Черновиц, и здесь я участвовал в боях в декабре 1915 и январе 1916 года. Бои велись за овладение Черновицами, но неудачно. Здесь мы стояли до июня и участвовали в наступлении Брусилова, начатом 22 мая на одном из важнейших участков. От-

сюда после прорыва двинулись снова в Галицию, которую я снова исколесил походом до Коломыя. В июне снова был переведён в парк. Походом же исходил Буковину и северную Румынию и наконец в ноябре 1916 года перевёлся в тяжелую артиллерию и пять месяцев, т. е. до сих пор, прослужил в дюймовой батарее, но уже на Минском фронте, где и застала меня революция. Два последних месяца много работал в комитетах офицерских и солдатских депутатов, ездил делегатом от бригады в Петроград и потрепал порядком нервы этой политической деятельностью. Теперь отдыхаю в отпуску. Сейчас с Зиной в Москве, а дети в Можайске; послезавтра отправлюсь туда.

Вот тебе моя хронология во время войны. Пережил я много интересного, захватывающего. Ранен не был, но не раз бывал в жутких положениях и познал цену жизни и радость спасения от опасности. Но и потерял я много времени для своей работы.

Переживаем мы необычайное время. Сразу не охватишь умом всего, что происходит, не определишь и словами. Как всегда бывало в истории, всё разрешится так, как никто не ожидал. Но одно мне ясно, это то, что в великом всеобщем пожаре сгорит всё изжитое, всё превратившееся в пустую форму без содержания, сгорит вся старая труха, которой так много было в нашей жизни общественной. А что новое вырастет? Никто не скажет наверное, но я лично думаю, что вырастет не социализм, а русский мужичок, загребистый буржуй с крепкими лапами, вырастет и заживёт на просторе. Будет он сначала грубый и неотёсанный, в сапогах и картузе, а лет через 50 станет похож на своего собрата немца или француза, и снаружи и внутри. Уж за войну порядочная часть крестьянства поправилась и раздобрела, а теперь и подавно они чувствуют себя господами положения.

[...] Когда то мы увидимся? Удастся-ли попасть ещё за границу? Да и что вообще будет к осени со всей Европой? Всё так неопределённо... Я возлагаю большие надежды на англичан и французов и потому считаю победу Германии невозможной.

ЛЕТО 1917 ГОДА

Итак, первую половину лета вплоть до июля месяца я провёл у себя на даче, на лоне природы, среди моей семьи, в прелестном уголке на берегу Москвы-реки, в совершенно идиллической мирной обстановке, которая нарушалась лишь вестями о новых симптомах « углубления » революции. Вспоминая теперь это время и мои тогдашние настроения и ожидания, я удивляюсь моему ослеплению. Правда, оно было у меня общим со всеми окружающими и у всех нас основывалось на давно сложившемся в нашем сознании убеждении, что существующий социальный порядок в общем незыблем, что революция лишь устранит те его язвы, которые нам всем, либерально и прогрессивно настроенным людям, казались единственным, но легко устранимым препятствием для достижения нового, свободного и справедливого порядка, который, в конце концов, даст возможность жить всем. Я часто беседовал на эти темы с моим соседями по даче, профессорами Огнёвым [1]) и Розановым [2]), и при этом удивительно, как недооценивали мы все, а также и приезжавшие к нам часто интеллигенты-либералы, факты пропаганды « левых » партий, начиная от эсеров и кончая большевиками. Я помню, как однажды на даче у профессора Огнёва я присутствовал при рассказе приехавшего из Петрограда профессора Новгородцева [3]), привёзшего свежие новости о развитии революционных событий, о полевении Советов, об

---

1) И. Ф. Огнёв — гистолог.

2) М. Н. Розанов — литературовед, академик с 1921 г.

3) П. И. Новгородцев — философ, выслан из России в 1922 г.

отставке Милюкова[1]) о появлении министров-социалистов в составе Временного Правительства. При этом поразительна была самоуверенность Новгородцева, его незыблемое убеждение в том, что « левые » не имеют почвы под ногами, что программа их нереальна и что рано или поздно жизнь оправдает кадетскую программу и поставит деятелей — кадетов во главе страны. Должен сказать, что самодовольная фигура Новгородцева была мне всегда мало симпатична, но его пренебрежение к « левым » в то время всецело разделял и я. Впрочем, эта полная недооценка левых элементов была в интеллигенции всеобщей. Уже много позднее, когда у власти прочно стояли большевики, мой брат-доктор рассказывал мне один эпизод первых месяцев революции в разгар интеллигентских надежд на близкое водворение в России свободного и правового порядка. То было время всяких докладов и лекций, которые читались специалистами-историками для мало искушённой в политике публики. Об одной из таких лекций моего товарища-историка, профессора Пичеты, и рассказывал мне мой брат. Лекция происходила в клинике, где брат мой был ассистентом, и предназначалась для врачей и служебного персонала. В самых оптимистических тонах лектор набросал перед слушателями вероятный ход революции, которая, де, приведёт к победоносному концу войны, вслед за чем начнётся небывалый экономический и культурный подъём России на основе нового порядка, свободы, права и справедливости. После лекции докладчику был поставлен вопрос, ну а как же смотреть на происходящую в Петрограде пропаганду Ленина, не грозит ли она перевернуть кверху дном весь социальный и экономический порядок России? В ответ на это весьма скромно выраженное сомнение насчёт розовых перспектив русского будущего Пичета лишь снисходительно улыбнулся и ответил: « Пропаганда Ленина? Поверьте мне, что через несколько месяцев от неё не останется и следа, а имя Ленина будет

---

[1]) П. Н. Милюков — председатель Ц. К. кадетской партии, министр иностранных дел во Временном Правительстве первого состава.

позабыто в истории России». Так говорил русский историк и профессор, через год выступивший на защите собственной докторской диссертации в аудитории Московского Университета, из окон которой совсем близко был виден Кремль, где в то время уже сидел в качестве фактического диктатора России этот самый Ленин.

Сообщаемые мною факты свидетельствуют лишь о том, что люди, в огромном большинстве, видят действительность так, как это им подсказывает их желание и личный интерес, а лица, искушённые в политике и знающие историю, судят о будущем на основании тех схем развития, которые они установили путём наблюдений над современностью и изучения прошлого, причём эта их работа наблюдения и изучения кажется им объективной. А между тем и она всецело подчинена их желанию видеть будущее именно таким, а не другим. Если бы это было иначе, как легко предупреждались бы революции и катастрофы! Этим же летом, несколько позднее, когда я уже работал в Штабе Московского Военного Округа, о чём я расскажу ниже, и когда деятельность крайних левых вырисовывалась для меня в более определённом и грозном виде, я встретил однажды Бахрушина — моего товарища-историка, — который ныне, после многих мытарств и испытаний, высоко вознесён в советской науке. Мы обменялись впечатлениями от политических событий, и признав факт несомненно угрожающего восстания большевиков, согласно пришли к заключению, что « через эту стадию необходимо пройти », причём эта « стадия » обоим нам представлялась кульминационным пунктом социального движения, вслед за чем должна наступить неизбежная и естественная реакция, которая вернёт Россию на надлежащий средний путь. Всё это наше оптимистическое « предвидение » опиралось на аналогию с двумя событиями социального движения во Франции : с июньским восстанием национальных мастерских 1848 года и Парижской Коммуной 1871 года.

Был ещё один важный момент, обусловливавший наш общий спокойный и уверенный взгляд на буду-

щее: это позиция, занятая по отношению к революции деревней и крестьянством.

Дача, в которой я жил вместе с моей семьёй этим летом, принадлежала мне с 1909 года; за исключением двух лет перед войной, семья моя проводила на ней летние каникулы беспрерывно и в отношениях наших со многими из местных крестьян успела образоваться известная традиционная связь взаимного доверия и услуг. На основании бесед с крестьянами и всего, что было мне известно насчёт их отношений с дачниками и особенно с местными помещиками, можно было бы утверждать, что революция за первые 4-5 месяцев не оказала решительно никакого действия на крестьянство, которое в своих настроениях и поведении оставалось в это первое « революционное » лето совершенно таким же, каким оно было в непосредственно предшествующие годы, т. е. поглощённым исключительно собственными хозяйственными интересами, ограниченным в своём умственном кругозоре главным образом местными делами и отношениями.

Во всероссийской деревне было много причин для недовольства и много объектов, возбуждавших аппетиты крестьян. Но для революционного действия, для актов насилия и захвата в самой деревне не было ни надлежащего « настроения », ни идей. Как ни слабо было развито правосознание в русском народе, в сознании крестьян имелось достаточно консерватизма и нравственных устоев, чтобы послужить препятствием для самовольного приведения в исполнение своих желаний, даже когда они имелись в сильной степени и казались обоснованными. Акты, которые теория революционного социализма окрещивает громкими терминами « национализации », « экспроприации », « социализации » и т. д., в сознании крестьянина принимают весьма непрезентабельный вид обыкновенного грабежа, и нужна настойчивая и длительная пропаганда и, в особенности, пример самой власти, чтобы заставить его привыкнуть к такого рода актам, как к чему-то нормальному. Революция в деревню пришла со стороны, я думаю, также и в тех губерниях, где крестьянин, в отличие от нашей местности, где он лишь наполовину питался от своего сельского хозяйства,

всецело сидел на земле и полностью зависел от неё в своём существовании, где, следовательно, помещичьи имения являлись для окружающих крестьян притягательным магнитом. Мне вскоре пришлось познакомиться с положением в таких губерниях; однако, я думаю, что и в них всё движение крестьян к захвату помещичьих земель было результатом главным образом агитации со стороны крайних левых элементов, как местных, так и, в особенности, являвшихся в деревню из городов и фабричных центров.

РАБОТА В ШТАБЕ МВО

В начале июля мой отпуск кончился, и я вернулся на фронт в свою часть. Там меня уже ожидало полученное несколькими днями раньше предложение Штаба Московского Военного Округа направить меня в Москву для работы в Политическом Отделе Штаба. Предложение это было для меня полной неожиданностью, но из приложенного к нему частного письма я понял, что всё это дело устроено моим бывшим начальником, с которым я служил в первый год войны на восточно-прусском, а затем на галицийском фронте. Во время моей командировки с делегацией в Петроград я случайно встретился с ним в трамвае. Когда-то — во время нашего долгого позиционного стояния в Карпатах — я целыми днями начинял его различными политическими и социальными « идеями ». Революция застала его на тыловой должности в Петрограде, и он втянулся в политику. Теперь он попал в Москву в Штаб Округа и решил перетянуть к себе и меня.

Сообщив мне о полученном им из Штаба МВО предложении, мой новый начальник дал мне полную свободу выбора — оставаться в его части или ехать в Москву. Я без всяких колебаний избрал последнее. От « политики » в армии теперь уйти всё равно было невозможно. За моё отсутствие разложение фронта сделало большие успехи, каждому офицеру в служебных отношениях с солдатами приходилось быть « политиком ». Правда, в моей новой части, благодаря такту её начальника и его популярности среди солдат, особенных осложнений или конфликтов ожидать не приходилось. Но кругом были другие части, были также высшие инстанции, где хозяйничали комитеты с

представителями « левых »; со стороны в армию всё сильнее проникала большевистская пропаганда. В Москве мне предстояла, правда, непосредственная « политическая » работа, но так как её местом должна была быть высшая центральная инстанция, я предвидел возможность выбора подходящего для себя занятия. В случае, если бы такового не оказалось, мой начальник обещал принять меня обратно. Важным моментом при решении явилось для меня то, что в Москве я буду близко от семьи, а осенью и вовсе воссоединюсь с ней на нашей городской квартире.

В Штабе Округа занятие для меня действительно нашлось, и самое подходящее, как бы для меня созданное. Политический Отдел или, сокращенно, Политотдел было учреждение новое, созданное революцией. Его задачей было, так сказать, задавать политический тон армейским частям округа, вести пропаганду в духе существующей революционной власти, предупреждать конфликты в частях и гарнизонах, наблюдать за их настроением и поведением, за дисциплиной и общим внутренним состоянием, принимая меры в интересах прежде всего поддержания боеспособности войск. Но поскольку войсковые части соприкасались с населением, которое пребывало в состоянии « революции », часто близком к анархии, то Политотделу Штаба приходилось вмешиваться и в гражданскую жизнь местностей, где стояли воинские части.

Политотдел находился в непосредственном подчинении Командующему Войсками МВО, которым тогда был полковник Верховский, вскоре произведённый Керенским в генералы. Верховский, хотя и был сыном генерала и питомцем Пажеского Корпуса, однако слыл эсером и якобы пострадал по службе за свои убеждения. Согласно тогдашней революционной логике, ссылка на эти факты давала основания ожидать доверия к Верховскому со стороны солдат. Ведь в то время всё настроение определялось страхом возможной контрреволюции со стороны каких-либо сил, которых точно не знали, но которые легко могли предполагать во всяком офицере : прошлое Верховского должно было служить гарантией в глазах солдат и громоотводом против враждебной к нему агитации со

стороны большевиков. Состоя в подчинении Верховскому, начальник Политотдела находился в то же время в постоянном контакте с Исполнительным Комитетом Московского Совета, который фактически являлся хозяином Москвы. Начальником Политотдела был В. Н. Шер, меньшевик и прапорщик запаса, всю войну проведший в тылу. Шестнадцать лет назад, когда мы оба были студентами Московского университета, он — юристом первого курса, а я — филологом четвёртого курса, мы вместе участвовали в студенческом движении и с симпатией относились друг к другу. Но вскоре по окончании студенческих беспорядков наши дороги разошлись : Шер ударился в политику, сделался марксистом и социал-демократом, а после 1903 года меньшевиком, принял участие в революции 1905 года, но, по-видимому, не пострадал, ибо война 1914 г. застала его на легальном положении и призвала его в армию, в качестве прапорщика запаса. После моего участия в студенческих беспорядках я совершенно отказался от политики, всецело отдался моим научным и культурным интересам, а к политикам по специальности, особенно ко всем этим меньшевикам, большевикам и эсерам чувствовал какое-то инстинктивное, так сказать « бытовое » отвращение в том смысле, что они мне были неприятны и чужды, как явление русской жизни, русокого быта и культуры. С Шером я изредка встречался, он мне был антипатичен своим высокомерием и самодовольством, мы никогда не пытались возобновить наше былое довольно близкое знакомство. Очевидно, по каким-то своим собственным внутренним мотивам он на мою антипатию отвечал со своей стороны такою же. Поэтому понятно, что перспектива иметь его своим начальником значительно омрачала то удовлетворение, которое должна была доставить мне моя новая служба и которое, как я принуждён сознаться, заключалось главным образом в личных и эгоистических радостях — быть наконец в Москве, а не на фронте, иметь совсем вблизи свою семью, общаться с родными и знакомыми, жить на собственной квартире совсем на мирном положении, иметь возможность читать, пользоваться библиотеками, словом, вновь приобщиться к столь привычной и

милой атмосфере культурной жизни, которой я был лишён в течение бесконечно затянувшейся войны. Впрочем, к счастью для меня, с Шером мне почти не пришлось иметь дела. В непосредственную работу Политотдела он не вмешивался совершенно, в его помещении бывал редко, а всё время, по-видимому, проводил на совещаниях в Совете Депутатов, в своей партии и в различных общественных организациях, где делалась « высшая » общегосударственная политика. Из делового опыта, приобретённого мною благодаря деятельности в Политотделе, я вынес убеждение, подтверждённое и позднейшим поучением, которое принесла мне жизнь, убеждение в том, что современные политики в своих действиях всего менее считаются с реальными фактами, которые они даже не стремятся, а иногда просто-таки ленятся или боятся узнавать. Быть может, в этом лежит главная причина их частых провалов и нынешнее всеобщее неустройство жизни. В данном случае, я имею в виду отношение нашего начальства, как Шера, так и самого Верховского, в командовании которого именно « политика » играла первенствующую роль, к конкретной работе нашего отдела. Повидимому им было не до того и просто некогда, ибо они были всецело заняты борьбою за власть, которая развёртывалась между высшими её инстанциями, каковы Временное Правительство и Совет, а также различными лицами и партиями внутри этих инстанций. При этом, по издавна установленному ходу мыслей, все эти слагаемые ежедневных политических конъюнктур и комбинаций они принимали за реальности, за настоящие факторы революционного процесса, тогда как они представляли собою лишь программы, принципы и потенции, настоящим же фактором оставались люди и положение дел на местах по всему пространству страны. Там, где делалась « высшая » политика, произносились речи в защиту отвлечённых программ, источником которых являлись общие идеи и идеалы. В бесчисленных заседаниях и собраниях спорили о том, что нужно России, какой порядок, на основании концепций её прошлого и высоких отвлечённых принципов политики и морали. Говорили много, но не смотрели в бушующее житей-

ское море, не спрашивали себя, эти ли принципы и программы применимы для устроения и приведения в какой-то порядок разбушевавшейся жизни, или что-то другое, и что же именно? О таком образе действий, который единственно мог бы быть назван практическим и целесообразным, даже и не думали, не думали даже и в первой его стадии, т. е. стадии ознакомления с фактическим положением жизни на местах. И это я могу доказать личным опытом моей службы в Политотделе.

Моя функция заключалась в составлении ежедневного бюллетеня о состоянии воинских частей во всех гарнизонах МВО и об общем положении дел как в этих гарнизонах, так и в уездах, где они находились. Материалом для этих бюллетеней должны были служить ежедневные телеграфные донесения начальников гарнизонов округа, которые были обязательны и большею частью составлялись по трафарету, особенно когда никаких особенных происшествий не случалось. Но в Политотдел поступали также и экстренные донесения от командиров отдельных частей, расположенных в Округе, равно как и запросы указаний насчёт образа действий в случаях каких-либо конфликтов и вообще осложнений. Присылались также телеграммы и письма от частных лиц, особенно в конце июля и начале августа, когда в некоторых уездах началось « аграрное движение » т. е. пожары и разграбления помещичьих усадеб. Тогда телеграммы с мольбами о помощи, подписанные разными никому не ведомыми Маниловыми и Коробочками, буквально полетели в наш Отдел. Более серьёзными и основательными источниками для составления бюллетеней служили мне мои личные беседы, во-первых, с офицерами, являвшимися в Штаб Округа из гарнизонов и воинских частей, иногда со специальной целью осведомления Штаба о положении дел на местах, а во-вторых, с так называемыми офицерами для поручений при нашем же Политотделе, которые командировались на места в экстренных случаях, когда для разрешения конфликтов между солдатами и начальством или успокоения волнений и даже усмирения бунтов требовалось присутствие представителей Командования

Округом. Эти поручения бывали часто щекотливы, а иногда и опасны, когда офицеру приходилось иметь дело с толпой солдат, раздражённой бестактными действиями кого-либо из старых офицеров, не понимавших изменившейся обстановки и не желавших расстаться с прежней своей бесконтрольной властью. Среди обеих этих категорий офицеров, как являвшихся к нам с мест, так и собственных наших офицеров, командировавшихся Политотделом на места, было немало толковых людей, умевших осветить положение, и таким образом из моих бюллетеней, которых мне за мою службу в Политотделе вплоть до Октябрьской революции удалось составить сто номеров, получилась богатая фактами хроника внутренней жизни Округа, которая даёт картину постепенного нарастания анархии как в запасных войсках, так и в гражданском населении на обширном пространстве Московского Военного Округа. Территория же его представляла длинную полосу, тянувшуюся от Ярославля на севере, захватывая центральные чернозёмные губернии, и до Таганрога на юге.

В Политотдел я являлся ежедневно к девяти часам утра, и к концу дня т. е. к пяти или шести часам пополудни, иногда позже, я должен был уже составить мой бюллетень, который затем переписывался писарями на машинке в 12 экземплярах и рассылался разным лицам и учреждениям, которым надлежало знать о положении дел в Округе. То был, во-первых, начальник Политотдела, затем Командующий Войсками Округа и некоторые из его высших чинов, далее Председатель Московского Совета Депутатов, Городской Голова и ещё какие-то инстанции, в точности теперь не помню. Но один экземпляр посылался, кажется, и Временному Правительству. Насколько я знаю, бюллетеней этих никто не читал и не черпал из них осведомления о фактах жизни. Таково было общее мнение офицеров у нас в Отделе. Я знаю наверное, что экземпляр, поступавший каждое утро на письменный стол в кабинете Начальника Политотдела В. Н. Шера, оставался обычно неразвёрнутым. Шер обыкновенно ненадолго появлялся в этом кабинете, большею частью к концу дня, и иногда из-за запертой двери доно-

сились звуки голосов — нескончаемые разговоры на политическую злобу дня между несколькими особо посвящёнными лицами, которые иногда показывались из кабинета, как и сам Шер, с большею частью озабоченными физиономиями и с видом знающих какие-то тайны и скрывающих их про себя жрецов.

Странная вообще и бестолковая была эта жизнь и деятельность в Политотделе. Нас, постоянно сидевших в Политотделе офицеров, было человек пять. Мы занимали огромный высокий квадратный зал, полукруглые окна которого выходили на Пречистенку и на Всеволожский переулок. Когда я поступил в Отдел, я застал стены нашего зала ещё увешанными портретами Императоров, начиная с Николая I и кончая Николаем II. Портреты были во весь рост, писаны масляными красками, в тяжёлых золотых рамах некоторые очень эффектные, например Николай I — в белых лосинах и треуголке с перьями на фоне облачного неба. Я помню, мне было приятно сидеть под этими портретами, которые напоминали о былом величии императорской России, и мне было жаль его теперь, когда оно рухнуло. Через несколько дней портреты было велено убрать, их вынесли вон, куда-то на чердак, и теперь вместо ярких красок мундиров и золота рам на нас глядели голые, скучные стены. Впрочем, вскоре на одной из них появился небольшой фотографический портрет Керенского, мизерный сам и в мизерной деревянной рамке. Я мог признать логичность удаления из залы царских портретов, символов ненавистного самодержавия. Но с водворением на их место изображения нового властителя я никак не мог согласиться. Печально было, что люди, только что освобождённые революцией, делали это добровольно, без всякого принуждения сверху. Очевидно, кому-то из начальников, быть может самому Верховскому, надо было угодить главе Временного Правительства. Это вывешивание портретов новых властителей, начиная с Керенского, знаменует собою начало « культа вождей », который после Октябрьской революции постепенно дошёл до современного чудовищного раболепия перед « отцом народов ».

Я садился обычно за свой стол и начинал работу

с просмотра телеграмм и сообщений, полученных за ночь. Я делал отметки и сразу принимался набрасывать приблизительный план бюллетеня, который затем часто видоизменялся в течение дня в связи с поступлением новых сведений и моими беседами с являвшимися в Отдел офицерами. Но работа моя постоянно прерывалась обменом замечаний с моими товарищами или общим разговором по поводу какого-либо события или происшествия. Ибо Отдел наш через работавших в нем офицеров всё время был в курсе текущей политики и самой животрепещущей злобы дня. Таким образом, в комнате происходил непрерывный обмен замечаниями и сообщениями новостей о происходящем в Москве, Петрограде, на фронте, в уездах и т. д. По поводу всего этого почти каждый из нас высказывал свои соображения, иногда завязывались споры. Большинство работавших в Отделе офицеров были социалисты-меньшевики, двое были кадеты, были также и лица, политические взгляды которых определить было трудно, но в то время всё как-то по инерции склонялось к « социализму ». Были довольно симпатичные фигуры среди этих офицеров, которые все являлись типичными интеллигентами, одетыми в военные мундиры в качестве офицеров запаса. Большинство, по профессии, были юристы, но также журналисты и театральные репортёры. Ко всему происходящему относились с удивительной, чисто русской лёгкостью и несерьёзностью, как бы наблюдая со стороны какое-то зрелище, не имеющее касательства к собственной нашей жизни и судьбе, не то с каким-то кинематографическим любопытством, не то с фатализмом. В этом Политотделе не было, собственно, ни одного революционера или политического деятеля, кроме Шера и его помощника, которые вели разговоры только между собою, запершись в кабинете. Мы, сотрудники Отдела, не составляли никакой корпорации или даже просто группы, связанной общими взглядами; а в то же время мы не представляли воинской части, подчинённой служебной дисциплине в прежнем обычном смысле слова. Ибо предметом наших занятий была политика, а она предполагает свободу каждого. Скорее всего наш Отдел походил на клуб

политиканов, где можно было почерпнуть больше новостей и слухов, нежели из газет, послушать чужое мнение, высказать своё, поспорить. Всё это давало выход накоплявшимся в течение каждого дня настроениям и нараставшему постепенно беспокойству. Также и здесь офицеры разделялись на оптимистов и пессимистов, причём последних было больше, и число их росло вместе с событиями. Оптимистами были те, которые верили в « социализм », в его организующую силу и в способность русского народа воплотить его в свою общественную жизнь. Я сказал « верили », но должен оговориться, быть может, только думали, что верили или сами старались себя убедить в такой своей вере. В то время, как это я вижу ясно теперь, в России людей, политически во что-то верящих, можно было найти разве только среди последователей большевиков, именно последователей, а не самих большевиков, исключая разве самого Ленина. Но ни большевиков, ни последователей большевиков в нашей группе офицеров Политотдела не было. Вся она состояла из « интеллигентов » и, независимо от партийных различий, стояла она вся на общей психологической почве, которую правильнее всего можно определить, пожалуй, следующим образом : мы ждали революции, в желаниях и мечтах взывали к какому-то лучшему миру счастия и свободы для всех, проклинали действительность, желали крушения всем общественным и политическим устоям, боготворили народ; и вот « революция пришла », но то, что она представляет собою, то, во что она с каждым днём явственнее грозит вылиться, как-то мало похоже на наше желанное « освобождение », на « зарю новой жизни ». В том, как всё более показывали себя « массы », в людях и событиях чувствовался какой-то притаившийся зверь, В душе становилось жутко и, заглядывая в себя самого, в свой характер, в свою натуру с её привычками, вкусами, стремлениями, приходилось сознаться себе, что нужных моральных сил для встречи с этим зверем, для борьбы с ним не имеется, что закал наш другой. Приходилось сознаться себе, что уже в начале ломки чего-то становится жаль, чего-то привычного, на что раньше замахивался и чуть-что не плевал, но всё же

милого, ибо связанного со всей твоей жизнью, ну вот хотя бы этих портретов государей-императоров, воплощавших пышность, блеск и приволье нашего старого помещичьего, буржуазного и интеллигентского быта. Но в то же время прошлое, идеологическое прошлое с его мечтами о всеобщем счастье и правде, об осуществлении « нового мира » путём революции, обязывало. Приходилось революцию « принять » во всей её реальности и плыть по её течению, вместе с нею, хотя и не в самом бурном её потоке в середине, ибо для этого нужен был иной закал, а так где-то с краешку, где можно было главным образом наблюдать и ждать и льстить себя надеждой, авось оно и не так скверно выйдет, как кажется.

А революционная действительность становилась всё запутаннее и общий фон картины всё мрачнее. Ближайшей непосредственной задачей нашего Отдела было « политическими способами » содействовать сохранению или восстановлению дисциплины в войсках и поддержанию общего порядка в районах их расположения. « Политические способы » заключались в непосредственном воздействии на солдат и офицеров путём пропаганды здоровых, т. е. соответствующих данному правительственному курсу политических идей. В тот момент во главе Временного Правительства стоял уже Керенский, который метался в конвульсивных усилиях « сохранить революцию » от реакции вправо и от большевистской пропаганды слева. Коротко говоря, борьбу приходилось направлять против всё более захватывавшей солдатскую массу, а частью и гражданское население волны анархии; на гребне этой волны всё выше поднимались большевики, готовившиеся к насильственному захвату власти путём восстания, но ещё не открывавшие своего плана. Положение, как мы видели его в свете нашей непосредственной задачи, представлялось нам очень ясно и просто, и, мне кажется, теперь оно может вскрыть причины происшедших затем событий, приведших к водворению большевистской диктатуры.

Я упоминал выше о моем презрении к левым революционерам и к их теориям захвата власти путём вооруженного восстания. Этих революционеров я счи-

тал пустыми болтунами, которые могут заниматься чепухой, ибо им надо как-нибудь оправдать своё неудачничество, свою праздность и умственное и нравственное ничтожество. События как будто бы посрамили мои взгляды, революционеры вознесены наверх, они являются вершителями судеб человечества. Их теория захвата власти путём восстания оказалась правильной. В любой истории революции дело изображается так, словно они свергли царский режим, весь традиционный русский порядок, — грандиозное деяние и вся его слава приписывается их мысли, их предвидению, их воле, их вере, их самопожертвованию, их мужеству. Всё это для непосвящённого представляется неоспоримым, и тем не менее я сохраняю свой прежний взгляд и считаю, что не предвидение большевиков, не их план восстания создали их успех, а комбинация событий, исход которых они приписывают себе на кредит. Вся роль большевиков — и с точки зрения успешного результата вся их заслуга — заключается в том, что они решились сделать ставку на анархию. Не будь её, вооружённое восстание никогда бы не удалось [1]).

---

[1]) Октябрьский переворот автор пережил в Москве, оставаясь в своей квартире и не принимая участия в борьбе. После переворота он был « откомандирован » новым командованием МВО для чтения лекций на Высших Женских Курсах и вслед за тем окончательно демобилизован.

ХОД И ИСХОД РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА

После падения самодержавия, происшедшего стихийно в связи с сравнительно ничтожным поводом, ближайшие события и соотношение различных общественных сил и революционных факторов определились западно-европейской политической концепцией, в силу которой революция понималась как « буржуазная », долженствующая осуществить в России назревшее господство этого класса. Этот мираж первое, самое важное время определял действия « буржуазных » партий, в первую очередь кадетов, внушая им слепую и пассивную уверенность в неминуемости их торжества. Эта уверенность в основном разделялась и левыми, начиная от меньшевиков и эсеров, стремившихся поэтому через контроль Совета урвать для пролетариата как можно больше из добытого « буржуазией », путём « углубления революции », и « спасти революцию » от возможных и казавшихся неизбежными покушений на неё со стороны правой реакции. В силе буржуазии и в « буржуазности » революции были первоначально уверены и сами большевики, не исключая Ленина.

Эта общая уверенность в прочности и обоснованности буржуазных притязаний на власть, в неспособности пролетариата к руководству государством и в опасности реакционных тенденций буржуазии помешала сплочению и организации этой « буржуазии », т. е. средних имущих классов и созданию некоего подобия национальной гвардии наряду с боевыми рабочими организациями. То что не было сделано даже и попытки вооружения буржуазии объясняется, во-первых, как раз отсутствием в ней общественного духа и революционной активности, и во-вторых, тем, что

левые социалистические партии учли западноевропейский революционный опыт, например 1848 года, и не допустили создания такой буржуазной боевой силы. Что касается политических лидеров « буржуазии », то и предвидя опасность слева, они были уверены, что за выступлениями слева последует реакция, в результате которой власть останется в их руках. Отсюда сосредоточение бдительности на возможных покушениях справа, и в результате никуда не годная подготовка Корниловского[1]) движения и его конечный провал, открывший дорогу большевистской революции.

Мировой фактор революции сказался в том, что по-настоящему заряжёнными активной революционностью элементами оказались партии, стремившиеся в конечном счете к мировому социализму, и прежде всего — большевики. Правее их стоявшие и более умеренные по тактике меньшевики и эсеры в конце концов прокладывали им дорогу своим контролем, критикой и саботажем Временного Правительства. Идея социализма, конечно, была единственным двигателем крестьян и рабочих, будучи понимаема ими в чисто русском захватническом и собственническом духе.

Наконец, война, т. е. связанность страны мировой конъюнктурой, помешала революции пойти по пути удовлетворения насущных внутренних нужд. Обязательства перед союзниками помешали заключить мир, необходимый для прекращения экономического развала и предотвращения анархии в населении и утомлённой и изверившейся в успехе солдатской массе. Эта же война не позволила быстрого созыва Учредительного Собрания, в общем мнении считавшегося единственным правомочным преемником царизма и единственным авторитетом для решения коренных социальных реформ и, в первую очередь, аграрной. Отсрочка же мира и Учредительного Собрания развязала анархические инстинкты масс и создала в России тот хаос и безвластие, которые явились мостом для

---

[1]) Генерал Л. Г. Корнилов — Верховный Главнокомандующий при Временном Правительство первого состава. Глава заговора с контрреволюционной целью, так называемого корниловского, в августе 1917 г.

успеха большевистской узурпации. Средние классы, исконно пассивные и косные, политически несознательные и привыкшие только к подчинению, оказались неспособны выдвинуть из своей среды организующие силы порядка и дисциплины, могущие создать новую власть. Новой русской государственной идеи на смену павшему царизму в наличии не оказалось. Народная масса, крестьянская и рабочая, явила собою зрелище « вырвавшихся на волю рабов ». Таким образом, подготовивший восстание большевизм повёл свою атаку уже не на царизм, а на расстроенное, лишённое власти общество, возглавив своей организацией и руководством стихийные силы анархии. Однако большевизм одержал свою победу не случайно. Если в революции не оказалось никакой русской идеи, способной вдохновить к борьбе и сплотить организацией и дисциплиной какую-либо боевую группу, то эту задачу выполнила идея мировой социалистической революции. Ибо таково было знамя большевистской октябрьской революции. Нужды нет, что восстание предпринималось под лозунгами : немедленный мир, земля крестьянству и Учредительное Собрание. То был, в первую очередь, тактический приём. Движущей силой большевиков, как партии и центра движения, была их вера в социализм и мировую социальную революцию.

Вместе с Октябрьским переворотом революция, в сущности, кончилась. Пусть в течение более трёх десятилетий до сегодня в умах русских людей продолжается, поддерживается и официально пропагандируется идея продолжающейся революции, говорится о новых достижениях революции, о верности революции и т. д. Всё это лишь официальная фразеология, нужная для правительственных целей. В России после семи месяцев анархии, вызванной падением царизма, появляется новая власть, первоначально возглавившая анархию, а затем занявшаяся постепенным её укрощением и введением в железные тиски новой, гораздо более абсолютистской и полицейской государственности, нежели какую представляло собою самодержавие. Именно этот процесс представляют собою, в сущности, тридцать лет большевистского господства в России.

ПОСЛЕ ПЕРЕВОРОТА

ТАКТИКА БОЛЬШЕВИКОВ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ И ПЕРВЫЕ РЕАКЦИИ ОБЩЕСТВА

Итак, после октября стихийное революционное творчество путём борьбы сменяющих друг друга личностей, групп, партий, идей, направлений и программ окончилось. Анархия, правда, уляжется ещё не сразу. Тем не менее на место исчезнувшего царизма водворяется новое абсолютное правительство под названием диктатуры пролетариата. То, что происходит отныне в России, есть нечто своеобразное и нигде не бывалое. В стране создаётся абсолютное правительство, восстанавливающее прежнее административное усмотрение и принуждение (т. е. традиционный произвол). Но новая власть облекает себя новой санкцией — революционности. Она « делает » революцию, « охраняет », « спасает », « продолжает », « углубляет » революцию. Всякое несогласие с правительством, во имя чего бы оно ни заявлялось, считается покушением на революцию и, следовательно, « контрреволюцией ». Этому « революционному » правительству противостоит народная масса — послушный, пассивный и безмолвный объект всякого рода экспериментирований. Подобно тому, как в лице большевиков в политической жизни России выплыл наружу исконный произвол власти, притом в степени ещё небывалой, так в народной массе проявился исконный же анархизм, тоже в небывалой степени соответственно тому, что всё политически сознательное, независимое и культурное в народе и обществе было уничтожено физически или подавлено духовно.

Таким образом произошёл колоссальный процесс ломки и переустройства страны как живого истори-

чески сложившегося организма. Развитие России в результате октябрьского переворота пошло совсем иным путём, нежели каким этот путь представлялся всем мыслящим людям перед революцией, когда её ожидали как толчка, долженствовавшего ускорить это развитие и привести его к естественному завершению. Противоположность между ожидавшимся результатом революции и тем, что создалось в России в действительности, представляет собою, пожалуй, самое поразительное, неожиданное и парадоксальное явление во всей мировой истории. Небывалый факт в самой сущности своей до сих пор ещё не вполне осознан, до такой степени, что многим он кажется каким-то недоразумением или сном. Так думают многие русские эмигранты, серьёзные, учёные и почтенные: минет сон, исчезнут большевики, и Россия вновь вернётся на прерванный нормальный путь развития. Итак перед нами встаёт вопрос, каким образом мог получиться этот неожиданный, парадоксальный результат?

«Творение» большевиков состоит, во-первых, в систематическом разваливании прежнего русского общества с его учреждениями, укладом, идеями, традициями и бытом, и, во-вторых, в водворении на место разрушенного некой новой формы общежития. Однако, думать, будто именно большевики и только большевики разрушили «общество» старой России, значит суживать проблему и незаслуженно придавать значение исключительно одному фактору. Теперь для всех ясно, что большевики оказались единственной политической группой, наделённой настоящей волей к власти и сильнейшим захватническим импульсом, свободным от всяких задерживающих моментов правового или нравственного порядка. Именно в силу этого они получили решающий перевес над всеми прочими партиями. Всё же не эти внутренние свойства обеспечили им успех, а прежде всего то обстоятельство, что в октябре 1917 года им пришлось штурмовать уже разрушенную крепость. Ибо государство российское рухнуло само собой за восемь месяцев перед тем. На его место воцарилась анархия, и потому большевикам, возглавившим эту анархию, после захвата ими власти и не понадобилось разрушать государство с его

атрибутами и органами. Наоборот, старое русское общество, лишённое своих государственных скреп, но ещё сохранившееся в своих элементах, противостояло большевикам во всей колоссальной совокупности своих исконных связей, материальных и духовных, со всем своим традиционным укладом, верованиями, понятиями, обычаями, принципами и предрассудками. Всё это большевикам, после захвата ими власти, предстояло разбить и уничтожить, чтобы на место « старого мира » построить новый по плану и программе марксистского социализма. Я говорю « чтобы построить » и говорю так потому, что вся работа действительно совершилась с начала и до конца в масштабе и с успехом во всей всемирной истории ещё небывалыми. И большевики, конечно, имели намерение такой перестройки и волю к ней. Но это вовсе не значит, что с самого начала они были уверены в полном успехе своего предприятия. Совсем напротив. Самая попытка переворота в октябре представляла риск, игру va banque. Есть совершенно определённые данные, которые говорят за то, что и захватив власть, они надеялись сохранить её в своих руках лишь некоторое, сравнительно короткое время. Ещё тогда в публике передавали слова Ленина : « Мы уйдём, но перед уходом сильно хлопнем за собою дверью ». Впоследствии же большевики говорили : « Если бы мы знали, что продержимся так долго, мы бы действовали осмотрительнее ». И даже если бы этих признаний не было вовсе, сама лихорадочная спешка общей ломки свидетельствует об отсутствии у них уверенности в том, что им будет дано время на осуществление своего плана. Таково же было общее мнение вокруг, даже не мнение, а уверенность в том, что их успех есть преходящий эпизод, что все их начинания обречены на провал.

По-видимому, свою историческую роль большевики мыслили по образцу Парижской коммуны с её быстрым концом; отсюда эта спешка в разрушении. Такой прогноз, однако, вовсе не исключает наличия в большевиках чувства самосохранения, стремления уцелеть во что бы то ни стало. « Не останавливаться ни перед чем » стало их правилом, начиная с первых шагов в России и до сегодняшнего дня их мировой поли-

тики[1]). Знаменательно, что это правило оказалось залогом их успеха прежде всего в России перед лицом всей громады старого русского общества, но ещё поразительнее, что испытанное орудие продолжает успешно действовать и в современной мировой конъюнктуре. Нет ли здесь сходства между тогдашней русской и нынешней мировой ситуациями? Перед устремившимися в атаку большевиками не оказалось государства, которое было бы способно отразить их, а лишённое государственных скреп и руководства русское общество, несмотря на всю свою внешнюю импозантность, оказалось бессильно дать отпор. Теперь большевизм, совсем иначе вооружённый, противостоит всему миру и захватывает одну позицию за другой. Как тогда в России, так теперь во всём мире, большевизму с его единой волей не противостоит такая же единая, сознающая свою силу и исполненная решимости воля.

Выше я сказал, что большевики старались в кратчайший срок причинить как можно больше разрушений « старому миру » в России. Это, однако, не значит, что они стремились только к разрушению и вовсе не надеялись также и созидать новое; дело не обстояло так, будто бы программа большевиков слагалась из двух отдельных частей, приводимых в исполнение в последовательном порядке — сначала разрушение старого, затем строительство нового. Наше разделение есть лишь методологический приём историка, который рассматривает всё развитие в целом, после того, как оно закончилось и вылилось в определённый результат.

В разрушительной горячке первых месяцев после революции уже начала складываться новая жизнь, с другой же стороны, в годы торжественно возвещённого планового « строительства » продолжалось « добивание » и « выкорчёвывание » старого. Многое в старом порядке, что революционерам было особенно ненавистно, что в теории подлежало немедленному уничтожению, ещё долго оставалось почти нетронутым

---

[1]) Подчёркиваю, что формула эта « не останавливаться ни перед чем » в практике большевиков означает не просто словесную гиперболу, которой часто злоупотребляют и в жизни и в печати, а имеет буквальный и точный смысл.

по соображениям тактики или в силу других особых причин. Таким было, например, положение Церкви. Тотчас после революции на неё посыпались отдельные, порой весьма чувствительные удары (аресты духовенства, отдельные акты кощунства), но самое тело Церкви, как видимое вместилище народной религии, долго оставалось нетронутым. Слишком импозантен был этот противник и требовалось время и свобода рук для планомерной борьбы с ним. Напротив, царская армия была доразрушена сразу под напором раздутой агитаторами ненависти солдат к офицерству, золотым погонам, денщикам и прочим привилегиям, в силу также питаемой большевиками иллюзии, что октябрьский переворот вызовет всеобщее подражание и заключённый повсюду мир сделает армию ненужной. Но весьма вскоре, как только потребовали обстоятельства, началось воссоздание армии, но уже « красной ». Сразу также набросились на « классового врага », ибо тут дело было ясно само собою и к тому же пахло поживой, и при всех и всяких обстоятельствах для этой борьбы был открыт широкий простор. Напротив, университеты вначале пережили, правда недолгую, эпоху реформ и автономии совсем в духе мечтаний прогрессивных академических кругов. А новые университеты на началах автономии стали вырастать, как грибы, повсюду в провинции.

Тем не менее, если моё разделение « дела большевиков » на две половины — разрушение и строительство — представляет собою методологическую схематизацию, всё же оно не лишено и реальной основы в самом ходе событий. Большевикам, поглощённым гражданской войной, действительно, первое время приходилось преимущественно разрушать, настоящее же « строительство » началось уже позднее. Но в конечном счёте весь импозантный, веками сложившийся старый порядок с его государственным и общественным строем, учреждениями, сословиями, социальными классами, культурными и бытовыми учреждениями, хозяйственной структурой, религией, моралью, политической и общественной идеологией, вплоть до зданий и памятников старины и религии, а также внешних форм быта — всё это оказалось разрушенным, и

в настоящее время в Советской России от этого старого величественного здания остаются лишь кое-какие развалины и осколки. Этот процесс разрушения мы подвергнем теперь систематическому обзору. Ибо если он, как уже было сказано, представляет собою факт, небывалый в мировой истории, то ясно, во-первых, что уже теперь он имеет мировое значение, и последствия его для всей планеты обнаруживаются с каждым днём всё очевиднее. А в таком случае и самый скромный обыватель любого уголка на этом свете, и прежде всего в Европе, рано или поздно почувствует на себе всю силу этих последствий. Поэтому для каждого, не из любознательности только, но и в личном своём интересе, важно познакомиться с фактическим ходом этого процесса и уяснить себе, в силу каких факторов, материальных и духовных, внутренних и внешних, органических и механических, стал он возможен и, вопреки всей его невероятности и невообразимости, осуществился.

В первую очередь здесь надо говорить о государстве и его учреждениях. Я уже сказал, что Российская империя, как государственная форма, была разрушена не большевиками, она пала уже раньше, почти без всякого сопротивления, в дни Февральской революции. Но большевики выступили, как разрушители государства вообще, а также той новой его конкретной формы, которую политические партии и Временное Правительство пытались поставить на место империи после февраля на срок до Учредительного Собрания. В положении, создавшемся тотчас после Октябрьской революции, трудно определить, что возникло стихийно и что создано сознательной волей, что являлось ясно высказанным законом и что представляло собою простой факт. Несмотря на установление простым декретом социалистической республики, диктатуры пролетариата, всех видов национализации, несмотря на создание нового органа центральной власти в виде «Совета Народных Комиссаров», переход власти в руки большевиков на первых порах фактически означал лишь как бы легализацию уже бушевавшей в стране анархии, усиление местного произвола под названием «власти на местах» и санкцию всех притя-

заний и требований, предъявлявшихся группами, организациями и даже отдельными лицами. Получилось нечто весьма любопытное: большевистская власть оказалась, с одной стороны, началом государственным, в качестве «диктатуры», с другой же — поощрителем анархии в силу демагогии, проистекавшей от сознания собственной непрочности, естественной на первых порах. Поэтому всё, что в ходячих представлениях публики было связано с государством, подвергалось официально и демагогически дискредитированию. К этой категории явлений относится знаменитый лозунг Ленина «каждая кухарка должна уметь управлять государством», равно, как вопли против тайной дипломатии и тайных международных договоров. В первые годы после революции Россия продолжала существовать как народ, как страна, но без общей связи своих частей, в которых в разные моменты складывались различные местные порядки и ситуации. Но государства фактически не было также и в центральных областях, подчинённых большевистскому правительству. Там, в сущности, царила анархия и господство отдельных местных групп, сил и учреждений. Какой-то элементарный и необходимый для жизни индивидов общий порядок поддерживался тем, что в центре всего появилась партия, имевшая в своих руках силу и наделённая целеустремлённой волей.

Эта партия в самом деле явилась единственным организующим фактором в стране; вне её, вне пунктов, куда дотягивались её руки, можно было чувствовать себя своим собственным господином, полным хозяином своего устроения. Беда была лишь в том, что возможности этого устроения были ничтожны. Но эпоха эта была замечательна, в некоторых отношениях фантастична и полна романтики. Первое время, в реальность всего происшедшего никто не верил или, точнее, не представлял его себе конкретно. Каждый чувствовал себя среди хаоса и потому свободно. Советская власть никому не представлялась авторитетом. Её не принимали всерьёз. Брань и насмешки по её адресу были всеобщие. Этим как бы вознаграждали себя за понесённое поражение. Притом были уверены, что всё это не надолго, что какая-то другая сила

должна свергнуть эту силу и рано или поздно свергнет её. Советскую власть и ощущали как враждебную, незаконную, захватническую и уступали ей легко в уверенности, что всё это так себе, на время, минет, как тяжёлый сон. Я сказал, что ждали « откуда-то » силу. Было известно — откуда. Ибо ежедневно на площадях читали плакаты с сводкой положения на фронтах гражданской войны. Верили в белое движение и интервенцию, верили совершенно определённо в течение первых трёх лет, вплоть до эвакуации Крыма и мира с Польшей. В центре и всюду, где хозяевами были большевики, в общем хаосе и кутерьме рядом с партией как силой усматривали и другие силы : во-первых, в виде остатков организаций эсеров, меньшевиков и кадетов, а во-вторых, в виде либо открыто выступавших групп анархистов, либо постоянно возникавших подпольных групп белого офицерства и прочей контрреволюции. В этих группах видели иногда возможных преемников большевиков : так, одно время ячейки анархистов, захватывавшие дома и вывешивавшие на них свои чёрные флаги, стали ощущаться как новая угроза. Была ли у них какая-либо общая организация, я не знаю, но анархист-теоретик А. А. Боровой, мой личный знакомый, одно время ходил с высоко поднятой головой, и чуть ли уж не видел себя вот-вот « у власти ».

В общем хаосе партия, как единственная организованная и владеющая материальными и техническими средствами сила, конечно, являлась притягательным центром и самым существованием своим открывала возможность найти себе применение и обеспечить минимум существования. Предприимчивые люди сделали из неё для себя даже дойную корову. Партийных людей на местах можно было часто « разыгрывать », соблазняя их проектами всевозможных, иногда самых фантастических начинаний культурного или агитационного свойства. Особенно отличались в этом отношении актёры, искусствоведы, музееведы и всякие вообще « культурники ». Таким образом от простоватых « заведующих отделами » всякого рода добывались деньги, пайки, мандаты и командировки в хлебные районы. Голод толкал на всё. В первые три

года революции, официально именуемые периодом военного коммунизма, а в народе получившие название « голодовки », пропитание сделалось всепоглощающей проблемой жизни всего городского, некрестьянского населения России, в особенности высших классов и интеллигенции. Источников пропитания было только три: проживание остатков своих движимостей, начиная с колец и серёг и кончая самоварами и роялями; во-вторых, спекуляция; в-третьих, советская служба. Естественно, что для огромного большинства этот последний источник был единственным. И потому, не признавая советской власти, презирая её и ненавидя, массами шли к ней на службу; шли с тем более лёгким сердцем, что ни в её политике, ни в её людях, ни во всей окружающей ситуации не видели никаких шансов и возможности для её утверждения в жизни. Сама эта кажущаяся бессмысленность и беспочвенность советских мероприятий облегчала для « служащих » беспрекословное их выполнение, которого требовала диктатура, ибо внутренно считали всё это обречённым на неминуемый провал и этим успокаивали свою совесть. Чем нелепее казалась директива советских органов, тем с большим злорадством выполнялась она. Это было естественное и непроизвольное вредительство, которое существовало гораздо раньше, чем большевики пустили в оборот самое слово и начали борьбу с этим явлением.

Вот каким образом самая абсурдность, экстравагантность всего этого феномена большевизма в соединении с нуждой и голодом сделали то, что все культурные, квалифицированные, профессиональные элементы населения мало-помалу втянулись во всё расширяющуюся систему советских учреждений, вжились в режим диктатуры и постепенно создали их деловую практику и сообщили им традицию государственного авторитета.

БОРЬБА С « КЛАССОВЫМ » ВРАГОМ

В процессе развала старого порядка России гораздо более важное значение, нежели разрушение государственных форм и учреждений, имеет уничтожение старых общественных классов. Именно на них направилась в первую очередь ярость большевиков и всех тех элементов из социальных низов, которые были пробуждены большевистской пропагандой. Тут работали заодно и теория, и программа, и звериные инстинкты зависти, жадности и жестокости. Борьба с « классовым врагом » началась немедленно и не окончилась ещё и до сегодняшнего дня, несмотря на то, что официально Советская Россия давно провозглашена пролетарским, бесклассовым государством, и в новых социальных формациях, возникших фактически под этой официальной вывеской, остаткам старых ведущих классов места не осталось. И всё же « борьба с классовым врагом » и сейчас имеет свой особый смысл и является важным элементом нынешнего общего жизненного уклада Советской России.

Борьба большевиков против господствующих классов представляет самую сущность революции, ибо согласно их идеологии весь исторический процесс есть не что иное, как сплошная борьба классов, а революции являются не чем иным, как острыми, критическими моментами этой борьбы. Удавшаяся социальная революция есть уничтожение господствующих классов, а её конечный результат есть бесклассовое общество. Следовательно, понять большевистскую революцию это значит представить себе происходящую в ней классовую борьбу.

Но что такое « классовая борьба »? Слово это

так навязло на зубах, понятие, им обозначаемое, так примелькалось каждому в наши дни всяческих социальных вопросов и конфликтов, что кажется странным останавливаться и задумываться над тем, что должно представляться простой аксиомой. А между тем это совсем не так, и, сколь ни парадоксальным покажется моё утверждение, я считаю, что в России собственно не было никакой борьбы « классов », а то, что под нею подразумевается, стоит в связи с указанным уже мною в другом месте искусственным и неопределёным характером русской революции.

Термины бывают очень опасны, и они тем опаснее, чем они кажутся проще и понятнее. Одним из самых ходовых в наше время является термин « революция », а опасность его заключается в том, что, будучи тесно соединён с определённой идеей, он вместе со словом сообщает идею явлениям, имеющим с нею мало общего. Повторяю, что нельзя уподоблять русскую революцию 1917 года великой французской революции конца XVIII века. И это как раз в отношении классовой борьбы. В той революции буржуазия, набиравшаяся сил уже давно, выбросила аристократию из её позиций. Движение это было стихийное, самопроизвольное, оно не совершалось по заранее составленным тактическим планам и руководствам, оно не выполнялось заранее подготовившимися профессиональными революционерами. То была настоящая борьба класса против класса, протекавшая в атмосфере энтузиазма и жестокости, борьба, результаты которой достигались не только насилием, но и добровольными уступками, причём эти результаты ощущались как нечто реальное и великое и потрясали умы и сердца всей нации. Такова была ночь на 4-ое августа, когда представители дворянства наперерыв отказывались от своих феодальных привилегий и в несколько часов весь социальный порядок Франции оказался перевёрнутым кверху дном. Настоящей классовой борьбой были средневековая Жакерия во Франции, Крестьянская война в Германии, бунты Разина и Пугачёва в России. Во всех этих движениях угнетённый класс изливал свою ненависть против своих угнетателей. Совсем иным является то, что в русской революции большевиками было названо

« классовой борьбой ». Конечно, всякое понятие растяжимо, и потому беспощадную расправу, учинённую большевиками над представителями дворянства, буржуазии и интеллигенции и называют « классовой борьбой ». Однако, в этой борьбе расправу учиняли не « классы » - победители, а объявившая себя правительством кучка партийных главарей и созданные ими карательные органы в виде бесчисленных местных Чека, рекрутировавшихся из всех слоёв и групп старого общества. Если мне на это возразят, что в истории никакой класс не может действовать скопом, и что активные революционные группы как раз и являются выразителями класса, то на это я отвечу, что такое понимание есть фикция и подтасовка, которая как раз и разоблачается фактами русской революции. Ибо та же самая властвующая группа со своими подсобными организациями, которая, преследуя и истребляя аристократов, дворян и буржуев, яко бы « выражала волю » « рабочих и крестьян », через некоторое время скрутила в бараний рог рабочих и занялась преследованием и истреблением крестьян. Пора покончить с манерою изображать историю как процесс, в котором агентами являются абстракции, вроде общественных формаций, производственных отношений, режимов и классов. Русскую революцию сделали определённые лица и группы лиц, одни пассивно, другие активно. Её главными авторами являются Ленин и большевики со всеми притянутыми ими пособниками со всех концов России, изо всех групп населения. Они действовали всяческими способами, в том числе насилием, а также внушением известных идей и представлений. Одним из этих внушений является пропаганда идеи, будто сами они явились выразителями воли угнетённых русских классов — рабочих и крестьянства.

В свете высказанных выше соображений действия большевиков, обозначаемые как « классовая борьба », впервые получают свою настоящую оценку. В России не произошло, собственно, никакого социального переворота в смысле разрушения классового господства, ибо такового в ней не было. Я только что сказал о результатах ночного заседания Конституанты 4 авгу-

ста 1789 года и произведённом ими впечатлении не только во Франции, но и во всём мире. Спрашивается, отметил ли кто-либо в России какую-либо перемену в результате правительственного декрета, отменившего права и привилегии высших сословий, аристократии, дворянства, генералитета и буржуазии? Отмена сословий прошла совершенно незаметно, ибо самое существование их в царской России не имело почти никакого значения.

Отмена сословных различий была декретирована сразу после революции. Национализация земель, фабрик и домов лишила помещиков и капиталистов их недвижимостей [1]). Если « буржуазия » одним ударом была лишена своих капиталов и земель и потеряла свою политическую и общественную роль, то выкинута из жизни она была не сразу. Надо помнить, что понятие « буржуазии » в большевистской идеологии ещё до революции было поставлено очень широко, к ней относились не только крупные промышленники, купцы и банкиры вместе с дворянством и вообще землевладельцами, — группы, резко отделённые от прочих сословий и народной массы образованием и европейской внешностью, — но и высший зажиточный слой интеллигенции, в качестве « лакеев буржуазии », а также весь многочисленный серый класс промышленников и купцов уездных городов, своим культурным обликом и бытом мало отличавшийся от крестьянства. Буржуазию видели большевики и в так называемых « кулацких » элементах деревни, однако настоящая борьба против них началась значительно позднее, уже в связи с коллективизацией сельского хозяйства.

В жестокостях и зверствах большевистской революции, если пристально всмотреться и вдуматься

---

[1]) В эту категорию пострадавших можно отнести и семью автора, поскольку его жена являлась обладательницей процентных бумаг земельных банков и участка земли в 200 десятин в области Войска Донского — капитала, дававшего в общей сложности 10.000 рублей ежегодного дохода, в сравнении с которым его академический или литературный заработок в общем семейном бюджете большого значения не имел.

в факты, нет ничего произвольного и случайного, напротив, всё обусловлено, всё имеет глубокий смысл. Я повторяю это здесь и вообще так часто потому, что до сих пор ещё существуют люди, особенно среди русской эмиграции, которые упорно продолжают думать, что большевистская революция представляет какое-то чудовищное недоразумение, ибо всё, что в ней совершилось, идёт наперекор как всем фактам и законам истории, так и человеческой логике и здравому смыслу. В глазах этих лиц всё в этой революции есть результат злой воли кучки захватчиков, руководимых в большинстве своём личным честолюбием, жаждой власти и страхом за собственное существование. Зверство этих людей, их способность действовать напролом, без всякой пощады и не считаясь ни с чем, ещё не виданы в истории — вот и всё. Однако спрашивается, *почему* могла появиться такая кучка или группа, *для чего* она оказалась нужной и как бы на своём месте в общей конъюнктуре, сначала местной, русской, а затем мировой, и как объяснить, что во всём враждебном окружении, противостоявшем этой группе в России и противостоящем ей во всём мире теперь, не находится сил, способных остановить её деятельность, напротив, всё либо отступает, либо подпадает под её удары.

Большевистская революция открывает собою новую эру в нашей почти двухтысячелетней христианской цивилизации, она означает возвращение к цивилизации античной, как во многом другом, так и в методах политики. Хорошо известен ходивший в древности рассказ о тиране, который, на вопрос о наилучшем способе обеспечить за собою захваченную власть, ответил красноречивым жестом, принявшись сбивать палкой наиболее выдающиеся головки мака на близлежащем поле. Известно также, что в борьбе партий греческих городов-государств победители стремились истреблять своих побеждённых противников поголовно. Известны, наконец, «проскрипции» в гражданских войнах римской республики. Все эти факты всегда приводили в ужас современных историков; для людей нашей цивилизации они казались навеки исключёнными. Ужасы религиозных войн XVI

века и французской революции справедливо считались неизбежными « эксцессами », а не системой. Ужасы эти были сравнительно кратковременны, они не привели к физическому истреблению класса, на который обрушились, и потому стала возможна « реакция » и возвращение этого класса к власти.

Физическое истребление господствующего класса впервые было возведено в систему большевиками. Конечно, ни один из большевистских теоретиков классовой борьбы в революции не проповедовал во всеуслышание поголовного истребления господствующего класса. В теории, для уничтожения его господства считалась достаточной экспроприация его земель, фабрик и капиталов, в силу чего должно было исчезнуть и его привилегированное общественное положение. Социалистические теории XIX века всех оттенков, вплоть до марксизма, творились ещё в действенной атмосфере христианской цивилизации и гуманных идей. Впервые практика русской революции показала другое. Большевистский террор вообще кажется легко объяснимым гражданской войной и внутренним пассивным сопротивлением огромной части населения большевистским экспериментам. Можно предположить, что, если бы на окраинах не выступили Каледины, Колчаки и Деникины [1]), если бы имущие классы, примирившись с экспроприацией и новым порядком, поголовно принялись бы проводить его в жизнь под руководством большевиков, подобно тому, как это сделали уже с начала революции отдельные представители этих классов и бюрократии, то революция приняла бы гораздо более мирный характер и в сравнительно короткий срок привела бы страну к устойчивому и приемлемому порядку. Весь фактический ход революции исключает правдоподобность такого результата, если даже признать допустимость подобной предпосылки, т. е. примирение господствующих классов с экспроприацией и революцией. Царь и его семья с нею примирились и с христианским смирением « прияли » свою судьбу, и однако они

---

1) Генералы — вожди контрреволюционного белого движения.

были « ликвидированы ». Что физическое истребление « классового врага » не явилось припадком внутреннего террора, как реакция на белое движение и интервенцию, наподобие террора 1793 года во Франции, это доказывается тем, что и после окончательной победы большевиков в гражданской войне и мира с Польшей, борьба с « классовым врагом » в самых разнообразных формах нисколько не ослабла, но, наоборот, усилилась. Достаточно указать на ужасы, сопровождавшие коллективизацию крестьянства и партийные чистки. Вывеска « борьбы с классовым врагом » дала советскому правительству, т. е. фактически господствующей кучке « вождей », неизменно остающейся у власти, удобное орудие расправы с любыми противниками, принципиальными или личными. Орудие это прочно вошло в арсенал правительственных методов большевизма; и палачами и жертвами оно рассматривается как его неотъемлемый, органический атрибут. Лозунг « борьбы с классовым врагом » даёт моральную санкцию правительственному произволу и окончательному превращению личности советского гражданина в полный нуль. Инстинкт большевиков, независимо от всякой их теории, верно подсказал им, что выполнить своё историческое назначение, создать новую универсальную форму жизни они смогут только персональным истреблением носителей старой идеологии, старой психологии, культуры и общего быта. Так это и случилось в России в результате « перманентной » революции, и этой целью объясняется, между прочим, почему революция остаётся перманентной и в лице своих выполнителей не может признать себя закончившейся и своё дело сделанным. « Классовый враг » продолжал подвергаться персональному истреблению вплоть до второй мировой войны. Отдельные его представители могли уцелеть лишь как исключение, иногда в силу их технической ценности на службе у революции (да и тут до поры до времени), иногда же просто благодаря случаю или незначительности данных лиц. Насколько я знаю, ни один из большевиков, игравших ведущую роль в революции, не высказывал принципиального взгляда, что господствующие и имущие классы подлежат персональному истреблению. Никогда такое

истребление не проводилось единовременно в массовом масштабе, подобно тому, как это делалось Гитлером в отношении евреев или « унтерменшей » восточной Европы. Тем более замечательно, что практически этот процесс совершался непрерывно по разным поводам, с разными оправданиями, в связи с различными ситуациями, параллельно и в очевидном соответствии с выявлением и укреплением новых форм быта. Очевидно, в основе этого процесса лежал какой-то непреодолимый зоологический инстинкт большевиков, а в содействии этой их работе соединялось немало факторов и явлений, таившихся в недрах русского быта, как наследие прошлого. С отмены крепостного права прошло более полувека, но пережитки его остались в резком различении между барином и мужиком, причём этого последнего разрешалось и даже полагалось третировать, как существо низшего разряда, не только в качестве слуги, но даже в качестве ремесленника и мелкого служащего. Мало того. Наряду с добродушной фамильярностью, нередко существовавшей в отношениях между представителями высших классов, особенно дворянства, и « простым народом », обращение с этим последним в городе и деревне со стороны властей и всякого, претендовавшего на некоторое превосходство над простолюдином, было сплошь да рядом оскорбительно. В особенности важно, что простой человек чувствовал себя бесправным и незащищённым в своём личном достоинстве. Поэтому было нетрудно для большевистской пропаганды во всех её видах изобразить русскую действительность так, будто крепостное право просуществовало вплоть до октябрьской революции, и будто положение простого народа до неё представляло спошную нищету, оскорбления и побои. Характерно, что пропаганда эта с годами и с укреплением советского режима ничуть не ослабевала.

Уже в середине тридцатых годов я как-то зимой приехал на два-три дня к себе на дачу под Можайском. В такие приезды для домашних услуг ко мне приходил из соседнего посёлка Володя, мальчик лет четырнадцати, и в моём одиночестве я, конечно, вступал с ним в разговоры.

— Был сегодня утром в школе? — спросил я его.

— Был.

— Чему же ты там учился?

— Был урок истории.

— А о чём был урок?

— Учительница рассказывала про крепостное право.

— Что же это такое, крепостное право?

— А крестьян били.

— Кто же их бил?

— Господа били.

— А когда оно было, крепостное право?

— Было перед Октябрьской революцией.

Я не заглянул в учебник истроии и не проверил, доводится ли и там существование крепостного права до 1917 года, но результаты устного преподавания учительницы были налицо. Большевики так ведут преподавание в школах и так строят пропаганду, что, помимо точных фактов, которые могут даже быть вполне известны лицам из молодёжи, эта советская молодёжь в значительной своей массе как-то органически убеждена в том, что уже давно нарисованная либеральной и радикальной публицистикой мрачная картина русского быта эпохи Николая I, с его угнетением, бесправием и невежеством, относится ко времени, непосредственно предшествующему революции 1917 года.

Известны проявления ненависти крестьян против помещиков во время Пугачёвщины. В 1917 году, несмотря на всю остроту классового неравенства, таких сплошных насилий над личностью помещиков и « буржуев » быть не могло. В донесениях и телеграммах, сыпавшихся из уездов в Штаб Московского Военного Округа летом 1917 года, в разгар анархии, сообщалось о массовом сожжении усадеб, но я не помню ни одного случая убийства помещиков крестьянами. По всей России такие случаи и до и после Октября были единичны. Равным образом единичны были случаи насилия над личностью промышленников. Много говорили только о зверской расправе шахтёров Донбасса над инженерами и владельцами, которых бросали в шахты. Однако, среди шахтёров было много всякого сброда, босяков и бандитов. Даже в отношении собственности

и вообще имущества классовый инстинкт проявился весьма различно в зависимости от местных условий, причём решающую роль играли местные партийные заправилы. Нередки были случаи, когда местные советы оставляли бывших помещиков управлять их национализированными имениями, поскольку земли этих последних не были отданы крестьянам. В Можайском уезде я знаю несколько случаев такого хозяйничанья в течение двух лет после Октябрьской революции. В конце концов, однако, помещики изгонялись и либо заменялись новыми управляющими со стороны, либо же усадьба с оставшеюся частью имения превращалась в « коммуну ». В соседнем Рузском уезде, где заведующим земельного отдела местного Совета сделался какой-то портной, исступлённый фанатик революции, землевладельцы были изгнаны из своих усадеб, а семье профессора Мануйлова, бывшего министра народного просвещения во Временном Правительстве князя Львова, пришлось ночью спешно бежать из своей усадьбы при земельном участке всего лишь в 40 десятин, спасаясь от угрозы ареста.

Судьба многих представителей буржуазии и дворянства сложилась в зависимости от случая. В первые же дни после октябрьского переворота в Москве и других городах начались захваты особняков и больших богатых квартир буржуазии. Помещения захватывались как « легально », в силу реквизиции их властями под учреждения, но также и стихийно — самими рабочими в осуществление принципа равенства жилищных условий. Рабочие семьи покидали свои подвалы и водворялись в особняках и бельэтажах. При этом как-то сам собою установился определённый трафаретный порядок: какая-либо рабочая организация или просто группа, часто вооружённая, являлась к дверям особняка или квартиры и объявляла владельцам, что она обязаны эвакуировать помещение, причём имеют право взять лишь то, в чём они одеты, иногда же дозволялось взять столько вещей, сколько они могут унести на себе. Конечно, заявлялись протесты, звонили по телефону в учреждения или к власть имущим лицам, с которыми имелись связи. В подавляющем большинстве случаев протесты не помогали. В

течение нескольких месяцев по Москве и другим городам прокатилась настоящая волна таких экспроприаций. Но в отдельных случаях они происходили и потом в течение всего периода военного коммунизма.

Года два после Октября я ехал однажды к своей семье в Можайск, как обычно, в страшно переполненном вагоне. Против меня сидел небольшого роста брюнет лет сорока пяти, скромно одетый, в белой русской рубашке под жилеткой и пиджаком, в высоких сапогах. Его лицо было бледно и болезненно грустно. По внешнему виду я признал бы моего спутника за среднего городского мещанина, мастерового или владельца мелочной лавки. Мы разговорились, и оказалось, что я имею дело с бывшим богатым домовладельцем и собственником печного заведения в Замоскворечье. Он просто и красноречиво рассказал мне свою повесть : дом его был полная чаша, анфилада комнат, парадная мебель, сундуки с добром, пара лошадей. Всё имущество вместе с предприятием считалось в сотнях тысяч. « После революции печное заведение я закрыл сам, с рабочими у меня отношения хорошие, я их распустил домой по деревням. И несколько месяцев ничего, меня не трогали. Но вот както вечером, осенью, звонок, Жена пошла отворять. Слышу в передней голоса, шаги, много идёт народу, отворяется дверь в горницу, где мы сидели, вижу : толпа « товарищей », некоторые с оружием. Верите ли? Я тут, как был, грохнулся на пол и с того момента ничего не помню, что было... А было то, что я тут же сошёл с ума, и, когда я очнулся от обморока как буйный помешанный, меня отвезли на Канатчикову дачу и пролечили там шесть месяцев. Только это время у меня как провал в душе, и когда я очнулся от моего помешательства, то вспомнил только последний момент моего сознания, когда вломилась к нам в дом эта толпа « товарищей ». Забрали всё, не посчитавшись с моей болезнью и просьбами жены. Оставили так, пустяки на леченье. Теперь еду к родным в Медынский уезд, в деревню... »

Эта встреча с « буржуем » из простых и необразованных была для меня поучительна, как особый случай. Ни до того, ни после я не встречал ни среди

дворянства, ни среди богатой буржуазии лиц, которых потеря имущества лишила бы не то что рассудка, а даже душевного равновесия. Я не могу здесь характеризовать настроение и отношение к революции всего привилегированного класса России. Я могу судить лишь о тех его представителях, которых я знал уже раньше или с которыми меня столкнула революция. Та часть этого класса, которая с самого начала ушла на окраины и укрылась за фронтом белого движения, а затем спаслась в эмиграцию, осталась мне неизвестна. Об этих судить я не берусь. Думаю, однако, что их судьба определилась не только личным материальным интересом, но и другими моментами более высокого порядка, а иногда просто случаем. Но что касается известных мне представителей привилегированных классов, оставшихся под советским режимом и переживших все его тягости, а нередко и ужасы, я могу сказать, что все они несли свою судьбу с поразительной твёрдостью и спокойствием. Из моих личных бесед с лицами из самых разнообразных групп высшего, привилегированного класса: аристократии, дворянства, бюрократии, богатого московского купечества, — и из того, что я слышал о них от других, я вынес определённое впечатление, что наименьшее действие оказала на них потеря имущества. Это равнодушие к материальному интересу проявлялось тем ярче, чем выше был культурный уровень и наследственная традиция данного лица. Я знал людей, которые потеряли миллионы, и говорили об этом с улыбкой, и из всех тем, связанных с революцией, наименее интересовались этой темой. Более того. Среди этих представителей высшего класса, столь ненавистного революционерам, я почти не видел лиц, которые относились бы к происшедшему перевороту со своей узкой, личной, эгоистической точки зрения, подсказанной « классовым » интересом. Вся революция в целом, вплоть до её большевистских эксцессов, принималась как нечто неизбежное и рассматривалась часто в религиозном плане. Возможно, впрочем, что таковы были оставшиеся, а что те, которые не могли примириться с потерей своего богатства и общественного положения, ушли в эмиграцию.

Я потому так долго останавливаюсь на вопросе об отношении русского привилегированного класса к своим материальным потерям, что считаю этот вопрос очень важным для объяснения причин столь поразительного и быстрого успеха социального переворота. Почему привилегированный класс так слабо защищал свои позиции и так легко примирился с их окончательной потерей? Я уже говорил, что в России этот класс был слаб числом, общественным самосознанием, политической идеологией. Но помимо этого, он не имел также и сильно развитого собственнического инстинкта. Это характерная национальная черта. Русский человек — плохой собственник; он не уважает чужую собственность, но также и не ценит свою. Слабое развитие принципа и понятия собственности в русской истории поразительно, и поскольку собственность и собственнический инстинкт являются фактором материальной культуры, здесь мы имеем объяснение одной из причин слабого развития этой последней в России. Но здесь же объяснение того, почему нигде как в России, мог с такою лёгкостью произойти столь глубокий социальный переворот и такая колоссальная имущественная встряска. Идея коммунизма с предварительной экспроприацией родилась на Западе, но только русская или в русских условиях сложившаяся психология могла отважиться на попытку осуществить эту идею и провести экспроприацию на деле. И русской же психологией объясняется то, что попытка эта встретила столь слабое сопротивление и экспроприированные классы так легко примирились со своею участью.

Прошло всего десять лет, и по всей России прокатилась новая, гораздо более грандиозная волна экспроприации в форме коллективизации деревни. Крестьянство оказало ей более сильное сопротивление, нежели в своё время высшие классы. Однако, это сопротивление было спорадическим, и в общем оно всё же было недостаточно сильным. Так же, как и в первом случае, когда экспроприация высших производилась в пользу массы низших, эта масса не посмела оказать решительного сопротивления, ибо также и в ней заговорила больная совесть.



Изба, в которой Д. П. Кончаловский с семьёй прожил четыре зимы (1918 — 1922 гг.)

ПИСЬМА К СЕСТРЕ
(1919 — 1921 гг.)

9 марта 1919 г. Москва.

Дорогая Вита,

Чуть ли не первый раз за эти годы войны и революции мне представляется случай писать тебе, не боясь никакой цензуры. И я хочу им воспользоваться, чтобы тебя mettre au courant нашей жизни, характер которой, я думаю, ты и не представляешь себе даже приблизительно. К тому состоянию, в котором мы находимся, мы пришли постепенно, и только так, конечно, можно к нему прийти, только так, благодаря этой постепенности, оно не представляется ужасом и оказывается даже выносимым, по крайней мере до последнего времени. Начать с того, что мы разорены в пух, как и все, кто имел средства, но не принимал каких-либо особых, хитрых и предусмотрительных мер, чтобы припрятать часть своего состояния на случай катастрофы, что сделали, конечно, люди деловые и благоразумные. Процентные бумаги, аннулированные, остались в банке и доходов не дают. С имения аренды не получается.

[...] Итак средств у нас никаких, кроме моего жалования, 800 рублей в месяц, ничтожного теперь, когда ржаная мука стоит 900 рублей пуд. Ещё с прошлого лета мы решили остаться на даче и хорошо сделали во всех отношениях. Дачи наших соседей, уехавших на зиму в Москву, ещё в прошлом октябре были объявлены национализированными, и местный волостной Совдеп сначала вывез из них всю мебель

и хозяйственные орудия, т. е. ограбил их, а затем учредил в одной из них богадельню для окрестных старух, которые ныне в числе 27 умирают там от голода и холода. Так наше присутствие спасло нашу дачу, и мы живём там до сих пор спокойно, хотя всю зиму находились под страхом возможного выселения. Но нас спасло то, что жизнь наша не имеет ни тени « буржуазности ». Все шестеро мы ютимся в моей избе из двух комнат (в большой даче зимою жить невозможно). Прислуги у нас нет, Зина — одновременно кухарка и прачка, Ваня — дворник, дровокол, истопник и водонос. Девочки — горничные, судомойки, коровницы. У меня тоже есть своя функция, о которой скажу потом. Квартиру в Москве мы оставили за собою, но вся моя семья вот уже скоро год, что находится на даче. Зина долго не решалась остаться в ней на зиму, несмотря на мои увещания, боялась снега, леса, холода и одиночества, но набег большевиков на соседние дачи и их конфискация, а также дороговизна и трудность жизни в Москве, сами собою решили этот вопрос. И до сих пор мы не раскаиваемся в такой участи. Конечно, жить трудно. Но за то дети целый день заняты либо здоровой физической работой, либо учением, которое мы оба стараемся поддерживать домашним способом, насколько это возможно.

[...] Частная торговля прекращена, магазины закрыты, на многих улицах вывески сняты и дома стоят ободранные; на местах, где раньше находились вывески, обнаружилась различная окраска домов. Это придаёт городу какой-то заброшенный вид, и мерзость запустения увеличивается ещё страшною грязью на улицах. Товарищи-дворники, получая жалованье до 400 рублей в месяц, улиц не убирают, а снега навалило массу, и у некоторых домов он лежит кучами выше человеческого роста. По тротуарам не ходят, а по мостовой, да и по ней в иных местах можно идти только между рельсами трамвая, который вот уже недели три остановился окончательно. Ночью улицы почти не освещаются, светят звёзды, луна, да окна домов. После 9-10 часов улицы вымирают, но всё же и поздно ночью ходить не боятся, потому что убийства и гра-

бежи, столь частые в прошлом году, теперь прекратились. Это не потому, чтобы убийц и грабителей стало меньше, а потому, что все они, особенно по провинции, заседают в Совдепах и на должностях Комиссаров. Я не шучу, а говорю вполне серьёзно. Да и кого теперь грабить?

Ты спросишь, как же мы живём, на какие средства, при этой дороговизне? Мы, в частности, продаём старую одежду и драгоценности, которые, к счастью, взяли из банка накануне Октябрьской революции. Цена возросла и на эти вещи, как на всё, хотя и не в такой пропорции. Если золото и бриллианты повысились в 20 раз, то картофель в 750, а мука в 900 или 1000 раз. Да и живём мы, как видишь, скромно, сократившись до минимума. Так с осени мы потребили всего фунтов 20 белой муки, а белого хлеба я не ел уже год. Каждую неделю я езжу в Москву на два-три дня, читать лекции, и всякий раз вожу с собою или вернее ношу на плечах вещи, всякий раз от пуда до двух. Так я перетаскал на дачу все тёплые вещи из Москвы, книги, посуду. Часто вожу с собой керосин. Вот в этом транспорте, который берёт много времени и сил, и заключается моя функция. В деревне тоже немало приходится ходить в розысках за продуктами. Недавно ходил на лыжах, за пять верст, с двумя корзинами, за спиной и на груди, а в корзинах бутылки с молоком, воткнутые в сено. Грузу фунтов 20, но идти трудно, снег рыхлый, подъёмы и спуски. Утомительно, зато здорóво и, кроме того, видишь природу так, как никогда не увидел бы, когда был барином. Жизнь эта тяжёлая, трудовая, но мы не теряем бодрости духа. Не теряем в особенности потому, что хотя многое разрушается хорошее, вместе с ним исчезает и многое дурное. В данном случае я имею в виду прежнюю привычку жить на готовом, не отдавая себе отчёта, как добывается, и чего стоит всякое наслаждение и всякое благо, которые мы так легко брали от жизни. Теперь мы переделываемся, и чем моложе сейчас человек, тем больше полезных уроков он может получить. Вопрос только в том, многие ли воспользуются ими. [...] Но нам предстоит ещё пережить самый острый период разрухи и голода. Сумеем

ли мы прокормиться, хватит ли остатков старых средств, чтобы преодолеть дороговизну, не знаю. Иногда становится страшно, когда думаешь о возможности ещё нескольких лет такой жизни. Но больше стараешься об этом не думать.

Не знаю, о чём продолжать это письмо. Тем — тьма, и писать хочется, а писать подряд не могу, всё отрывают какие-нибудь дела, и когда возвращаюсь к письму, забываю, что хотел сказать на ту или другую начатую тему. В настоящий момент меня заботит вопрос о полной остановке пассажирского движения из-за недостатка топлива и подвижного состава. Большевики надеются всё внимание обратить на товарное движение, подвезти в Москву достаточное количество продовольствия. Они его подвезут столько, что его, пожалуй, хватит, чтобы кормить привилегированные классы, т. е. рабочих, солдат и советских служащих, получающих особый паёк. Ну, а другие останутся при прежнем пайке и без мешочников, т. е. на краю голодной смерти. Ведь большевики только и держатся тем, что кормят солдат и рабочих. Кроме того, рабочие, которые у нас не пролетарии, а все имеют связи с деревней, получают добавочное питание от родных из деревни, а излишек продают по неимоверно высоким ценам, и потому сравнительно благоденствуют. Они требовательны, как никогда, и большевики их рабы, а интеллигенция и разорённые буржуи, не имеющие ничего, кроме жалования на советской службе, рабы большевиков. И всего интереснее то, что эта голодная интеллигенция есть единственное орудие, каким располагают большевики для проведения своих мероприятий, таким образом — начало организующее, тогда как рабочие, опора большевиков, только разрушители и дезорганизаторы. В советских учреждениях едва ли 2 или 3 % коммунистов. Всё остальное — бывшие адвокаты, учителя, журналисты, чиновники и просто интеллигенты, которых голод заставляет служить. [...] Бойкот, проводившийся было в начале после октябрьской революции, стал немыслим вследствие голода. Профессора университетов, при Кассо подававшие в отставку, из-за Мануйлова, теперь мирятся с самыми деспотическими и нелепыми мерами по отношению к

университетам. Точно так же и учителя средней школы.. Голод — вот секрет власти большевиков и порабощения России. [...] Прямо и не расскажешь тебе всего, с какими трудностями приходится бороться. И главная из всех, самая невыносимая, это вечная неопределённость, постоянная возможность какого-либо сюрприза каждый день. Зная Зину, ты можешь себе представить, как она измучилась и изнервничалась. Меня же война научила терпению и философскому взгляду на жизнь. Тогда мне казалось, что хуже положения быть не может, и я проклинал свою судьбу, по девять месяцев не видаясь с семьёй, но то, что происходит с нами теперь, хуже во сто раз, и я говорю себе, что, следовательно, бывают положения хуже даже нынешнего, и в таком предположении покорно принимаю испытания судьбы.

16 августа 1921 г. Москва.

Дорогая Виточка,

[...] Ты всё пишешь, что устаёшь и что некогда тебе собрать свои мысли. О, Виточка, не сердись, но я думаю, что твоя усталость ничто в сравнении с нашей, например, с таким днём, какой я провёл сегодня, чтобы получить паёк. И всё же я отдыхаю, садясь писать тебе, ибо вещи, о которых я намерен говорить, меня глубоко интересуют и они связаны с тем, что ты сама пишешь мне сегодня. Меня глубоко обрадовало твоё сообщение об отношении французов к нам, хотя я и боюсь верить тебе безраздельно, думая, что ты сталкиваешься лишь с особым разрядом французов, изучающих русский язык, т. е. этим самым свидетельствующим свой интерес и, может быть, даже известное уже предвзятое пристрастие к России. Но как бы то ни было, если бы в широких кругах общества проявлялась вражда или презрение к России ярко, это не могло бы ускользнуть от тебя. Значит, на этот счёт можно быть более или менее спокойным. Зато способность французов смотреть на Россию с более широкой точки зрения меня сильно обрадовала. Вера в будущее России очевидно не исчезает и на Западе, хотя для вас, быть может, она основывается более

на каких-то неопределённых представлениях из прошлого её быта и её проявлений, чем на опыте реальной действительности. Вот эта самая интересная сторона дела от вас, по необходимости, скрыта, ибо вы никаким усилием фантазии всё же не сможете представить себе всю сложность и часто как будто бы бессмысленность нашей жизни, её внешнего обихода. А между тем вся эта бессмысленность и сложность мне представляются полными глубокого смысла, как испытание и закал каждого и нас. И моя вера в наше будущее основывается именно на том, как многие из нас переносят это испытание.

В моей голове и душе эти четыре года революции создали целый переворот, и я думаю, что после первых же дней встречи и обмена взглядами ты бы не узнала меня. Иными глазами смотрю я теперь на всю жизнь, на историю, на Европу, прогресс, культуру, воспитание. Коротко говоря, я стал философом, и моя философия : в особенности стоицизм и цинизм (в научном смысле слова, конечно). Я вижу в жизни очень очень немногое, что имеет истинную ценность, большинство же того, что блестит и красуется на первом плане — ничтожество, прах, суета. Мои идеал — жизнь среди природы, в соединении физического и умственного труда, без чрезмерного напряжения, особенно в умственном труде. Моя мечта, если когда-нибудь вернутся средства хоть частью, делить моё время между Бретанью и русской деревней (предварительно только надо исходить пешком Италию). Но когда это будет? Останется ли к тому времени ещё физических сил?

Вопросами современности я занимаюсь много. В прошлом году я перевёл с английского много нашумевшую книгу Keynes'а « The economic consequences of the peace » и читал доклад о ней в историческом обществе. С тех пор я прочитал ряд книг и журнальных статей английских и французских, и ты напрасно думаешь, что я так уж неосведомлен о западной жизни. Мой вопрос относительно Польши вызван тем, что в прессе ей отводится порядочно места, и у меня сложилось впечатление, что ею французы намереваются подменить Россию в противовес Германии. Так говорит и Keynes, такое впечатление создали у меня

статьи еженедельного журнала L'Europe Nouvelle (кстати, знаешь-ли ты его?). Отводит Польше место также и Temps. Бедная же Россия, казалось мне, в прессе находится в забвении, что соответствует действиям и видам финансовых и политических кругов. Тогда как тот интерес к России, о котором говоришь ты, не исходит-ли преимущественно из кругов intellectuel'ей? Впрочем, морально *этот* интерес для меня, конечно, ценнее, нежели интерес финансистов и всякой политической сволочи.

17 августа 1921.

Дорогая Вита,

Я далеко ещё не всё сказал тебе во вчерашнем письме, что хотел. Ты пишешь, что мы плохо представляем себе положение Франции. Может быть. Но я как раз всегда придавал значение тому, на что ты указала, на потерю людьми, на этот повсеместный траур. Ты знаешь, Виточка, мой взгляд? Я думаю, что Франция победила только внешне, что внутренне она разбита и на ноги больше не встанет. Франция — великая страна своей культурой, Сезаном и Бергсоном, своим гением искусства и мысли. Но стремление играть роль великой державы, не имея на то физических сил, её погубило. Я предвижу только одну возможность спасения : это прочное прислонение к какой-нибудь могучей физической силе, которая не имела бы интереса слишком показывать Франции её зависимость и слабость. Такой силой я считал бы лучше всего Россию, но союз с нею возможен только через посредствующее звено — Германию. Континентальный союз Франция — Германия — Россия — Япония мог бы управлять всем миром и в то же время быть самодовлеющим и не бояться никакой блокады. Я думаю, в будущем осуществление его возможно.

10 октября 1921.

Дорогая моя Вита,

Сегодня я приехал в Москву и наш председатель домового Комитета вручил мне твоё письмо от 10-го

сентября. Ты не можешь себе представить, как обрадовался я ему. Дело не в какой-нибудь надежде на помощь от тебя, даже не в ободрении, нет, просто как будто бы струя свежего воздуха вдруг повеет и внесёт жизнь в наше существование. Твоё письмо всякий раз говорит мне, что где-то, хоть и далеко, есть действительно жизнь, та самая жизнь, какую вёл когда-то и я. И, в то же время, — странное противоречие! — я многим обязан всему тому, что пережил и перестрадал в эти годы. О, Виточка, дорогая, как всё это сложно и как трудно передаваемо! Сто лет прежней спокойной и обеспеченной жизни не дали бы мне того опыта, той способности ощущать реальную действительность, как один только год моей теперешней по внешности такой скудной событиями жизни. Сколько разнообразных самых противоположных чувств успевают перебурлить в сердце, если не каждый день, то каждую неделю! Какое знание людей, их действительной стоимости, ценности всего того, чем так богаты они на словах, что так охотно несут они тем, кого видят счастливыми и довольными! Не подумай, Виточка, что я больше всего чувствую обиду или злобу на людей, о нет, я научился также прощать и быть снисходительным, а главное не требовать для себя ничего, и поверь, что моя нынешняя жизнь мне вовсе не в тягость настолько, как это могло бы казаться иногда по тону моих предшествующих писем. Уже и с тех пор, со времени последнего моего письма к тебе, во мне произошёл окончательный перелом в отношении к людям и в отношении к судьбе моей собственной и моих близких... Но об этом после, как нибудь в другом письме, которое не заставит себя ждать. Ведь я и после моих двух первых писем часто порывался писать тебе ещё и ещё. Меня останавливала только неуверенность в том, как велики шансы на то, что они дойдут до тебя.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

Приспособление! В этом слове для советского человека, как лучи в фокусе, сходятся все нити, связывающие его с окружающей действительностью. Приспособление, сначала как бы в виде отдельных опытов, затем всё более и более массовое, началось с первых же дней после октябрьского переворота и продолжается доныне. Приспособлением создан « советский режим », приспособление представляет собою основную пружину существования советского человека. Сказать об этом человеке, что он есть « существо приспособляющееся » par excellence, значит дать довольно полную его характеристику. Приспособление совершалось и совершается во множестве разных форм и применительно к разнообразным условиям; в тисках советского режима и перед лицом советской власти позиция русских людей, в одиночку и группами, в учреждениях, учёных институтах, профессиональных организациях, есть сплошное и непрерывное приспособление. Приспособлялись ко всему: к военному коммунизму и НЭПу, к РСФСР и СССР, к домкомам и кооперативам, к уплотнениям и трудповинностям, к ликбезу, рабфакам и к демократизации вузов и науки, к ликвидации религии и к коллективизации, к « строительству социализма » и пятилеткам в четыре года, к непрерывке [1]) и уравниловке, к субботникам и соцсоревнованию, к чисткам, и каких ещё явлений и мероприятий не принесла с собою России большевистская « перманентная революция »...

Приспособление, как тактика и как жизненное

---

[1]) Непрерывная неделя.

содержание, представляет множество разновидностей и иногда трудно уловимых оттенков. Но в основном оно означает наружное, иногда старательно афишируемое « приятие » всего ниспосылаемого жизнью и сложную систему ухищрений в целях посильного претворения в жизнь всякой самой бессмысленной директивы власти и обеспечения себе во всех превратностях какой-то степени человеческого существования. Этой внешней позиции соответствует своеобразный внутренний психологический процесс, который в первые годы выражался в полном « неприятии » всей советской действительности, что наружно сопровождалось иронией, насмешками, шуточками и бесконечными анекдотами на злободневные политические и бытовые темы, но с течением времени и с успехами советской власти всё более превращался в атрофирование критики и собственного суждения, по крайней мере у наиболее обезличенной категории советских людей, так называемых « служащих ». Повторяю, из этого приспособления собственно и вышла новая Россия и её новая форма жизни, которая грозит при известных мировых условиях превратиться в новую стадию цивилизации. В её нынешней стадии эта форма представляет собою нечто двойственное. Одно в ней снаружи, другое внутри, одно для показа, другое для себя. Для человека, не пережившего постепенной реализации этой формы, её трудно себе представить умом и тем более ощутить чувством. Это особенно трудно для западного человека, незнакомого ни с русской действительностью, ни с русской национальной психологией, а эта психология, по-видимому, и явилась главным условием конкретной реализации этой новой формы жизни. Но если вся жизнь советских граждан в разных положениях и ролях, на разных ступенях социальной лестницы представляла собою приспособление, то смысл его, цели и результаты, а также моральная оценка, подобающая разным его видам, весьма разнообразны. Его крайними полюсами являются, с одной стороны, полный сервилизм ради карьеры и выгод с полным пожертвованием своих моральных принципов и личного достоинства, с другой же, во имя сохранения этих последних, почти полный отказ от собственной

творческой деятельности в условиях самого скудного материального существования.

Здесь перед нами целая проблема, от разрешения которой, быть может, зависят судьбы современной цивилизации : если утверждающаяся в России новая форма жизни создана приспособлением, и если, таким образом, советский режим, в конечном счёте, держится на психологии, то возникает вопрос : может ли эта психология сообщиться другим, свежим нациям, в силу чего большевизм вместе с нею распространится на весь мир? В этом именно ключ всей проблемы. С одной стороны, указанная мною двойственность психики есть типично русская черта, одно из проявлений пресловутой « полярности » русской души, о которой столько говорилось и писалось и русскими, и иностранцами. С другой стороны, эта психология может быть навязана силой, что мы уже видим в так называемых странах-сателлитах в восточной Европе. Ведь и в самой России, при всей гибкости русской души, эта психология вошла в обиход не мгновенно. Однако, по мере упрочения советского режима, она всё более становится его основой, причём соответствующее истинным чувствам отрицание режима прячется всё глубже, а показное его приятие афишируется всё циничнее и демонстративнее. Замечателен здесь ещё один момент : согласно официальной формуле, советский народ приемлет советскую власть и советский режим по доброй воле, твёрдому убеждению и с горячим энтузиазмом, а между тем в практике советской общественности наличие иной, совершенно противоположной психологии не только не отрицается, и не замалчивается, но, наоборот, постоянные рецидивы всякого рода « уклонов » и не советских настроений признаются как бы в порядке вещей и, конечно, вызывают против себя борьбу со стороны советской общественности. Последним таким случаем были разоблачения писаний Зощенки и Ахматовой, а также музыки Шостаковича, Прокофьева и других. В таких случаях, согласно давно установившемуся ритуалу, провинившиеся призываются к порядку; чаще всего они приносят торжественное публичное покаяние, и затем всё входит в обычную колею. Такая ситуация

показывает, что для того, чтобы форма держалась, искренней веры в неё не требуется, достаточно, чтобы форма соблюдалась, а вера исповедывалась устами. Вместе с Калигулой большевистские властители могут сказать : oderint dum metuant [1]).

Теперь, в 1948 году, с расстояния в тысячи верст положение в Советском Союзе кажется загадочным : судя по газетам, вся внешность прежняя, весь показ тот же, но кому ясна эта двойственность советской жизни, тот естественно задаётся вопросом, что думают про себя советские люди, на кого и на что возлагают свои надежды те из них, которые, по-прежнему приспособляясь к советскому режиму, остаются внутренне с ним несогласны и мечтают об освобождении. Выше я сказал, что, обманувшись в расчёте на внутреннюю эволюцию, которая естественным порядком выбросила бы из жизни « социализм », советские люди стали надеяться на избавление извне в связи с войной и военным поражением советской власти. Эта надежда разделялась не только интеллигенцией, но и всеми кто был мало-мальски сознательным в народной массе. Одно время в связи с военными конфликтами на Дальнем Востоке надежды эти возлагались на Японию, но в особенности они уточнились и кристаллизировались вокруг Гитлера вместе с восхождением его звезды и окончательно после провозглашения им антикоминтерновского пакта. С какими чувствами русский народ в своей массе встретил нападение Гитлера на Россию, как поверил он в то, что немецкая армия несёт с собою освобождение от советского режима, об этом красноречиво говорят общеизвестные факты в начале войны : дружелюбные, а порою и восторженные встречи немцев населением, а также массовые сдачи в плен солдат и их добровольные переходы на сторону врага. Какой небывалый, сам дававшийся в руки козырь был упущен Гитлером в его русской политике в этой войне. Но видно, Провидение, к которому он взывал в своих речах, обрекло и его, и нацистскую Германию на гибель. Когда через полгода после на-

---

[1]) Пусть ненавидят, лишь бы боялись.

чала войны нацистские планы порабощения России и возможно полного истребления её жителей стали ясны, отношение к немцам и со стороны населения, и со стороны солдат изменилось в корне, а *большевики силою вещей оказались в роли действительных спасителей отечества.* Эту роль всецело создал для них Гитлер. Неожиданно для себя они нажили огромный политический и патриотический капитал, но и теперь население принимало их только в их новой роли спасителей отечества, которая стала казаться началом их коренного перерождения: его симптомы во что бы то ни стало хотели видеть в новых демонстративных позах и жестах большевистских вождей, в их отношении к русскому военному прошлому, к православной церкви, к таким эмблемам как ордена и золотые погоны. В конце концов, при отсутствии действительных перемен, надежды стали возлагать на победоносную армию и её славных маршалов и генералов, ибо мыслимо ли было, чтобы эти новые народные герои потерпели над собой диктатуру Сталина и без борьбы уступили бы ему свои боевые лавры?

Вместе с победой и циническим отказом большевиков от рассчитанных специально на войну поз и жестов все эти надежды и ожидания населения должны были рухнуть. Открываются ли для него в этом отношении ещё какие-либо новые возможности теперь, в 1948 году, когда и Советский Союз, и весь мир стоят перед каким-то поворотным решением судьбы. Об этом, глядя со стороны, позволительно только догадываться; возможно ,что в массе своей советские люди более уже не питают никаких надежд: ведь старшие поколения частью ушли со сцены, частью изверились, а молодое поколение, ныне составляющее огромное большинство населения, не видев и не зная ничего, кроме революции, привыкло считать советский режим нормой и даже верхом всех доступных человечеству достижений. Соображение, что значительная часть этого поколения в рядах советской армии увидела Европу с её культурой, благоустройством, богатством и техникой, решающей роли не играет. Надо помнить, что факты, сами по себе, сохраняют силу аргумента лишь для ничтожной кучки самостоятельно

мыслящих людей, над предубеждением распропагандированной массы они не имеют никакой власти.

При всём том, в наших догадках о происходящем сейчас в Советском Союзе надо иметь в виду один знаменательный факт: более чем когда-либо в прошлом, железный занавес наглухо отделяет Советский Союз от прочего мира, и громче, чем когда-либо раньше, трубят газеты и радио против капиталистического окружения и во славу советского режима. А всё это означает, что и в нынешних условиях большевики прекрасно понимают, что их режим держится на определённой психологии населения, и все свои усилия направляют на то, чтобы эта психология попрежнему оставалась неизменной.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ МИР

ПОЛОЖЕНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОГО ПЕРЕВОРОТА

Большевики не сразу начали своё наступление на высшую школу. Первые годы, как отчасти и средняя школа, так и университеты существовали не только в сознании своей независимости от большевиков, но и в оппозиции к ним. Нередко на лекциях и на учёных собраниях по разным поводам, например при юбилеях или защитах диссертаций, из уст того или другого профессора можно было слышать ироническую, часто ядовитую критику общей политики советской власти, а иногда и резкие выпады против неё. Но ведь то было время, когда не только насмешки, но и брань по адресу нового режима свободно раздавались в публичных местах, в очередях, в трамваях, в железнодорожных вагонах. То было время — и оно длилось лет пять — когда многие, если не большинство, питали уверенность, что советская власть есть, хотя и страшный, но преходящий кошмар, что рано или поздно её падение неминуемо. Когда подумаешь, какая судьба ждала Россию в действительности, в какой всеобщий гнёт превратилась постепенно советская власть, то атмосфера сравнительной свободы в первые годы революции кажется чем-то невероятным.

Большевики не только потому не трогали высшую школу, что им было не до неё, что они были заняты другим. В представлении всего прогрессивного общества, самых широких кругов, затронутых либерализмом, идеальным воплощением высшей школы являлся Университет, а Университет в эпоху царизма был символом свободы, просвещения, гуманности, словом, всего того, что в ту эпоху подавлялось и что востор-

жествовало наконец теперь вместе с революцией. Университет в прошлом был насадителем революции в России, как же могла победившая революция тронуть свою alma mater?

Таким образом, в первые годы для университетов и высшей школы вообще наступила эра свободы. Широкая автономия была дана высшей школе уже Временным Правительством, и большевики, произведшие Октябрьскую революцию под лозунгом демократии и всяческих свобод, конечно не могли сразу посягнуть на эту автономию. И если они не оставили внутреннюю жизнь высшей школы без своего вмешательства, то это последнее было направлено на ещё большую демократизацию и ещё большее расширение автономии высшей школы.

Обе эти тенденции выразились в декрете 1 октября 1918 года об отмене образовательного ценза для преподавателей высших школ. Преподавать в них отныне мог всякий, выбранный советом факультета и университета. Это означало огромное расширение прав профессорской коллегии : теперь выходило так, что кого коллегия признает достаточно компетентным для преподавания, тот становится преподавателем, независимо от того, имеет ли он учёные степени и научные труды, кончил ли он даже высшую школу. Этой мере предшествовала другая — отмена всякого образовательного ценза для лиц, желающих поступить в высшую школу.

Эта мера означала скорей символический жест : провозглашение принципа, что высшее образование отныне открывается каждому гражданину социалистического государства. Реальный эффект этой меры был ничтожен, по крайней мере в столицах для уже существовавших высших учебных заведений. С зимы 1918 до лета 1919 года я читал лекции на Московских Высших Женских курсах, где состоял преподавателем с 1907 года и знаю, что ни у меня, ни у моих коллег никаких новых слушателей с улицы в аудиториях не появлялось. Но так как, в силу недавно декретированной отмены образовательного ценза, всякому давалось право поступать в высшую школу, то надо было дать и возможность осуществить это право.

7 октября 1918 года последовал декрет об открытии в провинциальных городах России новых высших учебных заведений. Здесь тоже проявилась общая тенденция к уравнению и к исправлению давнишних несправедливостей свергнутого режима : почему только жители столицы и крупнейших городских центров могли обучаться высшим наукам, сидя у себя дома? Почему жители небольших губернских городов были такой возможности лишены? Теперь каждый город получал такую возможность, лишь бы в нём нашлись научные силы, чтобы обслуживать местное население.

Уже к 1920/21 академическому году, т. е. к концу гражданской войны и значит в течение её хода, в России появился 151 новый вуз (как стали называть их отныне, сокращая их полное имя « высшее учебное заведение »). Если подумать о том, что в 1913 году в России существовало 97 университетов и разного рода специальных высших школ, то факт такого массового и внезапного рождения новых высших учебных заведений может показаться феерическим. Каким образом за четыре года жизни страны, наполненных гражданской войной, разрухой и голодом, могли появиться новые профессора и студенты, откуда взялись здания и оборудование для такого количества высших школ с их библиотеками, лабораториями, институтами, клиниками и т. д.?

В действительности, за громкими названиями скрывались очень скромные факты. Благодаря вышеупомянутому декрету 1 октября 1918 года профессором мог сделаться всякий, кого признает достойным профессорская коллегия вуза. Профессорами делались теперь не только так называемые младшие преподаватели университетов, т. е. приват-доценты, ассистенты, лаборанты, оставленные при университете для подготовления к профессорскому званию, но и простые учителя гимназий, авторы популярных брошюр и даже лица, ничем не зарекомендовавшие себя в науке или популяризации, а лишь известные кому-либо из профессоров в качестве людей толковых и имеющих какие-либо специальные познания и могущие сообщить их новым « студентам ». Был найден также способ восполнить недостаток преподавателей высших школ.

Один и тот же профессор, проживавший например в Москве, ангажировался сразу в один, два или даже три провинциальных вуза, оставаясь одновременно профессором своего коренного учебного заведения в Москве, где он преподавал уже многие годы.

Профессора, преподававшие одновременно в вузах разных городов, должны были прибегать к хитрым комбинациям времени и учебных планов, чтобы успевать прочитывать группы или циклы лекций в разных городах. Такой профессор становился настоящим странствующим лектором. Приезжая на месяц, две недели или даже на неделю в какой-либо город, он прочитывал залпом часть своего курса, а затем возвращался в Москву или другой город, где проделывалась та же процедура. Правильное распределение учебного материала при таких условиях, конечно, было невозможно, но иного выхода не было, и такая система преподавания в высшей школе надолго укоренилась в Советской России, она полностью не прекратилась даже в последние годы перед войной.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

Рассказ о возникновении, организации и первых шагах деятельности провинциальных университетов, открывавшихся в те первые годы, последовавшие за декретом, мог бы составить интересную главу истории культуры, быта и психологии старой русской интеллигенции, попавшей в водоворот революции и пытавшейся найти себе временное пристанище, чтобы пережить бурю, и затем вернуться к какому-то нормальному существованию. Я говорю, конечно, об интеллигенции, занимавшейся не политикой, а культурничеством, считавшей, что она при всех режимах может и должна выполнять свою культурную миссию, распространять знание и просвещение и этим способствовать прогрессу. А прогресс, как известно, это вещь сама себе довлеющая, и одним фактом своего существования он уничтожает всякое мракобесие, а потому уничтожит и большевиков. Таким образом, академическая интеллигенция с чистой совестью шла работать во вновь открываемых советской властью университетах в полной уверенности, что, распространяя просвещение, она в конечном счёте подрывает позиции большевиков.

В этом явлении массового открытия новых провинциальных университетов была ещё и другая, бытовая сторона. Я думаю, что в широком, часто фантастическом развёртывании « культурно-просветительной » деятельности, в том числе и в основании новых университетов, у Луначарского и его сотрудников по Наркомпросу играло не малую роль желание дать какие-то жизненные возможности научным работникам и всему культурному слою общества, оказавшимся

в трагическом положении. Это подсказывалось, может быть, даже не столько человеколюбием, сколько соображениями престижа. Ведь такие факты, как смерть от голода замечательного философа и публициста, В. В. Розанова, хотя и реакционера, были не на пользу моральному весу нового режима. Этим объясняется то, что при всех трудностях большевиков в те годы гражданской войны, разрухи и голода для новых вузов находились какие-то средства и возможности. Было ясно, что дело это должно быть обеспечено материально и будет обеспечено, и что, следовательно, участвуя в нём, можно будет каким-то образом устроить своё существование, вместе с семьёй. В этом отношении особенно была соблазнительна провинция и как раз хлебородные и земледельческие губернии.

Именно под действием такого соблазна вступил я в число преподавателей одного из таких университетов. Произошло это очень просто. Однажды утром меня вызвал к телефону мой старый университетский товарищ И. М. Херасков, бывший политический ссыльный и затем эмигрант, после революции вернувшийся в Россию [1]). Он предложил мне продать часть моей библиотеки вновь открытому тогда — это было летом 1919 года — Смоленскому университету, профессором которого он уже состоял. Состояние моих финансов в то время было весьма плачевное : деньги падали с катастрофической быстротой, цены росли, продукты были редки и продавались из-под полы. Семья моя уже с осени 1918 года окончательно поселилась в деревне, я жил в городе, наезжая к ней от времени до времени. Мне нужны были деньги для семьи, чтобы сделать необходимые запасы муки на зиму, чтобы купить корову. Таким образом я согласился продать часть моей исторической библиотеки, книги по средневековой и новой истории, древность же я оставил себе, так как моя специальность была история

---

[1]) И. М. Херасков — русский революционный деятель. Эмигрировал во Францию в 1910 г., бежав из сибирской ссылки. Вернулся в Россию в 1918 г. и опять, окончательно, её покинул в 1919 г. Во Франции печатался в « Последних Новостях », « Современных Записках » и в 1946 г. принимал участие в издании « Российского Демократа ».

Рима. Я с лёгким сердцем расставался с ценными книгами, которые собирал в течение 15 предшествующих лет по вопросам, которыми занимался специально в связи с моим магистерским экзаменом. Ведь я был уверен, что советской власти придёт скоро конец, в то время на всех фронтах гражданской войны велось сильное наступление на большевиков. Я помню, что за библиотеку приблизительно в 500 томов, частью в прекрасных переплётах, я получил 19.000 рублей керенками.

Но продажей книг дело не ограничилось. Херасков тут же подал мне идею вступить в число преподавателей университета. « Мы тебя изберём профессором на следующем же заседании совета; в твоём избрании сомнений быть не может ». Действительно, профессорами университета состояли либо бывшие мои товарищи по университету, либо лица, знавшие меня понаслышке. Почти все они были питомцами Московского Университета, историки, в разное время оставленные при университете для подготовления к профессорскому званию.

Приглашая меня приобщиться к Смоленскому Университету, Херасков нарисовал мне перспективы не столько будущей просветительной деятельности университета, сколько тех земных благ, которые сулило мне участие в этой деятельности. Профессора имеют при университете общежитие, которое кормит их сытными обедами. В Смоленске имеется рынок, куда приезжают окрестные крестьяне с продуктами по ценам, неизмеримо более дешёвым, нежели московские. Так как часть профессоров в Смоленске не живёт, но периодически приезжает из Москвы, то у университета есть свой « университетский вагон », курсирующий в составе пассажирского поезда раз в неделю туда и обратно. Таким образом из Смоленска можно будет безопасно провозить продукты в Москву для семьи.

Всё это были аргументы неотразимые : я поставил свою кандидатуру и был немедленно избран.

Под университет было отведено здание бывшего Женского Епархиального училища, т. е. средней шко-

лы для дочерей духовных лиц, которые не только обучались в ней, но и воспитывались, живя в интернате школы. Конечно, в 1919 году « епархиалочек » в школе давно уже и след простыл. Здание было большое, трёхэтажное, солидной стройки времён Александра II, судя по стилю. Внутри — широкие коридоры и большие комнаты, бывшие классные или дортуары. Целый этаж был отведён под библиотеку, составившуюся частью из купленных, вроде моей, в основном же из библиотек помещичьих усадеб Смоленской губернии. Уже в первом году существования Университета его библиотекарь М. А. Цявловский, насчитывал в ней более 250.000 томов. Профессорам была предоставлена возможность устраивать для своих будущих семинарских занятий особые « кабинеты », выбирая из фундаментальной библиотеки специальные книги.

Когда я в качестве вновь избранного профессора приехал в Смоленск, я нашёл там целую плеяду коллег, половина из которых были мои товарищи по Московскому Университету. Но среди этой группы числился профессором также некий Егоров, молодой человек лет 28-30, специальности которого никто из нас толком не знал, равно как и научного стажа. Говорили только, что он коммунист, имеет заслуги в гражданской войне; вид у него был действительно решительный, а его жена, неизменно носившая красный платок на голове, завязанный на затылке узлом, своей свирепой внешностью напоминала знаменитых мегер французской революции. Профессор Егоров всегда молчал, но, я думаю, его закулисные действия сыграли не малую роль в той буре, которая вскоре разразилась над нашей профессорской группой, и о которой я вкратце скажу ниже.

Из остальных пятнадцати профессоров нашего факультета общественных наук только два имели учёную степень доктора, один был магистрантом, т. е. выдержал магистерский экзамен, но не защищал ещё диссертации. Остальные двенадцать не имели никаких степеней, но почти все были авторами популярных статей, брошюр и книжек и состояли преподавателями московских гимназий. Были ещё двое, тоже преподаватели, которые однако не имели никаких печатных

« трудов » и производили впечатление людей весьма легковесных в смысле знаний.

Попал я в Смоленск летом, а в это время в русских школах бывают каникулы. Тем не менее в Университете кое-какие лекции читались, и я прочёл одну, вступительную к предполагавшемуся мною курсу древней истории.

На этой лекции я получил некоторое представление о составе « студентов » нового Университета, студентов, от которых, согласно новым порядкам, уже не требовалось образовательного ценза. Большинство состояло из совсем зелёной молодежи, девушек и юношей, по-видимому недоучившихся в средней школе; было несколько пожилых провинциальных интеллигентов, довольно серых. Но ни рабочих, ни рабочей молодёжи на лекции не было. Хотя большевики и держались убеждения, что весь народ имеет право на высшее образование и оно нужно ему, но сам-то народ, к счастью, вовсе не ощущает такой потребности.

Это была моя первая и последняя лекция в Смоленском Университете. Вскоре над его профессурой разразилась « история », которая выкинула меня из её состава.

При здании Университета был обширный двор, окружённый по-провинциальному деревянным забором; тенистые деревья делали этот двор похожим на сад. По краям двора стояли службы, сараи и деревянный двухэтажный флигель, где находились общежитие и столовая профессоров и квартиры тех из них, которые уже обосновались в Смоленске на постоянное жительство. Погода стояла самая летняя, окружение было спокойное, мирное, захолустное, почти деревенское. Мы, профессора, благоденствовали; каждый день два раза мы собирались в столовой к обеду и ужину, некоторые вместе с жёнами и детьми. Некоторые из нас чувствовали себя тем более хорошо, что перед тем пережили полуголодную зиму в Москве. За столом и после него велись бесконечные разговоры, большею частью политические и явно контрреволюционные. Тогда ещё не было « осведомителей », а профессора-коммунисты к нашей компании не принадлежали.

Собирались также во дворе под деревьями, совершали прогулки вокруг кремлёвских стен или за город. Иногда встречались вдвоём или втроём в помещении « кабинетов » и вели беседы на научные темы. Интересовали нас также наши ближайшие академические дела, предстоящие выборы ректора и установление режима университета в рамках широкой автономии и, как нам казалось, широкой самостоятельности профессорской корпорации. Эта беспечность и благодушие были так характерны для нас, русских интеллигентов, напитанных историей, экономикой и политикой, но исключительно в отвлечённости, в книжном преломлении, в полном разрыве с жизнью; а между тем эта жизнь развёртывалась вокруг нас и красноречиво говорила о себе. Мы собирались строить нашу местную университетскую автономию, выбирать « своего » ректора, а между тем вокруг нас кипела гражданская война, в городе свирепствовала Чека, по ночам слышались ружейные залпы, а затем днём рассказывали о всё новых и новых массовых расстрелах. Но наше интеллигентское оптимистическое воображение глядело мимо всех этих фактов в ту историческую перспективу, которая сложилась в наших головах давно и в силу которой этот уж слишком затянувшийся большевистский эпизод близится к концу, вслед за чем наступит период буржуазной демократии в России.

Выше я говорил уже, что вначале большевики расширили университетскую автономию, внеся в неё, впрочем, не только демократический, но и демагогический дух. Так называемые « младшие преподаватели » были уравнены в правах со старшими, т. е. со штатными профессорами, которые прежде одни заседали в Советах университета и факультетов, одни выбирали ректора и деканов, словом, одни правили университетами. Теперь в эти коллегиальные административные органы вузов были введены не только младшие преподаватели, но и делегаты от низшего служебного персонала, т. е. от служащих канцелярии, швейцаров, сторожей, уборщиков и уборщиц, служителей в лабораториях, анатомическом театре, от сестёр

милосердия и сиделок в клиниках и т. д. Они получили теперь название « технических служащих », что должно было повысить их социальный ранг. Никакого отношения к науке они не имели, никакого участия в управлении университетом принимать не могли в силу просто своей некомпетентности. Но политика большевиков принципиально преследовала разжигание « классовой розни » всюду, где существовала хоть тень различия интересов, начальничества и субординации. Профессура, также и либеральная, представляла собою интеллигенцию, которая кормилась у буржуазии и ей прислуживала, следовательно необходимо было вооружить против неё низший служебный персонал как угнетённый и эксплоатируемый существующим режимом высшей школы. Эта политика причиняла немало хлопот и неприятностей как администрации автономного университета, так и отдельным профессорам, которым постоянно приходилось сталкиваться с неумеренными, необоснованными и часто совершенно нелепыми требованиями низшего служебного персонала.

Тем не менее до осени 1921 года автономия всё же оставалась автономией. В Московском Университете, как и повсюду, существовали выборные деканы и ректор; профессора подлежали выбору профессорскими коллегиями; программы составлялись свободно, никакого контроля над тенденцией читаемых курсов не было. По-прежнему в позиции профессуры в отношении большевиков, будь то органы советской власти или отдельные лица, проявлялся дух фронды, у одних резкий, у других более или менее скрытый. Этот дух фронды, господствовавший, в общем, между 1917 и 1920 годами, объясняется легко. Большевики ещё продолжали бороться за свою власть, и исход этой борьбы был ещё далеко не ясен. Им было ещё некогда заняться университетами вплотную, да и той решимости и уверенности в себе, какие дала им вскоре победа, в то время у них ещё не было. Материальное положение профессоров было к тому же ужасно, но в этом отношении советская власть ещё не успела поставить их во всецелую зависимость от себя, как впоследствии, когда был введен академический паёк,

и сытость или голод для каждого профессора и его семьи стали в зависимость от его выдачи советской властью. В первые годы научные работники зависели от себя самих и устраивались, как могли; большинство, не приспособленное к жизни, жило продажами своих вещей, платья, золотых безделушек, посуды и даже мебели. Нужда заставила некоторых отказаться от прежних предрассудков своего общественного положения. Профессор Р. Ю. Виппер открыл на Никитской книжную лавку, конечно, преимущественно старых книг, и сам почти целый день сидел за прилавком с видом букиниста-философа. Жена профессора Д. Н. Егорова, моего ближайшего товарища по университету, тоже занялась скупкой и перепродажей, но уже не книг (что до известной стемени было академично), а носильного платья и всякой домашней рухляди. Она по целым дням сидела на Смоленском рынке, где многие из бывших « дам » тоже заделались торговками.

С воспоминаниями тех годов у меня всегда ассоциируется картина общего собрания всех работников университета, профессоров и служащих, устроенного в канун 1921 грода тогдашним ректором Университета, ещё по избранию, Новиковым. Собрание было очень многолюдно, так как заранее было известно, что собравшимся будет предложен чай с сахаром и разными сладкими изделиями из белой муки, а также бутерброды. На собрании произносились речи оппозиционные. Из ораторов я помню Кизеветтера [1]), говорившего, как всегда, горячо и прямо, а также Савина [2]), в словах которого чувствовалась уже некоторая неуверенность в прежней позиции непримиримости и признание каких-то положительных моментов на противной стороне. Однако, общий тон был твёрдый и несколько боевой не в смысле политической оппозиции, а в смысле сознания святости и нерушимости академической автономии и свободы науки. Речи выслушивались с интересом, но ещё больше внимания отдавалось расставленным на столах яствам. Я и теперь вижу истощённые лица старых профессоров, которые с

1) А. А. Кизеветтер — историк, выслан из России в 1922 г.
2) А. Н. Савин — историк.

какою-то болезненною жадностью набрасывались на бутерброды и булочки и жевали их трясущейся челюстью.

Говоря об академической свободе, существовавшей в те первые годы революции, надо иметь в виду, что степень её, конечно, не была одинакова для такого старого и авторитетного учреждения, каким был Московский Университет, старейший в России, прославленный рассадник просвещения, и для какого-нибудь нового, только ещё организуемого университета в провинциальном городе, например Смоленского. История, разыгравшаяся в нём летом 1919 года, ясно показывает пределы этой автономии. Эту историю я знаю, как её участник и одна из жертв. Она очень проста и не сложна. В совете профессоров большинство составляла группа научных работников, к которой принадлежал и я и о которой я уже говорил выше. В заседании совета Университета мы выбрали ректором некоего А. М. Васютинского, принадлежавшего к нашей группе, хотя и социалиста, лояльного в отношении большевиков и сочувствовавшего Октябрьской революции, однако беспартийного, представлявшего, в общем, тип « культурника », а не активиста. Деканом Факультета Общественных Наук мы избрали тоже члена нашей группы Н. М. Никольского, бывшего когда-то большевиком, но совершенно отошедшего от политики, человека сходного типа с Васютинским, однако с гораздо большим научным весом.

Действия наши были во всех отношениях вполне невинны, однако они вызвали протест в Отделе Народного Образования Смоленского Совета и через него в Наркомпросе. Причиною этого были вовсе не самые выборы. Тревогу возбудил тот дух, в котором они были произведены, речи, которыми сопровождались, и наконец, безотносительно к выборам, манера себя держать и общий habitus некоторых профессоров, в том числе и меня. Говоря об университетском уставе, я сослался на какую-то статью регламента Петра Великого. Как можно было устанавливать какую-либо преемственную связь между нынешним режимом, даже в академической области, и эпохой царизма вообще, а тем более такого деспота как Пётр. Тогда ведь он ещё

не был у большевиков в чести, как стал впоследствии. Но ещё хуже было то, что лиц, участвовавших в заседании совета, мне незнакомых, я называл, обращаясь к ним или упоминая их, не титулом « товарищ », уже ставшим обязательным, особенно в публичных выступлениях, а старым титулом « господин ». Я называл так всех незнакомых мне лиц и в том числе одного из профессоров, некоего Мясникова, крупного коммуниста, состоявшего членом ЦИКа Московского Совета Депутатов. Такое обращение, конечно, должно было быть принято как вызов не лицам, а новому режиму, ибо оно показывало, что, если я не считаю для себя обязательными введённые им новые формы обращения, то значит я не верю в его прочность и не скрываю этого моего неверия. Моё поведение, однако, вовсе не имело такого контрреволюционного смысла. Я просто напросто не привык вращаться в обществе « товарищей », и мне было странно переходить на их формы обращения. В наших университетских заседаниях в Москве мы были все знакомы между собой и называли друг друга по имени и отчеству; слово « товарищ » произносилось всегда с иронией в применении к большевикам.

Однако, дело здесь шло не обо мне одном. В нашей академической группе выделялись несколько человек, которые не должны были нравиться причастным к Университету большевикам своим общим поведением, откровенными разговорами, шутками, всей своей повадкой, что в совокупности изобличало установку, по меньшей мере совершенно чуждую большевикам. И вот, под предлогом неправильно произведённых выборов ректора, против нашей профессорской группы были мобилизованы те силы, которыми они располагали для проведения *своих* планов при наличии университетской автономии, но о существовании которых мы даже и не подозревали. Таким образом в жизни нашего Университета произошёл некий coup d'état. Для проведения его из Москвы прибыли Мясников и профессор фон-Рейснер, известный своей революционностью ещё при царском режиме и в те времена очень популярный критик царского правительства и администрации, защитник свободы. Теперь этот самый

Рейснер стал одним из главных агентов подавления свободы в стенах Смоленского Университета.

Самым наивным образом наша академическая группа считала себя хозяином положения в Университете: ведь мы были в большинстве, а принцип академической автономии представлялся нам незыблемым. Каково же было наше изумление и потрясение, когда зал заседания один за другим стали наполнять какие-то никогда не виданные нами лица: это были члены Городского Совета Депутатов и особенно члены Отдела Народного Образования, которые в силу каких-то параграфов Положения об Университете, до тех пор не бывших никому известными, оказывались членами совета профессоров от общественных организаций, имеющими полное право голоса.

Таким образом нам быстро свернули шею. Сопротивление оказалось совершенно бесполезно, несмотря на оппозиционные выступления некоторых ораторов. Передо мною и сейчас стоит эффектная фигура Николая Леонтьевича Бродского [1]), когда он, гордо закинув голову назад, закончил свою резкую критику действий наших противников фразой: «Под хлыстом мы работать не будем» и вышел из зала. Речь произвела впечатление также и на большевиков, но поведения их не изменила, так же как и настоящая истерика с нервными рыданиями, в которую впал Никольский, отказавшийся сам от должности декана. Рейснер ласково успокаивал Никольского. А затем было «выбрано» своё правление и свой ректор — некий Серёжников, бывший когда-то присяжным поверенным, теперь ставший профессором и вскоре показавший себя законченным типом чиновника-бюрократа, настоящим чеховским «Человеком в футляре». А вскоре затем новое правление вынесло постановление об удалении из Университета пяти профессоров «за буржуазный образ мыслей». В этой группе находился и я; остальные были В. Н. Дьяков, Б. И. Кулаков; кто были ещё двое, в точности не помню; кажется, В. Н. Перцев и В. И. Пичета.

---

[1]) Литературовед.

О моём исключении из Университета я жалел тогда главным образом с продовольственной точки зрения : я лишался возможности часто ездить в Смоленск в университетском вагоне, чтобы покупать на тамошнем рынке продукты по более дешёвой цене, чем в Москве. В совершенно невообразимых условиях транспорта того периода для университетов был установлен режим привилегий и изъятий. Каждую неделю между Москвой и университетским городом, в составе пассажирского поезда, курсировал вагон, пользовавшийся иммунитетом. В то время как масса пассажиров, метавшихся по всей России в поисках за продовольствием, должна была ездить в битком набитых, большею частью нетопленных, лишённых освещения вагонах, на площадках и даже на крышах, профессора могли с комфортом располагаться в спальном вагоне 3-го класса без всякой тесноты, с чайниками и даже самоварами, а ночью спать на целой банкетке, положив под себя шубу и накрывшись одеялом, потому что багажа можно было везти сколько угодно. Главное же преимущество заключалось в том, что на обратном пути в Москву можно было везти с собою купленные на местном рынке продукты : крупы, муку, хлеб, масло, сало для своих родных и знакомых. Провозить эти продукты обычным способом в пассажирских поездах было почти невозможно по причине заградительных отрядов, которые забирали эти продукты у частных лиц под предлогом борьбы со спекуляцией. Эти отряды покушались, конечно, и на « университетский вагон », однако действия их были здесь не так решительны, а « коменданту » вагона при известной энергии часто удавалось предотвратить вторжение такого отряда и угрозу конфискации продуктов. Впрочем с помощью моих университетских друзей, оставшихся в Смоленске, эту возможность удалось восстановить. Мне посоветовали предпринять хлопоты о моём восстановлении в Смоленске, что давало мне повод ездить туда для переговоров с ректором и Отделом Народного Образования. Таким образом я получил возможность ещё несколько раз съездить в Смоленск.

УПРАЗДНЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ АВТОНОМИИ

Вся эта смоленская история показывает, что и при либеральном режиме высшей школы в первые годы революции большевики всегда имели возможность в нужных им случаях провести свою волю, невзирая ни на какие « автономии ». Однако настоящая ломка высшей школы, уничтожение не только сущности, но и внешних, юридических форм её самостоятельности начались после 1920 года, когда гражданская война окончилась и большевики могли чувствовать себя полными хозяевами положения.

Этот перелом связывается в моём сознании с одним личным воспоминанием. В те первые годы, когда среди общих бедствий — гражданской войны, голодовки, террора — университет вёл тихое и сравнительно спокойное и свободное существование, я, по воле расписания лекций, часто встречался в профессорской здания Высших Женских Курсов на Девичьем Поле с двумя лицами академического мира. То были профессора Болеслав Корнелиевич Млодзеевский и Вячеслав Вячеславович Кубицкий. Первый был весьма известный, крупнейший математик, человек много старше меня. Второй — философ, мой бывший товарищ по университету. Часы наших лекций совпадали, и мы сходились в профессорской в междулекционные перерывы. С первых же наших встреч у нас завязался общий разговор, конечно, на политическую злобу дня. Эти периодические еженедельные встречи составили как бы одну беседу, растянувшуюся на целый академический год. Главная роль в ней принадлежала мне, как историку. Математик и философ больше ставили

вопросы и подавали свои реплики. Эти встречи вызвали во мне глубокую симпатию к Млодзеевскому, которого я до тех пор не знал лично, но о котором много слышал ещё быв студентом. Повидимому симпатия была взаимная, ибо Млодзеевский в конце года пригласил меня к себе. Тогдашняя неустроенная и трудная жизнь помешала мне воспользоваться его приглашением, и я всегда потом жалел об этом : Млодзеевский представлял тип человека, на мой взгляд, самый ценный : он соединял учёность и ум с необычайной скромностью и простотой; он откровенно высказывался перед человеком и интересовался его мыслями, невзирая на его учёные титулы и общественное положение. В наших беседах нас интересовали события, переживаемые Россией, и их исход. В то время я судил о всём происходившем с точки зрения ожидаемого мною желанного для меня результата и, следовательно, был оптимистичен. Быть может, это и нравилось Млодзеевскому. Как бы то ни было, всех нас троих во время наших встреч объединяло общее чувство полной непримиримости в отношении большевиков. Тем более поразили меня слова Кубицкого, сказанные им после того, как стало известно о мире, заключённом с Польшей в Риге : « Ну, теперь придётся переменить свою позицию ». « Что вы хотите этим сказать? » спросил я. « Нам ничего другого не остаётся, как работать с большевиками ».

Мне не удалось разубедить Кубицкого в его мнении о возможности для нас работать с большевиками, и разговор наш кончился ничем.

Но читатель, быть может, спросит : что значили эти слова « работать с большевиками »? Ведь мы же работали с ними, фактически признавали их власть и их способы управления страною, мы в анкетах на вопрос : Ваше отношение к Советской власти? отвечали « лояльное », мы не протестовали ни против одной их меры в учебных делах университета. Но в то же время во всём, что зависело от нас, в активных наших проявлениях, в содержании наших курсов, в нашей тактике « пассивности » в отношении всякой большевисткой инициативы, которая была рассчитана не на пассивное отношение, а на активную поддержку и

даже энтузиазм, во всём этом наша позиция была не только критическая, но и враждебная, и таким образом мы не «работали с большевиками». Мы работали для дела, для молодёжи, для страны, для нашей науки, считая всё это необходимым при всяких режимах. Работать же с ними значило с полным чиновничьим усердием проводить все их мероприятия и директивы, внося в это исполнение всё своё усердие, свой технический опыт и знания, т. е. давая большевикам то, чего у них не было, помогая им реализовать их с нашей точки зрения нелепые, дикие и вредные планы. Таким именно исполнителем сделался вскоре Кубицкий. Философ по специальности, Кубицкий в прошлом никогда не был ни администратором, ни общественным деятелем, даже в узком кругу академической жизни. Тяжеловесный, медлительный, с тягучей и невнятной речью, он производил впечатление человека далёкого от жизни и практики, впечатление теоретика и к тому же тяжелодума. В чужую душу не влезешь, и Бог знает, какими соображениями руководился он, избирая свою новую позицию. Но мне не кажется, чтобы он вдруг «уверовал», что большевизм есть единственный путь, возможный для России. Если бы это было так, у него не было бы такого смущённого вида, имея дело со своими старыми товарищами и единомышленниками. А впрочем, суди его Господь! Нынче он уже давно лежит в могиле. Справедливость требует сказать, что во всех случаях, когда он, в качестве члена Правления Университета, мог быть чем-либо полезен своим старым товарищам и, в частности, мне, он всегда с готовностью делал всё, что от него зависело.

К сожалению, я не могу описать здесь точно и последовательно весь ряд событий и мероприятий большевиков, в результате которых университетская автономия была полностью уничтожена и высшая школа подчинена такому безусловному и полному контролю правительства, такой сложной системе полицейского надзора, каких Россия не знала в худшие времена реакции при царизме, и каких, конечно, не существовало и не существует нигде в мире. Я думаю, что такое историческое описание вообще едва ли возможно

и едва ли когда-либо будет кем-либо сделано. Ибо для этого официальных документов недостаточно. Они представляют только хронологические даты и скелет правительственной политики. Процесс постепенного воплощения её в жизнь мог бы быть воссоздан только рассказом её участников как свидетельскими показаниями, так и объективным протоколом событий. Таких рассказов, думается мне, не существует. Если участники или наблюдатели советской жизни и вели записи событий в форме дневников (что было в высшей степени рискованно), то мало шансов, чтобы эти записи сохранились. Лично я не вёл своего дневника; описывать события в моём антибольшевистском преломлении было опасно в случае обыска, который был всегда возможен : риск был в данном случае не только для меня, но и для лиц, которых я упоминал бы в моём рассказе. Но если бы я даже вёл такой дневник, в тех передрягах, которые мне пришлось пережить в связи с последней войною, этот дневник не уцелел бы : ведь те несколько тетрадей, которые я написал уже во время оккупации России немцами, погибли.

Было совершенно естественно — и мы, работники университета, ясно понимали и ощущали это — что прежний более или менее свободный режим высшей школы держался лишь до тех пор, пока большевики заняты борьбой за собственное существование. Исход этой борьбы должен был определить также и судьбу университетов. Это было ясно для каждого из нас. Но самый исход не был ясен. Не даром говорится, что утопающий хватается за соломинку; так и погасавшая надежда находила в окружающем мире факты и явления, игравшие роль такой соломинки. То были факты и явления, во-первых, международные. Победа большевизма в гражданской войне вводит в международную жизнь явление чужеродное, чудовищное, с которым мир не может мириться и, следовательно, так или иначе возникнет такая международная ситуация, которая ликвидирует советский режим в России. Многие, можно сказать, жили этой надеждой. Сначала она возлагалась на Германию. Особенно ярким сторонником этой версии был мой товарищ Д. Н. Егоров. « Да, — говорил он мне, — вот вы увидите, Дмитрий Петрович,

как-нибудь мы с вами проснёмся, а у церкви Успенья на Могильцах, между нашими квартирами, стоит шуцман». И подумать только, что подобные вещи мог говорить серьёзный учёный, автор огромного исследования «Колонизация Мекленбурга в XIII веке» из двух объёмистых томов, стяжавшего автору известность в Германии и переведённого на немецкий язык. Бедный Егоров жестоко поплатился за свои надежды и погиб в ссылке [1]). Лично мне казалось, что советский режим должен потерпеть крушение на своей внутренней экономической политике; мне казалось, что «большевики рубят сук, на котором сидят», что они ведут страну к истощению и гибели, а вместе с тем готовят гибель и себе. Рассуждая с прежних точек зрения, я был совершенно прав, но вовсе не оригинален; так думали многие, знавшие политическую экономию гораздо лучше меня; но все мы не учли одной возможности, ибо её ещё не было дано в опыте истории человечества, возможности такой ситуации, при которой фактор экономический целиком подчиняется фактору политическому и идеологическому. Были однако среди профессоров лица, которые с каким-то удивительным чутьём реальности провидели будущее. Профессор М. М. Богословский, настоящий консерватор, видевший в февральской революции начало катастрофы России, в ответ на оптимистические ожидания Егорова, говорил ему: «Эх, Дмитрий Николаевич, я умру и вы умрёте, а большевики всё ещё будут властвовать над Россией».

Таковы были настроения и надежды, которые отвлекали нас от действительности и облегчали нам наше компромиссное и попустительское отношение к тем мероприятиям и явлениям академической жизни, с которыми не могли мириться ни здравый смысл, ни человеческое достоинство, ни научная совесть. Сколько я помню, вторжения в нашу прежнюю самостоятельность происходили исподволь, постепенно. В новых общих условиях жизни, мы в нашей академической

---

[1]) Позже, когда начали обостряться отношения с Японией, стали возлагать надежды на эту последнюю. (Примечание автора).

среде чувствовали себя дома, среди своих. Принцип выборности преподавателей, казалось нам, обеспечивал нас от чуждых элементов. И вот однажды появилась первая ласточка — назначенный в нашу историческую группу Общественного факультета новый преподаватель, некий « Гойхбарг ». Я помню, с какой иронией и омерзением повторялось это имя на заседаниях нашей исторической группы. « Гойхбарг » — первый преподаватель в нашей среде, назначенный большевиками. Да и к тому же, что это за учёный? Никто не знал его трудов, педагогического стажа. Его имя было известно только по нескольким газетным статьям на « общественные темы ». Но с Гойхбаргом всё же пришлось примириться.

Помню я и следующий гораздо больший этап — первое появление назначенного декана нашего факультета, В. П. Волгина, которому впоследствии суждено было играть важную роль в администрировании академической жизни не в московском только, а во всесоюзном масштабе.

Вячеслав Петрович Волгин был мой младший товарищ по факультету, историк, ученик профессора Д. М. Петрушевского. В академических кругах имя его ассоциировалось всегда с именем Лукина; оба были товарищами по курсу и учениками Петрушевского, оба были марксистами со студенческой скамьи. Но характеры были у них разные : Лукин был жёлчный и озлобленный; вместе с началом революции он стал изливать свою злобу на буржуазный мир и, в частности, на Университет сначала в московской газетке « Социал-Демократ », а потом в стенах Коммунистической Академии. Волгин был помягче, повежливей и в самом внешнем облике своём несколько буржуазней. Оба были большевиками третьего ранга, так сказать приказчиками большевистских вождей; им был поручен разгром Университета.

Вячеславу Петровичу при этом первом появлении на факультете предстояло ввести самого себя в должность назначенного декана — задача нелёгкая морально. Приходилось выступать перед собранием лиц, по старой традиции университета всю жизнь отстаивавших университетскую автономию. Среди этих лиц

были учителя Вячеслава Петровича, его товарищи и соратники по борьбе за академическую свободу в молодые годы. Теперь приходилось выступать против этой свободы и против них. Вячеслав Петрович справился с своей задачей блестяще; он не был бледен, не волновался; он был лишь чуть-чуть сконфужен вначале и сконфуженно улыбался. Но он быстро оправился и вошёл в роль авторитетного представителя власти на факультете. Тут можно было вспомнить давно подмеченную русскими писателями характерную черту русского интеллигента, а именно, что в нём удивительно легко сочетается революционер и самый заядлый чиновник.

Всё, что произошло с высшей школой, как ни прискорбно и ни дико кажется это с точки зрения интересов науки и общей культуры, является с революционной точки зрения совершенно последовательным и логичным. В государстве « пролетарской диктатуры » свободная наука была немыслима, *автономный* университет был нонсенсом. Большевики, клевеща на царизм, отлично знали, какую огромную роль сыграл тогдашний университет с его ограниченной степенью научной свободы в распространении антиправительственных идей. Они слишком хорошо понимали свой интерес, чтобы допустить подобное же действие университета и науки в отношении их собственной власти.

Если уже первое партийное совещание по вопросам народного образования в декабре 1920 года поставило задачу обеспечить революционное направление в работе высшей школы и политическое воспитание всех студентов (БСЭ, том СССР, 1948, столб. 1238), то не старым же профессорам надо было поручать выполнение этой задачи. Ясно, что ради неё всё должно было быть сломлено и поставлено на новые рельсы. Старых преподавателей, которые соглашались браться за эту задачу, принимали охотно — потому-то Кубицкий и вошёл в состав правления, а затем сделался и заместителем ректора, которым стал позднее Волгин. Движение, раз начавшись, пошло ускоряющимся темпом. Посыпались назначения новых профессоров, часто не имевших никакой научной квали-

фикации, но зато способных « обеспечить революционное направление в работе высшей школы ». Деканами делались сначала молодые научные работники, например, в Москве на факультете общественных наук таким одно время был некий И. А. Удальцов; но были случаи, когда деканами назначали студентов, а когда я уже в 1930 году после долгого перерыва моей работы в высшей школе вновь вернулся к ней уже в скромной роли преподавателя немецкого языка в Московском Межевом Институте, то на должностях деканов я нашёл совсем молодых и неопытных аспирантов.

Но, что в особенности нанесло удар университетскому преподаванию и общему культурному уровню высшей школы — это радикальная и довольно быстрая смена состава студенчества. Культурный уровень, бытовой облик и психология этого нового студенчества заслуживают специального рассмотрения; оно будет сделано мною в дальнейшем [1]); ближайшие же страницы моего повествования я посвящу вопросу о том, в какое положение попала наука и её деятели в результате относящихся к ним мероприятий большевиков.

---

[1]) Перевод статьи о советском студенчестве : см. Cahiers du Monde russe et soviétique, vol. V, oct.-déc. 1964.

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В СССР

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И ПОЛОЖЕНИЕ ИСТОРИКОВ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ

Составить себе общее суждение о положении науки в Советской России может всякий даже и не побывав в ней, даже и не изучая фактического материала. Для этого нужно только серьёзно продумать практическое значение одного факта, которого большевики не только не отрицают, но который они подчёркивают и ставят себе в заслугу. Факт этот заключается в том, что наука в Советской России базируется только на одной философской теории, которая считается единственно верной, единственно возможной и допустимой для советского учёного. Эта теория — диалектический материализм Маркса. Вот что говорит об этом председатель Всесоюзной Академии Наук С. И. Вавилов.

« Коренная особенность советской науки — полная её ясность в отношении философского мировоззрения, составляющего необходимый фундамент исследования. Во всём мире и всегда наука развивалась (хотя учёные часто и не сознавали этого) на почве стихийно-материалистического воззрения. Лишь материалистические взгляды, формально нередко отрицавшиеся, в действительности всегда выводили науку на верный путь. Не прекращались и до сего времени возникают попытки заменить материалистическую основу науки идеалистическими построениями разнообразных оттенков. В. И. Ленин в своей гениальной книге « Материализм и эмпириокритицизм » в 1908 году дал генеральное сражение идеалистам в философии и естествознании. Эта книга и поныне остаётся важнейшей опорой

единственно верного философского мировоззрения — диалектического и исторического материализма. Вскрывая беспочвенность и ошибки разнообразных идеалистических систем, проникших в науку, В. И. Ленин вместе с тем показал также беспомощность метафизического механического материализма в качестве основы для современной науки. *Мировоззрение советских людей — это диалектический и исторический материализм с его всеобъемлющей широтой, непоколебимой уверенностью в объективной реальности мира и в его непрестанном прогрессивном изменении и развитии* [1]).

Всё это прекрасно. Каждый учёный, занимающийся наукой, основывает её на каких-то общих философских и методологических предпосылках, иногда сознаваемых ясно и отётливо, иногда сознаваемых смутно, иногда вовсе не сознаваемых. Если бы почтенный председатель Всесоюзной Академии Наук потрудился справиться в истории развития наук, то он убедился бы, что современная наука выросла из эмпирических опытов, которыми *преодолевались* существующие и господствующие общие мировоззрения. Но не в этом сейчас дело. С. И. Вавилов забыл, точнее, не посмел упомянуть, что диалектический материализм не есть просто « мировоззрение советских людей », а мировоззрение *обязательное* для них, *единственно допустимое* в советской науке, что борьба против него, даже критика его, даже молчаливое непризнание его и всего, что из него практически вытекает, означает для советского ученого катастрофу, т. е. в лучшем случае конец научной карьеры, в худшем случае — смерть.

В Советской России не существует свободы науки — этого conditio sine qua non её развития. Факт этот косвенно признают сами большевики. О том, как эта свобода была постепенно уничтожена и какие условия были соданы большевиками для учёных, я покажу

---

[1]) Последний том Большой Советской Энциклопедии, посвящённый союзу Советских Социалистических Республик. 1948. Столб. 1257, сл. (подчёркнуто Кончаловским).

в нижеследующем на известных мне примерах и, прежде всего, на моём собственном.

Большевики любят говорить о полицейском режиме для науки при царизме. Однако доказывать здесь, что наука в царской России пользовалась совершенно достаточной свободой для своего развития, значило бы ломиться в открытую дверь. Достаточно указать на совершенно беспрепятственное распространение материализма, начиная от Бюхнера и Молешотта и кончая Марксом и Энгельсом. Можно было также свободно проповедовать дарвинизм. Даже и до революции 1905 года русские историки-марксисты могли свободно печатать свои книги и статьи. Полицейский же надзор был настолько слаб, что и подпольные произведения революционеров распространялись широко. Настоящее, и ещё не виданное во всём мире, порабощение науки Россия узнала впервые только при большевиках.

Для каждого читателя должно быть ясно, что именно в области истории отношение большевиков к науке проявилось особенно определённо и резко. Марксистская теория, марксистская мысль, марксисткая фразеология и терминология применяются ведь прежде всего в исторической науке, наряду, правда, с философией и политической экономией. Именно это обстоятельство лишило меня возможности заниматься публично моей специальностью и продолжать мою преподавательскую деятельность в высшей школе, которую я вёл до революции. Ибо я никогда не был марксистом и никогда не считал марксизм или, как его называли в моей науке, « исторический материализм » единственно правильным объяснением исторического процесса и последним и окончательным словом науки. В результате моей многолетней исследовательской работы я пришёл к убеждению, что никакая философско-историческая или социологическая теория не даёт исчерпывающего объяснения исторического процесса и что, следовательно, марксизм является лишь рабочей гипотезой, подобной всякой другой. Взгляд этот укрепился во мне ещё более наблюдением над фактами нашей собственной революции, которые в моих глазах опровергали утверждение марксизма, будто основным фактором истории является экономика и

производственная организация общества, а его политическое устройство, культура и психология представляют лишь надстройку. Как раз события революции и деятельность её вождей показывали мне воочию, что руководящую роль играют идеи и эмоции, и что именно они преобразуют экономическую структуру и социальную организацию общества . Неопровержимым доказательством правильности этого вывода должно служить в глазах всего мира как раз то, что « экономический материализм » революционными вождями-марксистами был превращён в обязательный для всякого историка догмат, формальное и публичное исповедание которого являлось обязательным условием преподавательской и научно-исследовательской работы, а непризнание, тем более открытое, было порою связано с большим риском. Об этом мне придётся говорить в дальнейшем подробно; здесь же я лишь мимоходом сообщу, что « приспособляться », подобно многим моим коллегам-историкам, я не пожелал и верности моим научным взглядам пожертвовал своей научной карьерой.

Тем не менее, состоя ещё до войны преподавателем одного из московских высших учебных заведений, я вместе со всеми механически был переименован в « профессора », каковой титул был утверждён за мною и впоследствии при пересмотре учёных кадров в 30-х годах.

После моего исключения из Смоленского Университета я продолжал состоять профессором Московского. Занятия в эти годы величайшей разрухи шли кое-как в нетопленных аудиториях. Главную мою заботу составляло приискание питания для себя и семьи, которая жила вне Москвы. Осенью 1921 года мой товарищ по университету В. И. Пичета пригласил меня преподавать древнюю историю в университете в Минске. Университет этот был только что открыт в ознаменование недавнего освобождения Белоруссии от поляков. Сам Пичета, специалист по истории Литвы и Западной России, был сделан там ректором. Университет носил громкое название « Бялорусский Дзяржауный Универсытэт », но лекции в нём должны были читать в подавляющем числе приглашённые из Москвы преподаватели и на русском языке.

В Минске я читал лекции по Римской истории в 1921/22 академическом году, читал их совершенно свободно, без всякого марксизма; это был мой последний курс старого академического типа.

Лекции я читал наездами из Москвы, как это было обычно в то время. Но Белорусский Университет пожелал иметь своих лекторов при себе. В конце года мне было предложено переселиться в Минск на постоянное жительство, но для меня это было невозможно, и я отказался от чтения лекций там. А между тем в Московском Университете произошло сокращение штатов; под тем предлогом, что я состою штатным профессором в Минске, я был уволен от должности профессора в Московском Университете. Таким образом моя академическая деятельность фактически прервалась, хотя формально я ещё до весны 1923 года продолжал числиться в Минске, так как на упомянутое выше предложение переселиться в Минск я из тактических соображений не ответил сразу категорическим отказом.

Я не жалел о перерыве моей академической карьеры. Та общая атмосфера, которая всё более водворялась в университетах после уничтожения их автономии [1]) и провозглашения принципа классового комплектования вузов студентами, как-то сама собою вытесняла академических работников старого типа. Историко-филологический факультет был уже давно уничтожен и заменён Факультетом Общественных Наук. История на нём должна была теперь преподаваться не по всемирно-историческим эпохам, странам и народам, а по « общественным формациям », согласно марксовой терминологии. Древний мир попадал в формацию « рабовладельческую », средневековье — в формацию « феодальную » или « крепостническую », наконец новое время представляло собою формацию « капиталистическую ». Как распределялись курсы, кто их читал в это время в Московском Университете, об этом я ничего не могу сказать, так как я уже оторвался от него. Знаю только, что классическая филология и

---

1) « Положение о Высших Учебных Заведениях » от 2 сентября 1921 г. (Примечание автора).

древние языки были ликвидированы. Профессора и преподаватели в значительной степени рассеялись из Университета, даже и не теряя полностью связи с ним. Университетское преподавание само по себе материально не обеспечивало. Главную материальную базу, притом не денежную, а натуральную, составлял теперь так называемый « академический паёк », выдававшийся всем научным работникам, зарегистрированным в « Комиссии по улучшению быта учёных » (сокращённо КУБУ). Но и этого было недостаточно, и большинство научных работников наряду со многими представителями интеллигенции нашли себе пристанище в библиотеках, музеях, архивах, разного рода институтах, уже существовавших раньше или открывавшихся вновь. Штаты этих учреждений расширялись невероятно. Главным приютом интеллигенции в Москве стала бывшая Румянцевская библиотека и музей, преобразованные теперь в Публичную Библиотеку имени Ленина. В Петрограде ту же роль стала играть Академия Наук со всеми входящими в её состав научными и просветительными учреждениями.

В 1923 году в научной жизни Москвы произошло одно важное и знаменательное событие : волею Наркомпроса была открыта так называемая « Российская Ассоциация Научно-Исследовательских Институтов Общественных Наук » (известная потом под сокращённым названием РАНИОН). Истории возникновения и организации этого учреждения я не знаю, но, как говорили тогда, Наркомпрос, т. е. главным образом М. Н. Покровский — товарищ Наркома Луначарского, ведавший высшей школой и наукой, руководился мыслью дать учёным, деятельность которых сократилась ввиду нового режима университетов, возможность заниматься наукой и делиться своими достижениями с учёным коллективом в стенах этого нового учреждения.

Для РАНИОН'а было отведено целое здание — бывшая канцелярия попечителя Московского Учебного Округа на Волхонке рядом с бывшей 1-ой гимназией и против Храма Христа Спасителя. В состав Ассоциации входили Институты Истории, Политической

Экономии, Философии, Литературы и филологии, Права (последний, возможно, носил какое-то другое, замаскированное название). По счастью, никакого общего руководства и председательства Ассоциации дано не было. Каждый институт существовал своей особой жизнью и возглавлялся своим председателем. Институт Истории возглавлял академик, профессор Д. М. Петрушевский, медиевист, специалист по социальной истории Англии, автор Исследования о « Восстании Уота Тайлера »; такая тема рекомендовала его в глазах властей; кроме того он был учителем тогдашнего ректора Московского Университета, Волгина. Они считали Петрушевского если и не ортодоксальным марксистом, то во всяком случае последователем теории исторического материализма, что, очевидно, являлось для них гарантией от проникновения в Институт ереси « идеализма ». Впрочем, как учреждение РАНИОНа, так и назначение директором Института Истории Петрушевского, равно как приглашение в Институт ряда историков не-марксистов, показывает, что и у большевиков их резкая установка в отношении науки практически сложилась всё же не сразу и их эволюция в этой области протекала зигзагами. Незадолго до открытия Ассоциации большевиками было закрыто Историческое Общество при Московском Университете, основанное когда-то профессором В. И. Герье и имевшее своим последним председателем профессора М. М. Богословского. Общество было закрыто потому, во-первых, что все старые подобные общества в то время закрывались, а во-вторых, потому, что оно, будучи свободным и состоя из лиц, уже раньше выбранных в члены, совершенно ускользало из-под контроля большевистских академических органов.

Институты РАНИОН'а разделялись на секции; в частности, Институт Истории — на секции древней, средневековой, новой и русской истории, каждая из которых имела своего председателя. Личный состав разделялся на членов, научных сотрудников и аспирантов. Каждой степени был положен денежный оклад: членам — 100 рублей в месяц, научным сотрудникам — 70 рублей, аспирантам, кажется, 50, а может быть и больше. Я был приглашён не в качестве

члена, а в качестве сотрудника и не на полную, а лишь на половинную ставку в 35 рублей. Даже в условиях НЭПа, когда рубль, особенно в начале НЭПа, почти равнялся довоенному золотому рублю, эта ставка была нищенской.

РАНИОН хронологически совпадает с эпохой НЭПа. Он просуществовал шесть лет от 1923 по 1929 год. В кругу советской жизни он представляет собою весьма значительное явление. РАНИОН оказался последним прибежищем гуманитарных наук, свободных от *гнёта* марксизма и принудительного контроля большевиков. Однако это не значит, что он имел своего рода автономию и был застрахован от вторжения в него марксизма. Сознательно или стихийно в этой области гуманитарных наук большевики вели ту же политику, как в области экономики. Как в этой последней был допущен частно-предпринимательский сектор, так и в РАНИОНе были допущены научные работники не-марксисты, равно как доклады совершенно чуждые марксистского духа. Но рядом сидели также и яркие марксисты, которых, однако, в секции древней истории не было ни одного. Кроме того, на многих учёных старого, по большевистской терминологии « буржуазного », типа постепенно начало сказываться влияние окружающей политической атмосферы, в особенности, на более молодых. Прежде всего, оно определило выбор тем — это всё была социальная и экономическая история. Темы культурные избегались, религиозных не ставили вовсе. Но мало-помалу некоторые научные работники и в докладах и в других своих работах всё решительнее стали заявлять свои марксистские установки. Главным же проводником марксизма в РАНИОН должны были явиться аспиранты, т. е. молодые люди, окончившие университет и признанные способными к дальнейшей научной деятельности. Для вступления в аспирантуру требовалось представление сочинения на какую-либо научную тему соответствующей специальности, например на тему « Социалистические идеи Платона о государстве ». Сочинение рассматривалось затем соответствующим специалистом, членом или научным сотрудником Института, который и давал своё заключение о том, пригоден ли автор сочи-

нения для поступления в аспирантуру. Затем аспирант должен был в течение двухлетнего срока сдать экзамен по данной специальности, после чего он становился научным сотрудником 2-го разряда. Аспирантский экзамен представлял некое, хотя и весьма слабое, подобие прежнего магистерского экзамена, но требования его в смысле количества усваиваемого материала были раз в пять меньше, сравнительно с требованиями магистерского экзамена. Все эти аспиранты подвергались обязательной марксистской обработке путём курса диалектического материализма, который они должны были слушать, и соответствующего экзамена, не говоря уже о том, что они проходили « политграмоту » в университете в свои студенческие годы.

Лично для меня пребывание в Институте истории сыграло большую роль, однако не сразу. Первое время я не мог отдавать много времени научной работе, ибо я получал нищенское содержание в Институте. Для добывания средств к жизни я занимался сначала издательской деятельностью в Кооперативе Научных Работников, созданном группой коллег, с которыми я познакомился в Минске. Но когда этой работе волею судьбы настал конец, я поступил техническим редактором в один из отделов Госиздата, где, впрочем, мне не удалось продержаться и года. В связи с сокращением штатов я был уволен в начале 1925 года. Я занимался также переводческой работой и в этот период жизни чрезвычайно бедствовал вместе с моей семьёй, ибо мои четверо детей в это время ещё учились и не могли зарабатывать. Но в 1926 году я одновременно получил некоторое материальное подспорье. Я поступил редактором в « Большую Советскую Энциклопедию » и, кроме того, весною этого же года через посредство Д. М. Петрушевского я получил от директора Института Маркса и Энгельса Д. Б. Рязанова заказ написать для издававшейся им серии исторических книг монографию-исследование о « Братьях Гракхах и аграрном движении в Риме ».

Эта тема была, собственно, моей настоящей специальностью; над ней я работал с того момента, как я созрел как самостоятельный учёный, имеющий свой оригинальный взгляд на изучаемую область

истории. Положенный мне Рязановым, правда довольно скудный, гонорар (100 рублей с листа) дал мне всё же возможность сосредоточиться на этой работе. Я выполнил её в течение приблизительно полутора года, причём результаты моих исследований я сообщал в виде докладов на заседаниях секции древней истории Института, а иногда и на общих собраниях его. Таким образом, я сделал в течение последних двух лет пребывания моего в Институте 11 докладов на разнообразные темы социальной и, в частности, аграрной истории Рима. В это время я постановлением сначала секции древней истории, а затем всего Института был наконец возведён в ранг его действительных членов.

Если когда-нибудь будет написана настоящая, беспристрастная история русской исторической науки, то Институт Истории войдёт в неё как последнее убежище, в котором ещё сохранялась возможность свободного непредвзятого исследования прошлого и коллективного обсуждения добытых каждым исследователем результатов в кругу компетентных товарищей по специальности. РАНИОН и в особенности Институт Истории не пользовался, конечно, расположением большевистских властей предержащих. Его только терпели. Отпускаемые ему ресурсы были ничтожны. Для печатания его трудов не отпускалось бумаги, недостаток которой был настоящим проклятием для каждого серьёзного издания, в то время как для печатания речей Сталина в миллионах экземпляров бумаги хватало в любую минуту. Таким образом, за всё время своего существования Институт Истории смог выпустить только два сборника своих Трудов, и многие серьёзные работы членов и сотрудников Института так и не увидели света.

РАНИОН просуществовал ровно 6 лет. Дальнейшее его существование было невозможно. В стране шло « строительство социализма », выполнение « пятилетки в четыре года » было в самом разгаре : была решена ликвидация религии, церкви закрывались и разрушались одна за другой, победа большевиков в борьбе с крестьянством за коллективизацию была решена — могла ли в таких условиях идти речь о сохранении

научного учреждения, в котором продолжалась и преуспевала «буржуазная» историческая наука? В Правде появилась статья, конечно, как всегда, инспирированная сверху, в которой с едкой иронией подвергалась критике Ассоциация и, в особенности, Институт Истории, в котором за тусклыми стёклами и в затхлой атмосфере буржуазные учёные «протаскивают» в советскую науку свои антисоветские взгляды. Статья заканчивалась призывом разбить тусклые окна Ассоциации и освежить, оздоровить её атмосферу.

Очень скоро после этой статьи РАНИОН был закрыт. Аспиранты были переведены в Коммунистическую Академию, некоторые из членов РАНИОНа были взяты туда же; это были те, которых большевики считали марксистами или близкими к марксизму или не безнадёжными в отношении марксизма. В это число я, конечно, не попал.

Вместе с ликвидацией РАНИОНа и Института Истории моя прямая официальная связь с корпорацией моих коллег-историков прервалась. Впрочем, надо сказать, что и сама эта корпорация как некое организованное, связанное с определённым учреждением целое перестала существовать. Ибо вскоре перестал существовать и сам Университет, причём самая идея его была разрушена. Идея Университета — это свободная наука, отвечающая потребности человеческого духа в силу присущего ему стремления к истине, к её открытию и познанию, независимо от практических требований жизни с её изменяющимися нуждами и предпочтениями, с её текущей злобой дня. Университет как средоточие и совокупность (universitas) наук всегда мыслился стоящим над жизнью, и этим самым своим возвышенным положением служащим ей. Для своих нужд жизнь должна была идти к науке в лице Университета и брать у неё всё нужное для своих целей. Таким образом, Университет был связан с жизнью, но он не был подчинён ей. То, что теперь было сделано большевиками с Университетом, в высшей степени знаменательно и показательно для всего строя духовной жизни страны, который вводился теперь вместе с строительством социализма. Постановлением ЦИКА и СНК Советского Союза от 23 августа 1930 года

университеты были превращены в школы для подготовки специалистов, необходимых для выполнения производственных задач, связанных с социалистическим строительством. Таким образом, многофакультетные высшие учебные заведения и, в частности, университеты были реорганизованы в так называемые « отраслевые институты », каждый из которых был подчинён соответствующему наркомату. Название Университета, оставшегося в ведении Наркомпроса, сохранилось только за прежними факультетами общественных наук и физико-математическим, целевая установка которых была определена как подготовка научно-исследовательских кадров по этим специальностям.

Во что превратился в связи с этой реформой факультет Общественных Наук, т. е. бывший историко-филологический факультет, я не знаю. Но мне известно, что преподавание истории было вообще уничтожено. Оставлена была только история техники, преподавание которой и было поручено некоторым профессорам. Прочие остались не у дел, в том числе — видные специалисты. Положение некоторых из них определялось их принадлежностью к Академии Наук. Таковы были в Москве профессора Д. М. Петрушевский, М. К. Любавский, М. М. Богословский. Они могли продолжать свою научную деятельность в качестве академиков. Другие продолжали работать в культурно-просветительных учреждениях, где состояли уже давно. Так профессора Ю. В. Готье и Д. Н. Егоров занимались реорганизацией, расширением и усовершенствованием библиотеки имени Ленина. Они превратились в работников библиотечного дела. Егоров сделался даже специалистом по устройству читальных зал в новом огромном здании, которое в то время строилось для библиотеки. Третьи, наконец, нашли себе самые своеобразные применения, ничего общего не имевшие с их специальностью. Так крупный историк-медиевист Н. П. Грацианский сделался заведующим бюро технических переводов при Наркомате Тяжелой Промышленности. В то же время, он где-то читал историю техники.

ПИСЬМА К СЕСТРЕ
(1923 — 1926 гг.)

17 ноября 1923.

Дорогая Виточка,

[...] Дел, впрочем, у меня немного. Я решительно нигде не служу и нигде не получаю жалования. [...] Весь мой заработок — литературные гроши, и, к тому же, случайные, ибо работой я обеспечен ещё месяца на два, а доставать её трудно, так как книжный рынок мёртв за недоступностью цен для читателей. Недавно вышла моя книжка « Аннибал » в издательстве Брокгауз-Эфрон и статья о Гракхах в сборнике в честь юбилея Кареева. О той и о другой я получил весьма лестные отзывы, между прочим, и от Кареева. Сейчас я пишу книжку для Брокгауза « Катон и его время » и составляю хрестоматию по экономическим источникам Рима для Государственного Издательства. Я хотел послать Аннибала тебе и Больё, но узнал недавно, что теперь для этого нужно разрешение двух инстанций. Едва ли хватит у меня энергии преодолеть эти хлопоты.

Ваню и Наташу нарочито провалили на приёмных экзаменах в университет. Высшие учебные заведения теперь доступны только для коммунистов, а наши дети деклассируются. Не хочется рассказывать тебе возмутительную, циничную обстановку экзамена и побочных обстоятельств, слишком противно возвращаться к этому предмету. Ваня и Наташа учатся сами дома, сейчас занимаются главным образом новыми языками. Я вижу для них единственный выход попасть на какую-нибудь дорогу это добиться отпуска за границу.

15 апреля 1924.

[...] Последнее время стало и по другим причинам трудно и даже тяжело писать. Раньше казалось, что в пучине, куда мы брошены, под ногами нащупалось какое-то дно и, ударившись об него, мы, хотя и медленно, стали подниматься вверх и казалось, что где-то, близко ли, далеко ли, но ждёт нас поверхность какого-то сносного и устойчивого (хоть более или менее) существования. Но снова потеряно дно, снова не знаешь сегодня, как и чем будешь жить завтра, найдёшь ли работу и заработок, а кругом безнадёжность, неизвестность и полное отсутствие каких-либо данных и зацепок для логических, хотя бы самых скромных, расчётов. Я уже давно без места; заработанные сбережения приходят к концу. Поиски места уже несколько месяцев без всяких результатов. Но всё это ещё бы ничего. Главное, дети, которые растут, не зная для чего, как взрослеющие младенцы, ибо учиться они лишены права, а служба... где её найдешь, и что за жизненная школа эта бездельная служба в канцелярии или конторе? Что же писать при таких условиях? ничто хорошее и на ум нейдёт.

[...] Мерзости нашей жизни тебе непонятны, а чтобы объяснить их, надо было бы долго рассказывать и посылать в письмах целые вороха всякой дряни. Но и терпения у нас оказалось, видимо, бездонная бочка, никак она не только не переполнится, но и до краёв не наполняется.

Так-то, Виточка. Скверно! Пиши.

20 июня 1924.

[...] Лето я провожу в Москве один. Все мои уже давно на даче. Теперь я — чиновник, служу в Государственном Издательстве ежедневно от 9-ти до 4-х, а иногда и позже. Первые дни это служебное сидение с непривычки сильно утомляло меня. Я, человек свободной профессии, привык распоряжаться своим временем по собственной воле. Служебные разговоры, справки, посетители — всё это мелочи, сутолока, а не работа. Но теперь я свыкаюсь с ними и прихожу

домой не столь разбитый и усталый. На Троицын день я ездил к своим, провёл у них два дня, но не отдохнул, ибо комары и мошкара буквально не дают спать. Зато прекрасная погода днём и можно любоваться летом во всей его пышной красе. Это время — до Петрова дня, нигде не бывает так восхитительно и радостно, как в России.

28 мая 1925.

Относительно статьи не совсем знаю, как мне быть, так как мне неизвестен порядок помещения статей во французские журналы, т. е. нет большой уверенности в этой возможности. Странным образом, я всё же как-то ухитряюсь печатать кое-что в России. Сегодня я сдал довольно большую статью для « Трудов исторического исследовательского института », всё на ту же тему об аграрном вопросе в Риме. Она выйдет вероятно к осени. Другая моя статья находится в редакции « Аннал », издаваемых Академией Наук в Петербурге; и эта статья должна выйти к осени. Кроме того, Госиздатом мне заказана небольшая книжка на тему « Братья Гракхи ». Значит, я собственно жаловаться на невозможность печатать не могу. Но моя беда в том, что мои темы, столь интересующие западную публику, особенно немецкую и итальянскую, совсем почти не интересуют нашу, тем более, нынешнюю. Ведь история из средней школы изгнана совершенно. Новое поколение растёт, не зная значения слова « Афины ». Где же тут работать по древней истории? Кроме того, здесь мне неоткуда слышать дельную и полезную для меня критику. Словом, выходит, что я не могу найти здесь настоящего приложения своей работы к жизни, а, следовательно, и сам я остаюсь без приложения. Потому-то, давно уже у меня была мечта печататься за границей, а о Франции я подумал вследствие возможности найти связи. О тебе я думал уже давно в связи с этим, но толчком послужило знакомство с Portmann'ом, который был здесь, как уполномоченный de Monzi. Если ты узнаешь об условиях помещения статьи о Гракхах в Revue historique или в какой другой журнал, сообщи мне.

16 июня 1925 [Можайск].

Дорогая Виточка,

Два дня тому назад, мы с Зиной, забрав последние хабары наши в Москве, двинулись на дачу вслед за детьми, которые уже давно постепенно переселились туда. Таким образом, начались теперь мои давно желанные каникулы, которых я не имел два года, ибо в прошлое лето, состоя на службе, я не пользовался отпуском. Пока что, однако, погода нас не жалует. Дождей, правда, мало, скорее стоит засуха, но засуха холодная. Купаться нет возможности, а это главное моё летнее удовольствие. Печально, если и всё лето не установится тепло, ведь в наших краях это случается. И всё же, как всегда, так хорошо действует на меня деревня, такое спокойствие спускается в душу, как будто бы город с его заботами и хлопотами, с его тревожными вопросами о будущем, ушёл куда-то далеко. Здесь всё наводит на спокойные размышления о суете мирской — и задумчивые сосны, и неумолчный шелест листьев, которые одни отрывают меня от книги, или ещё оса, залетевшая в окно, своим жужжанием. Воздух чистый, свежий, и на душе как-то всё очищается и проясняется. Как мало, в сущности, мне нужно, чтобы быть даже счастливым, а не только что спокойным, если бы не дети с их безнадёжным будущим. Эх, Виточка, ты не можешь этого понять, ибо тебе должно казаться невероятным, чтобы такая простая вещь, как учение, была отнята у людей и была предоставлена, как высшая привилегия, только избранным. Вещь неслыханная нигде и никогда!

27 июля 1925.

[...] Кажется, я не писал тебе о дальнейшей судьбе моего дела со статьёй в Revue historique. В конце июня я получил очень любезное письмо от профессора Portmann'а, которого просил оказать мне содействие в этом деле. Он сообщил мне, что редактор, M. Brémont, согласен напечатать мою статью [...]. Если у тебя имеется какая-либо связь с Brémont через твоих



Иван Дмитриевич Кончаловский, студент-медик, сын автора

многочисленных друзей в филологических кругах Парижа, будь другом, используй её для меня. Ведь это для меня, можно сказать, вопрос жизни и смерти, и если моя работа появится в Revue historique, я утру, и блестяще утру, нос моим здешним недоброжелателям, которые, как ни хорохорятся, но всё же склонны падать ниц перед высокими марками заграничной науки, хотя и « отсталой » и буржуазной. А ведь Revue historique это не только французская, но мировая марка!

[...] Я, кажется, писал тебе, что Ваня собирается поступить на медицинский факультет 2-го Университета, где преподаёт Макс. Командировку он получил, и недели через две ему предстоит экзамен. Не знаю, что будет делать бедный малый, если его опять провалят. Ведь ему уже 21 год, он уже сознаёт на себе обязанности взрослого и не имеет никакой дороги, куда бы сунуться в жизнь. Разве только быть чернорабочим? Ему предстоит военная служба в этом же году, я думаю, что это даже хорошо, если он пойдёт служить. Хорошо для сформирования характера.

Иногда мне кажется, что отчасти виноваты мы сами, не зная с какого конца подойти к этой « новой » жизни. Нет у нас американского характера, инициативы и энергии. Впрочем, инициатива разбивается о безработицу. Всюду всё полно, есть свои люди, новые предложения отклоняются. А энергия разбивается о политику и социальное происхождение, вот беда! Сделка с совестью органически невозможна.

25 августа 1925.

[...] Мою статью я окончил около 25 июля и привёз её сюда для перевода, причём Кифер [1]) согласился перевести её самолично. На этих днях он известил меня, что работа готова. Таким образом, недели через две статья будет уже в редакции.

Посвящена она истории аграрного движения в

[1]) L. Kieffer — атташе при французском посольстве в Москве в этот период.

Риме, ближайшим образом — некоторым вопросам в связи с аграрным законом Тиберия Гракха (133 г. до Р. Х.). В этом законе многое ещё не выяснено, хотя занимались им выдающиеся учёные, особенно немцы (E. Meyer, Pöhlmann, Kornemann, Schwartz и другие, поименованные у меня в статье). Как известно, цель закона состояла в восстановлении пришедшего в упадок крестьянского сословия путём поделения крестьянам принадлежавших Риму государственных земель (domaines de l'Etat). Эти земли, которые всякий имел право брать под обработку, обязуясь платить государству оброк, попали, главным образом, в руки крупных землевладельцев, а крестьяне остались ни с чем. Следовательно, чтобы наделить крестьян землёю, Тиберий Гракх предложил отобрать у помещиков землю, на том основании, что это была не их « собственная » земля, а государственная, и государство всегда имело право восстановить свою собственность.

Теперь поднимается вопрос : о каких « крестьянах » идёт дело в реформе Гракха? Италия того времени представляла из себя федеративное государство, в котором гегемония принадлежала римскому народу; рядом с ним, в федерацию входили другие народы Италии, как то : этруски, самниты, латины, умбры, греки и прочие. Все это были так называемые « союзники » Рима, иначе называемые « италиками » (Italiens в противоположность Romains). Крестьяне были как в римском народе, так и у италиков. Спрашивается, обе ли эти группы страдали от обезземеления и обеим ли им хотел помочь Тиберий Гракх? Или же в его законе дело идёт только о « римских крестьянах »?

До сих пор (особенно у немецких учёных) господствует взгляд, что как римские крестьяне, так и италийские, одинаково лишились своих земель, и, следовательно, обе эти социальные группы претендовали на землю. Равным образом, и аграрный закон Тиберия, будто бы, имел в виду помощь обеим группам крестьянства. Этот взгляд (по-моему, неверный) будто бы опирается на свидетельство нашего главного источника, а именно, рассказ Аппиана (Appien, историк II века по Р. Х.). В своём описании аграрных отношений

перед Гракхами, Аппиан будто бы и римских и италийских крестьян одинаково изображает страдающими от обезземеления. Анализу этого рассказа Аппиана и посвящена моя статья. Сопоставляя различные места его текста, я стремлюсь доказать, что термин « италики » (Ἰταλιῶται по-гречески) у Аппиана значит « римские крестьяне ». Таким образом, аграрный закон Гракха касается только римлян, что и естественно, так как они одни страдали от обезземеления. Такой вывод согласуется со всем тем, что мы знаем о Гракховом аграрном движении из других источников, т. е. Плутарха и римских авторов. Вторая часть статьи посвящена вопросу о том, какую конечную цель преследовал закон Гракха : имел ли он в виду попросту интерес одной социальной группы, именно крестьянства, или же — вообще благо государства, восстановление военной его силы (путём восстановления крестьянства, из которого рекрутировалась армия)? Опять же анализом рассказа Аппиана, я прихожу к заключению, что Гракх думал только о благе крестьянства, т. е. был социальным реформатором и никаких военно-политических целей не преследовал.

Таково в двух словах содержание моей статьи. Это только небольшой кусочек моих исследований об аграрном движении. Я держусь взгляда, что причины его понимаются вообще неверно, а именно, что крестьянство находилось в то время далеко не в таком бедственном положении, как это обычно изображают, и что аграрное движение было симптомом не его упадка, но растущей его силы. Таким образом, посылаемая мною статья есть только первая часть, предварительное исследование, и я мечтаю, что мне удастся высказать и мои главные положения в дальнейших статьях. То есть я смотрю на это лишь, как на первый шаг. Молю Бога, чтобы редакция её приняла. Для всякого посвящённого в вопрос, я уверен, она представляет значительный интерес; единственно, чего я боюсь, не показалась бы она для такого журнала, как Revue historique, слишком специальной. Впрочем, в прошлом году, в одной из книжек Revue я сам читал статью (правда, коротенькую), посвященную архиспециальному вопросу о том, через какие горные про-

ходы и по каким дорогам шёл Аннибал в Италию. Это обнадёживает меня насчёт моей статьи.

27 августа.

[...] Завтра опять вернусь на дачу. Одиночество в Москве гнетёт и томит меня, и мне пусто не чувствовать близко от себя Зину, моего единственного верного спутника и друга в жизни. Как мне тяжело, что я не в силах хотя бы сносно обставить её жизнь. Правда, мужество и терпение её равняются только её преданности и способности любить и забывать себя для любимых. В деревне жить легче. Город слишком много и ярко говорит о гнёте и серости нашего существования. А там всё успокаивает, и высокие сосны и далёкое, бесконечное небо. Там и работается спокойнее и лучше, а на отдыхе можно ходить и дышать, отгоняя физическим движением тела всё беспокойство и тревогу духа.

18 октября 1925.

Дорогая Виточка,

Сегодня, наконец, получил давно жданное письмо от тебя. Спасибо тебе; оно прозвучало для меня, как труба архангела к воскресению из мертвых. Это не тщеславие, вызванное похвалой авторитетных лиц. Это сознание, что работа моя, которая составляет всё содержание моей жизни, не пропала даром, что она была не пустая и бесполезная работа. Здесь я проверить себя не мог, потому что не то, что в Москве, во всей России не найдёшь двух человек, которые могли бы заинтересоваться вопросами, которым посвящена моя работа, не говоря уже о том, чтобы сказать мне, насколько ценны её результаты. В Западной же Европе ими занимаются десятки специалистов, и для широкого круга читателей они представляют интерес. Года полтора тому назад, когда в заседании Исторического Института, где меня держат вроде как в мальчиках, я объявил тему моих занятий (Гракхи), один из скороспелых « учёных » новой формации заявил, что эта область уже обследована и ничего нового

тут не скажешь. Последние годы я оставался совершенно одинок и не мог даже поделиться ни с кем своими мыслями. Не имея проверки и компетентной критики, я, что называется, варился в собственном соку, и то, что сначала казалось мне моим открытием и чем-то ценным, в конце концов уже приедалось мне самому, и я думал : « всякий воображает, что он делает что-то важное и значительное, а на самом деле повторяет банальности. Так и моя работа; раз никому она не нужна, очевидно в ней ничего ценного и нет ». Всё же я попробовал вынести её на свет Божий и решил поэтому постучаться в Европу. Спасибо Портманну за его содействие. В то же время, я счастлив, что я заставил его хлопотать не из-за пустяков. Спасибо также тебе.

1 января 1926.

Дорогая Виточка,

Вчера я отправил тебе письмо, которое писал с недобрыми чувствами. Прости мне его и эти чувства, среди которых самое худшее — малодушие и неумение нести свой крест. Все мои жалобы на жизнь несправедливы, ибо самое главное и дорогое, чем может обладать человек, у меня есть : это собственное здоровье и здоровье близких мне людей — детей и Зины. Все же испытания, которые посылает мне судьба, выше моего суждения. Кто знает, быть может, они посланы мне на благо в конечном счёте и, во вяком случае, для моего вразумления. Сегодня рано утром я проснулся в каком-то возвышенном и примирённом состоянии духа с ясным и радостным сознанием, что не ропот и злоба, а смирение и любовь могут дать мне то счастье, которого я ищу. И я спешу написать тебе несколько строк, чтобы загладить моё вчерашнее злобное письмо.

[...] Ещё раз поздравляю тебя с Новым Годом и желаю здоровья и сил продолжать твою работу. В сущности, прошлый год был для меня не плохой, а в некоторых отношениях даже и вовсе удачный.

ИНСТИТУТ МАРКСА И ЭНГЕЛЬСА

Об этом Институте — одном из значительнейших « научных » коммунистических учреждений — я знаю некоторые факты, которые характерным образом рисуют « пролетарскую » культуру, создать которую большевики считали себя призванными; весьма вероятно, что эти факты не зарегистрированы нигде, и потому я считаю не лишним сообщить их здесь.

В каком году был основан Институт Маркса и Энгельса, я не знаю. Когда я впервые познакомился с ним, это было уже вполне определившееся учреждение. Его основателем и первым директором был известный Д. Б. Рязанов. Настоящее его имя было Гольдендах. Достаточные общие сведения о нём даёт Борис Суварин в своей книге о Сталине. Я буду рассказывать лишь о своём личном с ним знакомстве. Оно произошло случайно, в связи с тем, что я искал заработка. Это было осенью 1925 года, когда семья моя находилась в большой нужде. Г. К. Вебер, с которым я тогда недавно познакомился лично, работал в Институте Маркса и Энгельса одним из библиотекарей. До того времени я знал об Институте от некоторых моих коллег-историков, которые работали в нём в качестве научных сотрудников. Надо отдать справедливость Рязанову : человек он был довольно сумасбродный, но с широким размахом, а в данном случае mania grandiosa марксизма и марксистов привела рядом с нелепостями и к некоторым хорошим и полезным вещам.

Институт, как « научное » учреждение, был задуман по широкому плану. Он должен был представлять, так сказать, цитадель марксизма, хранилище его идеи и традиции, всего, что относится к Марксу и Энгельсу,

и даже того, что имеет к ним только косвенное отношение. Прежде всего он был хранилищем рукописей Маркса и Энгельса. Вокруг рукописей возникла целая лаборатория, где эти рукописи фотографировались, расшифровывались (иногда с помощью луп) и устанавливались в подлинном тексте со всеми вариантами. К этому основному ядру Института примыкала библиотека, которая состояла, во-первых, из всех изданий сочинений Маркса и Энгельса на всех языках. Далее, в состав библиотеки входило всё, что было когда-либо и где-либо написано о марксизме и о самих его создателях, а также вся литература философских и социалистических учений, из которых вышел марксизм, а также учений ему параллельных и враждебных, как бакунизм. Наконец, в библиотеке должны были находиться все авторы и сочинения, где-либо процитированные или даже упомянутые Марксом и Энгельсом, независимо от их содержания. При Институте находились так называемые кабинеты по различным специальностям, задачей которых было содействие изучению Маркса и Энгельса в соответствующих аспектах. То были кабинеты философии, политической экономии, истории Англии, истории Франции, Германии, французской революции и истории религии. Заведующие кабинетами и их сотрудники были нередко лица весьма компетентные. Так, кабинетом истории Англии заведовал историк Косминский, ныне член Академии Наук; его сотрудником был Лавровский, тоже серьёзный и знающий историк Англии. Были там и другие весьма серьёзные лица, часто не имевшие никакого отношения к марксизму. Всех их привлёк к работе Рязанов. Но эти отдельные дельные люди терялись в массе коммунистов, большею частью евреев, русских и иностранных, из Коминтерна, в большинстве своём совершенно невежественных, частью же « учёных » и « писателей », мнивших о себе весьма высоко, как о теоретиках марксизма. При Рязанове их, впрочем, было ещё не так много, как развелось потом, после его низложения. При библиотеке имелся читальный зал, предназначенный, собственно, для сотрудников Института, но в него довольно легко могли получать доступ также и научные работники со стороны по рекомендации

либо своих учреждений, либо известных Рязанову лиц.

Именно пользуясь этим читальным залом в качестве научного сотрудника РАНИОНа, я получил представление об Институте, о его библиотеке и о широких планах самого Рязанова. Из рассказов знакомых мне сотрудников Института я составил себе также представление о его личности; впоследствии, когда мне пришлось иметь с ним дело самому, это представление значительно дополнилось. Эта личность представляет собою, собственно, феномен тем более интересный, что он реализовался в обстановке социалистического культурного строительства и нового, открытого революцией коммунистического быта. Этот феномен к тому же был, так сказать, связан с самыми истоками марксизма. Ибо Рязанов был хранителем « святая святых » марксизма, был, так сказать, первым лицом в Советском Союзе, на которое, казалось бы, должна была изливаться « марксистская благодать ».

Когда во время моих исканий заработка Вебер подал мне идею обратиться к Рязанову, я после некоторого размышления напал на удачную мысль сыграть на известной струнке Рязанова и предложить ему более или менее заманчивый проект ad majorem gloriam его собственной и его учреждения. Поэтому я решил его огорошить.

Когда после некоторых формальностей (предварительной записи у заведующей приёмом посетителей) я вошёл в кабинет Рязанова и очутился на стуле перед его письменным столом, заваленным бумагами и книгами, то на вопрос : « Что Вам угодно? » — я ответил : « Я хотел бы получить работу в Вашем Институте ».

Рязанов откинул голову назад и с удивлением взглянул на меня.

« Как так? Какую такую работу? » —

« Я довольно давно уже посещаю ваш читальный зал и пользуюсь вашей замечательной библиотекой » — сказал я. « Я знаю также организацию кабинетов Института. Эти кабинеты, насколько я представляю себе, охватывают всё, что прямо или косвенно относится к Марксу и марксизму. Но у вас нет кабинета античной истории; книги по этому отделу сосредото-

чены в кабинете истории религии. Мне кажется, имело бы большой смысл дополнить ваши кабинеты кабинетом античной истории. И если бы вы согласились со мною, я мог бы предложить вам свои услуги по организации этого кабинета ».

По выражению лица, с каким слушал меня Рязанов, я понял, что моё предложение в идее ему понравилось. Как я узнал его потом, ему, вероятнее всего, было приятно, что к нему ходят учёные, профессора, делают разные предложения, осуществление которых зависит от него и т. д. Самолюбие и самодовольство выскочки. Выскочкой он и был, правда, всё же не бездарным вполне. Как многие другие революционеры он был недоучкой, дальше 5-го класса гимназии не пошёл. Но, сидя в тюрьме, он сумел основательно прочитать религиозную литературу, которую там давали : Священное Писание, отцов Церкви и прочее. Общее образование его было поверхностное, но разностороннее и обширное.

Рязанов стал расспрашивать меня обо мне, о моей специальности и работе. В конце концов он сказал мне :

« Хорошо, я подумаю. Насчёт кабинета древней истории едва ли выйдет, но какая-нибудь работа будет ».

Действительно, дня через три я был призван снова в кабинет и получил такое задание : мне поручалось составление библиографии древней истории на основании библиографических материалов, имевшихся в библиотеке Института. Вся работа должна была быть выполнена в течение трёх месяцев, причём каждый день я должен был проводить в Институте обычные служебные часы. За эту работу мне полагался ежемесячный гонорар в 100 рублей.

Видно было, что работа была придумана только для того, чтобы не отпустить меня ни с чем. При тогдашнем положении моей семьи и такой заработок был для меня подспорьем. К тому же тогда я надеялся, что это только начало : таким способом у меня установится связь с Институтом, а там найдётся ещё что-нибудь другое.

Моё предположение о мотивах Рязанова впоследствии подтвердилось : мне ежемесячно выплачивался

мой скудный гонорар, но ходом моей работы никто не интересовался. Только раз, месяца через два, Рязанов, встретясь со мною в коридоре и не поздоровавшись, спросил меня, как идёт моя работа. Я нарочно отметил, что он не поздоровался со мною. Такова была его манера — не здороваться с лицами, работавшими у него в Институте, даже как бы не замечать их и не отвечать на их приветствия. Казалось даже, что приветствия как будто его сердили, и я, встречаясь с ним, в конце концов стал делать вид, что не замечаю его.

Работая в Институте, я получил возможность ближе присмотреться к постановке в нём всего дела. Рязанов создал при нём огромную библиотеку по самым различным отраслям гуманитарных наук и в частности (как это ни странно) по моей специальности — римской истории, причём в этой библиотеке я находил сочинения по очень специальным вопросам, например, аграрной истории Рима, вышедшие недавно за границей, сочинения, которые было невозможно найти ни в какой другой библиотеке России, так как читателей, могших заинтересоваться ими, во всей стране нашлось бы двое или трое. Как объяснить появление таких книг в Институте?

Объясняется это именно характером Рязанова. Он интересовался всем: и философией, и экономикой, и историей, а в этой последней области буквально всем, начиная от социального движения XIX века и кончая синологией. Но интерес свой он удовлетворял главным образом просмотром библиографических журналов, общих и специальных. При этом он отмечал красным карандашом всякую заинтересовавшую его книгу, совершенно безотносительно к марксизму, и книга выписывалась из-за границы. По-видимому, он имел на это неограниченные кредиты в золотой валюте даже тогда, когда валюта эта расходовалась лишь на самые необходимые вещи. Ещё бы! Ведь Институт считался хранилищем марксизма, а марксизм был фактически государственной религией СССР.

Таким образом в Институте составилась в конце концов богатейшая и интереснейшая библиотека в

несколько сот тысяч томов по вопросам одних только гуманитарных наук. Но разносторонность Рязанова в соединении с его самодурством имела одно практическое неудобство: просматривая журналы, он немилосердно задерживал их в своём кабинете кучами, и сотрудники жаловались, что они месяцами не могли добиться возможности прочитать ту или другую нужную им статью.

Широкий размах Рязанова имел тоже свою отрицательную сторону, связанную с его своеобразным «барством» выскочки. Рязанов имел обыкновение совершать поездки в Европу для закупки книг. Свой путь по России он совершал при этом по способу прежних царских министров: он не довольствовался отдельным купе, но к поезду прицепляли особый салон-вагон. Книги он закупал целыми библиотеками через посредство антиквариев. При этом в придачу к ценным изданиям, ради которых, собственно, и покупалась целая библиотека, попадал в Институт разный ненужный хлам. Этому я как-то сам был свидетелем. Я видел однажды, как в подвальном помещении Института разбиралась библиотека, недавно прибывшая из Парижа в огромных деревянных ящиках. При этом книги предварительно подвергали просушке. Ибо с библиотекой в Ленинграде приключилась авария. При разгрузке с парохода часть ящиков упала в воду и затем в мокром виде была доставлена в Москву. Среди ценных изданий по археологии и истории я видел книжки бульварных романов Gyp, роскошные издания для французских любителей особого сорта, вроде «Histoire de l'Ecole de Saint-Cyr», а также томик «Строителя Сольнеса» Ибсена во французском переводе. Таких совершенно ненужных для Института книг было в данной партии немало.

Во время моей работы в Институте мне пришлось познакомиться с одной стороной деятельности Рязанова, которая не имела ничего общего с его директорством. Как и в силу каких обстоятельств началась эта деятельность, мне неизвестно, но когда я пришёл в соприкосновение с Институтом, за Рязановым уже установилась репутация покровителя так называемых

« бывших людей » или ci-devant, т. е. преследуемых Чекой и ГПУ членов аристократии и буржуазии. В определённый день недели в кабинете Рязанова происходил приём просителей, большею частью просительниц, искавших помощи арестованным своим родственникам. У особой секретарши производилась предварительная запись на приём. Любопытная деталь: Институт Маркса и Энгельса помещался в бывшем роскошном особняке князей Павла и Петра Долгоруковых, известных кадетов и общественных деятелей. Особняк этот находится в дворянском уголке Москвы и окружён такими же аристократическими особняками. Один из них стоит позади Института и отделён от него Большим Знаменским переулком. Это особняк графа Орлова-Давыдова. Бывший швейцар Орлова-Давыдова перешёл на службу в Институт. По своей старой службе он знал почти всю аристократию Москвы; когда-то он подавал шубы знатным господам и дамам и получал от них на чай, теперь эти господа и дамы были счастливы попасть в число его « протеже » у Рязанова. Он давал им полезные советы и указания, когда и как обращаться к его новому « барину », у которого были свои причуды и капризы.

Как бы то ни было, эта сторона деятельности Рязанова показывает, что он был человек не лишённый сердца, хотя также и в этом случае могло играть роль присущее ему тщеславие : он, когда-то в прошлом бедный еврей, теперь является покровителем людей, которые в прежние времена на него и не взглянули бы, людей с громкими аристократическими, а иногда и историческими именами! Разве это не лестно? Влияние Рязанова основывалось на его давней репутации старого большевика и в особенности на его личной близости с главарями Чеки и ГПУ, сначала Дзержинским, а потом Менжинским. Громадное большинство арестов за « контрреволюцию » было совершенно произвольно и ничем не оправдано. Узнавая от просительниц настоящую суть дела, Рязанов являлся к своим приятелям, бушевал, кричал, требовал и часто добивался если не освобождения невинных жертв, то по крайней мере смягчения их участи. Во многом он, однако, действовал по « настроению » или капризу. Имея дело с массою

случаев жестокой судьбы страдающих от произвола Чеки, он усвоил себе известный шаблон в отношении к ним, а может быть, он сознавал, что его влияние имеет пределы и остерегался расходовать его на случаи сравнительно не очень тяжёлые, чтобы тем вернее спасать людей от смерти или далёкой ссылки.

Через три месяца, как было условлено с Рязановым, я закончил библиографию по древней истории. Она составила четыре объёмистых тетради. Я сообщил об этом секретарю Рязанова, который сказал мне, что тот предполагает поручить мне составление ещё одной библиографии, на этот раз по истории средних веков. Но дни проходили, а обо мне, казалось, забыли. Наконец, как-то утром я снова наведался к секретарю, который заявил мне : « Рязанов велел сказать вам, что работы больше не будет ».

У меня было такое чувство, что мне вдруг повернули спину. Рязанов и здесь оказался настоящим самодуром. Отказав мне в дальнейшей работе и заработке, он даже не поинтересовался тем, как выполнил я предыдущую. Характерно, что ни он, ни кто-либо из его служащих не спросил меня о тетрадях, не попросил меня представить их, как оправдание выплаченных мне денег. Этот эпизод свидетельствует о состоянии отчётности в расходовании денег в Институте. Что касается человеколюбия, проявленного Рязановым, то, если давая мне работу, он руководился добрым движением сердца, внезапно отказывая мне в ней, он действовал, повинуясь своему капризу.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИИ РИМА

Мои отношения с Рязановым, однако, на этом не кончились. Год спустя я получил от него новый заказ на другую, настоящую научную работу. Я думаю, что этот заказ устроил мне Д. М. Петрушевский, который всегда сочувственно относился ко мне. Именно Петрушевский сообщил мне об этом намерении Рязанова дать мне работу. Дело шло о написании целой монографии на тему о Гракхах и аграрном движении в Риме, тема, которой я занимался уже в течение многих лет, начав работу над ней ещё до войны.

По учёной степени я за несколько лет до первой мировой войны дошёл до звания « магистранта », т. е. выдержал магистерский экзамен, что по прежним обычаям учёного цеха являлось преддверием к защите диссертации на степень магистра. Эпоха перед войной 1914 года была золотым временем для всякого рода учёных работ, диссертаций, монографий, статей и прочее. Большинство их, как мне лично тогда казалось, обладало одним общим свойством : то, что можно было сказать на одной странице, расписывалось на целую статью в один-два печатных листа; то, что можно было с большим успехом и экономией времени как для автора, так и для читателей, уместить в небольшую статью раздувалось в объёмистый том. Иной раз, сидя в библиотеках и оглядывая бесконечные ряды книг на полках, я думал о том, что ведь в сущности на свете так много книг потому, что каждая новая книга в той или другой пропорции повторяет то, что уже высказано в предыдущих, иногда для опровержения,

иногда для подтверждения. Окидывая мысленным взором количество книг и особенно периодических изданий, с каждым годом возраставшее, пожалуй, в геометрической, а не в арифметической прогрессии, я испытывал жуткое чувство за судьбы человечества, которому в случае дальнейшего мирного развития культуры грозила опасность утонуть в океане печатной бумаги.

Исходя из тогдашнего моего мнения об учёности и учёных произведениях, я решил не очень торопиться с внесением собственной моей доли в общую сокровищницу « печатных трудов » человечества, но поведать миру результаты своих исследовательских трудов лишь тогда, когда я смогу по чистой совести предложить ему « открытие », т. е. нечто, что до меня не было сказано никем. После выдержания мною магистерского экзамена в 1911 году на мои научные изыскания в области социальной истории Рима ушло три года, чем были оправданы слова одного французского историка, что « pour un jour de synthèse il faut des années d'analyse ». Свои работы я вёл в различных направлениях, и в моей голове уже довольно определённо сложилась совершенно новая концепция социально-экономической эволюции римской республики; но формулирована и изложена на бумаге она была лишь в некоторых своих частях. Мне самому и в голову не приходило, что труд мой представляет уже нечто вполне созревшее и достойное быть предложенным вниманию моей учёной братии и кругу читателей. Толчок этому был, однако, дан извне летом 1914 года, когда мне было предложено принять участие в научном сборнике в честь одного крупного русского историка. В короткой статье, которую я озаглавил весьма скромно и осторожно, я дал своё новое толкование одному важному источнику, опровергавшее общепринятое его понимание, причём это моё толкование в сопоставлении с другими источниками открывало новые перспективы в понимании социально-экономической эволюции Рима. Без ложной скромности скажу, что, если бы я согласился действовать в духе современных цеховых приёмов, я мог бы уже тогда сделать из моей статьи магистерскую диссертацию.

Война и революция с её хаосом, потеря средств, необходимость заработка прервали мою работу, и я мог заниматься ею только урывками; всё же я сделал кое-что и даже в невозможных для науки условиях революционных годов опубликовал несколько статей. Предложенная мне монография должна была появиться в серии книг по социально-экономической истории, которая издавалась при Институте Маркса и Энгельса.

В назначенное время я явился к Рязанову. Он принял меня любезно. Надо сказать, что к этому времени моя научная квалификация повысилась чисто внешним образом. Моё имя появилось на оборотной странице обложки последнего номера « Revue historique », полученного в Институте из Парижа. На этой странице под рубрикой Les prochains numéros contiendront среди прочих статей значилась и моя статья « Recherches sur l'histoire du mouvement agraire des Gracques ». Это кое-что значило в глазах моих коллег-историков. Как заграничный товар по старой традиции имел у нас репутацию лучше своего русского, так точно и произведения научного творчества. Традиция преклонения перед Западом и вообще перед всем иностранным в России укоренилась, пожалуй, неистребимо. Большевики и сейчас свирепо борются против неё, но едва ли им её победить. Суровые кары загонят её вглубь с поверхности жизни, но и в глубине она будет жить и, может быть, даже усиливаться. Ведь недаром же во всём, что касается культуры материальной, а также « идей », мы с XVII века непрерывно смотрим на Запад. Если бы моя статья была напечатана по-русски в каком-нибудь русском историческом журнале, на неё никто не обратил бы внимания. Но она принята во французский журнал, да ещё такой, как « Revue historique », имеющий мировую репутацию. Значит, я приобщаюсь к кругу учёных с мировым именем. Конечно, бывают и в таких журналах заурядные статьи, но если туда принимается статья иностранца, значит она должна представлять нечто выдающееся.

Таков приблизительно должен был быть ход мысли и у Рязанова, и этим я объясняю его любезный

приём. Предложение, сделанное им мне, заключалось в следующем: в течение года я обязывался представить Институту монографию о Гракхах и аграрном движении в Риме размером в 15 листов. За это в течение же года мне выплачивался гонорар в 100 рублей ежемесячно. По тогдашним условиям жизни в Москве, гонорар этот был грошовый. Но меня соблазняло другое, а именно перспектива, что работа моя будет напечатана, увидит свет, что мои оригинальные научные взгляды сделаются известны, станут общим достоянием науки, устранят некоторые предрассудки, укоренившиеся в ней, благодаря авторитетам историков старой школы середины XIX века.

Я усердно принялся за работу, но условий, поставленных мне Рязановым, я не выполнил. Самый процесс работы увлёк меня в сторону детальной разработки целого ряда специальных тем, которые были чрезвычайно важны сами по себе, но которые невозможно было трактовать в небольшой книге, предназначенной не для специалистов, а для широкого круга образованных читателей. Рязанов продлил мне срок работы и, в конце концов, я представил ему около 27 листов, напечатанных на машинке, т. е. обширное исследование по аграрной истории Рима конца республики, основным ядром которого было исследование всех обстоятельств и условий аграрной реформы Тиберия Гракха.

Ко времени представления моей работы интерес ко всей серии у Рязанова, по-видимому, остыл. Работа моя так и не увидела света.

ПИСЬМА К СЕСТРЕ
(1927 — 1929 гг.)

Начато 6, кончено 11 февраля 1927.

Дорогая Виточка,

Спасибо тебе за твоё письмо и спасибо за то, что ты, как ты выражаешься, « не унываешь за меня », т. е., по-видимому, ещё веришь в мою звезду. Признаюсь, что и я, à la fin des fins, не унываю, ибо смотрю на все мои невзгоды, как на ниспосланное мне испытание, и стараюсь переносить их и извлекать для себя из них полезный урок. Я верю также, что истина задушена совсем быть не может, что рано или поздно она восторжествует. Поэтому и бодрость духа меня не покидает. Притом же, как ты увидишь из моего письма дальше, судьба не только делает мне кислые мины, но иногда также дарит улыбками. А сегодняшний день прямо-таки принёс мне большую радость. Много оттисков моей статьи я разослал специалистам, и вот сегодня пришли ко мне два первых отзыва о моей работе из Германии и из Парижа. Последний, в особенности интересный, написан профессором Сорбонны Carcopino. Вот дословно, что он пишет :

« Votre article m'avait frappé dès son apparition et je n'avais pas attendu votre gracieux envoi pour le lire, en faire mon profit, et le signaler, dans mon cours public sur les Gracques, à l'attention de mes étudiants. Votre méthode est excellente, et je suis d'accord avec vous et je l'ai dit publiquement, sur votre interprétation des « Italiens » d'Appien ».

Я пишу тебе эти слова не из пустого хвастовства, милая Вита, хотя и не скрываю, что они возбуждают во мне глубокую радость, — радость достижения истины и сообщения о ней людям, которым она действительно дорога, и которые способны ценить её достижение. Эти слова для меня, как струя свежей воды для одинокого и жаждущего путника, который идёт по тернистой дороге и нигде близ себя не видит ни подкрепления, ни поощрения. (Извини меня за высокопарные и, может быть, смешные сравнения и риторику!) Вот этот-то отзыв придаёт мне смелости думать о следующем проекте.

22 мая 1927.

[...] Гракхи мои подвигаются. Я уже подал в издательство 5 написанных мною листов. То, что я последнее время как-то близко стал к французской науке, что появляется возможность издать и эту книгу на французском языке, всё это меня чрезвычайно радует. Помимо чисто личных соображений, главную роль играет для меня моё уважение к французской науке и особенно это уважение моё стало сильно последнее время, когда мне приходится ознакомляться со множеством книг по моей специальности — книг в большинстве немецких. Ты не можешь себе представить, сколько кретинов среди немецких учёных, и как глубока, серьёзна и *правдива* в сравнении с ними французская наука! Быть может, отчасти это объясняется тем, что в Германии за науку берётся почти всякий, тогда как во Франции только избранные. Докторская степень, которая всякого почти студента заставляет писать диссертацию, вносит в науку множество не только посредственного материала, но попросту хлама. При этом, сама организация получения этой степени заставляет авторов делать свои утверждения, часто просто « в угоду » данному профессору, и, таким образом, нередко служит распространению и укреплению заблуждений. Но это далеко не единственная отрицательная черта немецкой науки. По-моему, поразительным является ещё тот факт, что среди самых крупных историков Германии есть такие, которые,

рядом с большою серьёзностью и здравомыслием, в открытии и описании простейших явлений истории оказываются просто легкомысленными болтунами, коль скоро дело идёт о сопоставлении этих явлений, о комбинировании их для составления суждений о явлениях более сложных, притом таких явлениях, которые могут быть воссозданы только косвенным методом, а не прямым извлечением их из источников. Поэтому общие характеристики эпох или состояний общества, роли отдельных личностей и т. д. у большинства немцев, не исключая и знаменитого Моммзена, часто отзываются каким-то безвкусием, тем, что французы называют platitude. Далее, именно немцы любят и ввели в моду манеру мудрствовать и усложнять проблемы, чтобы придать себе вид сугубой учёности. От этого недостатка не свободны и крупнейшие. Можно себе представить, до каких размеров доходит он у их последователей, учёных второго или даже четвёртого сорта. В данном случае, другое качество, вообще положительное, превращается в большое зло, а именно трудолюбие. Именно оно помогает немцам нагромождать сложнейшие исследования там, где в сущности всё можно было бы решить легко и просто. Я бы даже сказал, что рядом с отсутствием меры, немецкая наука носит иногда просто какой-то наглый характер. Именно наглый, в противоположность французской трезвости и скромности, которые просто поразительны. Недосягаемым образцом в этом случае является Fustel de Coulanges, но он сделал здесь школу, и все, в сущности, французы являются его последователями в этом отношении. Всю мою жизнь, стараясь образовать себе исторические представления, я видел в этом учёном для себя образец, и мне кажется, что вообще, по своему научному духу, я гораздо более сроден французам, нежели немцам. Мне поэтому чрезвычайно отрадно теперь уже реально стать в близкие отношения с французской наукой и французскими читателями. Но, конечно, всегда остаётся при мне моя робость и неуверенность в себе. Что может дать им моё творчество? Это вот и смущает меня и рядом с дерзновенными попытками заставляет сомневаться в их успехе.

[...] Милая Виточка, я очень благодарен тебе за

всё, что ты делаешь для меня. Научная моя связь с Францией, если она наладится понемногу, быть может выведет меня и мою семью на более светлое и свободное поле жизни из тесного и смрадного угла, куда загнала нас современность наша русская.

3 августа 1927.

Дорогая Вита,

« И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды... » с таким настроением берусь я за это письмо к тебе, хотя конец этого отрывка и не соответствует действительности, ибо близкие мои все со мною, за исключением Наташки, которая тоже завтра вернётся из Москвы.

Однако, так, уж по привычке приходят на ум эти слова поэта, когда взгрустнётся без определённой причины. Да, мне грустно, и не знаю отчего. Оттого ли, что погода испортилась, оттого ли, что меланхолический вечер, тёмные контуры сосен и осин смотрят в окно моей избы, оттого ли, что незадолго просматривал я главу, посвящённую La grande guerre в Histoire Universelle de Malet, édition Hachette, оттого ли, что близок конец нашего короткого, и в этом году особенно короткого, лета, оттого ещё, может быть, что ни ты, ни Лёля, ни Петя, уехавший на Кавказ, давно, давно ничего не пишете?... Да и мало ли причин для безотчётной грусти? Но каковы бы они ни были, в этом настроении захотелось мне отвести душу беседой с тобою и этим, может быть, рассеять его и вернуть душе бодрость.

Лето уже кончается и протекло оно как-то незаметно и скучно. [...] Единственное из ряда вон выходящее событие этого лета для меня — путешествие пешком вдоль Москвы-реки почти до самой Москвы на протяжении 100 верст. Сделал я его с Ваней в трое с половиной суток. Видели прекрасные места, ночевали в сараях на сене, окунулись в деревенскую Русь. Хорошо бы повторить подобную эскападу, но погода не позволяет, да и времени теперь уже нет. Отложим до будущего года. Да, короткое у нас

лето. С небольшим два месяца назад я приехал сюда и застал ещё голые деревья, а теперь уже осень чувствуется в воздухе. Ну, как тут не загрустить?

4 декабря 1927.

Дорогая Вита,

Твои оба письма, мне — летом, и Зине — осенью, мы своевременно получили. Пришла зима, и вот только теперь я собрался ответить тебе. Уже одна эта задержка должна характеризовать тебе нашу жизнь. Такова она, что и за перо браться не хочется. Дни бегут один за другим, однообразные и серые. Мы почти нигде не бываем, ничего и никого не видим (видеть, впрочем, и нечего), у нас тоже не бывает почти никто. В таком однообразии время проходит бесследно и незаметно. Иногда вспомнишь что-нибудь, что было три-четыре года тому назад, и удивляешься, неужели так много времени с тех пор прошло? Материально наше положение по-прежнему необеспеченное и трудное, но мы притерпелись и о нём не думаем. [...] Не знаешь совсем, о чём писать. Своя жизнь бледна, а кругом пустыня. Люди все переменились, ни с кем почти я не поддерживаю отношений, все материалисты какие-то стали. А сколько лакейства и пресмыкательства у некоторых?! Трудно просто представить себе, что это те же люди, что и прежде (т. е. по имени и фамилии).

Так-то, Виточка. Мы бы ничего, нам уже доживать свой век осталось, а вот дети, их жалко. Ведь молодость их идёт, и ничего они не видят отрадного. Единственное, кажется, что у них есть в этом отношении, это наш неразрывный семейный союз и моё с Зиной полное единение...

[...] P.S. — Впрочем, ты не думай, что я целиком подпал « духу уныния ». У меня есть в жизни область, свободная от воздействия текущей реальной жизни, область созерцания. Я в ней, правда, совсем почти одинок, но это не умаляет ценности моих переживаний. Писать тебе о них я не могу, так как это слишком индивидуально, и будет тебе совершенно непонятно. В связи с этим произошла и переоценка ценностей.

Однообразие и бледность действительной жизни поэтому кажутся не так уж страшными, ибо её ценность в моих глазах сравнительно с довоенным временем стала совсем ничтожной.

9 июля 1929.

[...] Сегодня я снова прибыл в Москву с дачи, где провёл два с половиною дня при восхитительной погоде. Эта погода держится стойко уже неделю подряд — явление редкое в последние годы. В Москве невыносимо, жарко, душно, неустройство и грязь в квартире. Всё это вместе с сложностью ухода за самим собою и питания заставляет меня торопиться с отъездом на дачу окончательно. До сих пор меня задерживала нерешённость одного весьма интересного для меня дела. Теперь оно решается в мою пользу, и в результате я получаю очень интересную, хотя и трудную работу. Это — перевод « Биографий 12 Цезарей » Светония Транквилла, римского автора II в. по Р. Х. Предложение идёт от Издательства Союза Писателей, так называемой « Федерации ». Мне стоило много энергии, чтобы добиться этого заказа, вплоть до выполнения пробного перевода одной из биографий. Эта проба получила одобрительный отзыв и работа осталась за мною. Кроме перевода я должен ещё написать вступительную статью под заглавием « Римская История и Светоний » и дать примечания к тексту. Вся книга составит листов 15. Помимо всего прочего такую работу вполне можно зачесть как солидный научный труд.

У меня образовался обычай читать какую-нибудь лёгкую книгу среди трудных научных занятий. В настоящее время я заканчиваю известную книгу Geffroy, *Claude Monet, sa vie, son œuvre,* в двух томах. Среди всей новой живописи Моне — мой любимец, я ставлю его на первое место в группе импрессионистов и всех после-импрессионистов. Не знаю, известно ли тебе, что Щукинский музей соединён с Морозовским, и почти все картины Моне, имеющиеся в Москве, висят теперь в одной комнате. Это какое-то торжество искусства, и, глядя на необычайные эти вещи, не можешь подавить в себе глубокое волнение. Читая же био-

графию Моне, видишь, что картины эти суть произведения не только огромного и оригинального живописного дара, полученного художником от природы, но и великой жизни, проведённой в сплошном и непрерывном подвиге труда над выявлением помощью живописных образов свойственного художнику понимания мира, природы и их жизни. И этот пример ещё раз показывает, что величие каждого мастера измеряется всё же не мастерством его, но величием его духа, или, точнее, мастерство т. е. совершенство в известном умении, в данном случае в живописи, достижимо лишь при наличии этого духа.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ И ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРЕПОДАВАНИЕ ЯЗЫКОВ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

О каком-то применении себя к жизни ради хлеба насущного приходилось опять думать. Счастливый случай помог мне найти занятие и даже на некоторое время восстановить свою « академическую » карьеру, что впоследствии сыграло очень важную роль при получении мною академической пенсии и тем самым определении моего гражданского состояния.

Моя старшая дочь к этому времени уже окончила вуз и занималась преподаванием новых языков. Её специальностью был, собственно, французский язык, но в погоне за заработком она преподавала также и немецкий, который сама знала несравненно хуже. Она взялась преподавать этот язык одной уже подвинутой ученице. После нескольких уроков, убоявшись трудностей дальнейшего преподавания, она предложила своей ученице продолжать занятия со мною. Ибо я гораздо опытнее её и принесу ей больше пользы. Ученица согласилась, и таким образом у меня создалась новая специальность и новая возможность заработка, совершенно для меня неожиданная.

Занятия с первой ученицей вскоре прекратились из-за её болезни : но они дали мне идею, что я могу зарабатывать преподаванием немецкого языка. В те годы новые языки, можно сказать, стали некоей idée fixe большевиков. Знание новых языков в широчайших кругах специалистов сделалось в их глазах conditio sine qua non строительства социализма. Не говоря о средней школе, преподавание новых языков было введено во всех вузах, и для осуществления этой задачи привлекались люди, не имевшие ни научной филологической подготовки, ни педагогического стажа,

лишь бы они знали практически иностранный язык. Это была грандиозная затея большевиков, совершенно в их стиле, с намеченными грандиозными перспективами. Для выполнения этих перспектив, однако, не хватало как раз необходимых предпосылок.

Как известно, школа второй ступени должна была постепенно охватить всё население СССР. Семилетки и десятилетки появились не только в городах, но и в деревнях. В обе школы шли крестьянские дети массами. И вот в этих школах был сделан обязательным иностранный язык и в первую очередь (а иногда исключительно) именно немецкий язык. Иностранные языки были сделаны обязательными также на рабфаках и во всех без исключения вузах. Их преподаванию придавалось огромное, реальное значение, а не то чисто формальное, какое придавалось им в прежней дореволюционной средней школе. Отметке по иностранному языку придавалась такая же важность, как и отметке по главной специальности учащегося.

Но как во всём, как в главной цели, поставленной себе большевиками — создании нового социалистического строя, так и в этой частной области оказалось несоответствие между целью и средствами, а также и общими окружающими условиями.

Для искусственного и сознательного усвоения языков необходимо не только практическое знание своего родного языка, необходима так называемая « языковая культура », т. е. приобретённое в школе сознательное знание своего собственного языка и прежде всего его грамматики и литературный подход к нему. 90% всех учащихся в советских школах всех ступеней этой « культурой языка » не обладали. Далее — что особенно важно — необходимы были соответствующие преподаватели высокой квалификации. Но из моего опыта я убедился, что среди всех лиц, почти без разбора привлечённых советской властью к преподаванию языков в высшей школе 1), добрая половина вообще не могла быть названа преподавателями, из

1) О преподавателях средней школы я имею сведения гораздо менее полные. (Примечание автора).

другой же половины 9/10 были бездарностями, относившимися притом к своему делу чисто формально.

Положение с преподавателями новых языков было, однако, вполне в порядке вещей. И тут, как во всём другом, этот порядок был общим для всего строительства социализма. Взяться за преподавание новых языков людей заставляла прежде всего нужда. Всякий, кто умел говорить или даже только читать на иностранном языке, спешил предложить свои услуги. Огромная потребность в учительских « кадрах » заставляла школьное начальство всех ступеней и рангов принимать эти услуги, не обращая внимания на « квалификацию ». Таким образом вышло, что множество лиц из высшего общества, дворянского или буржуазного, нашли себе блестящее применение в преподавании новых языков в вузах. Это были почти исключительно дамы, так как в высшем классе арестам, ссылкам и казням вообще подвергались, если и не исключительно, то главным образом мужчины. Впрочем, среди молодых мужчин, которых каким-то чудом пощадила революция, некоторые преподаватели составили себе даже имя. Но таких были единицы. Напротив, пожилых дам из « общества » был легион и они заполняли собою вузы. Часто эти дамы отлично говорили на иностранном языке, в процессе работы восстановили или приобрели знание грамматики, но они не сделались педагогами, а продолжали оставаться светскими дамами с хорошими манерами, но без всякого умения преподавать. Сюда привходит ещё один отрицательный момент. Потребность в заработке заставляла всех этих импровизированных преподавателей набирать как можно большее число уроков в различных вузах. Некоторые давали по 6, 8, 10 и даже 12 уроков ежедневно. Совершенно ясно, что при такой « нагрузке » урок сводился в огромном большинстве случаев к формальному присутствию преподавателя в классе, к пассивному выслушиванию ответов учеников и в лучшем случае к вялому исправлению их ошибок. Зато среди таких « преподавателей » были лица, зарабатывавшие огромные деньги и жившие припеваючи среди всеобщей нищеты тех годов первой сталинской пятилетки.

Описанный порядок преподавания новых языков в вузах установился давно, а мне и в голову не приходило, что я мог бы найти в нём своё место и обеспечить этим существование себе и своей семье. Нужен был тот случай с ученицей моей дочери, чтобы навести меня на мысль попробовать счастья на этом новом поприще.

В Московском Межевом Институте должность заведующего кафедрой иностранных языков занимал мой знакомый, некто Розенберг, немец по происхождению. Само наличие такой кафедры в вузах показывает, какое значение придавалось этому предмету. Кафедра иностранных языков существовала там наряду с кафедрами математики, геодезии, астрономии и т. д.

По рекомендации этого Розенберга я был приглашён преподавателем немецкого языка на рабфак имени Ломоносова, помещавшийся в бывшем Коммиссаровском Техническом Училище на Тверской.

Рабфак этот был особого порядка. Студентами в нём были рабочие, проходившие курс средней школы «без отрыва от производства»; это значило, что в течение шести утренних и дневных часов они работали на фабриках или на заводах, а вечером от 6 до 11 часов занимались науками на рабфаке под руководством преподавателей. Курс был четырёхгодичный. Он подготовлял «рабфаковцев» в технические вузы.

Казалось бы, для выполнения такой трудной задачи надо было её упростить и сделать наиболее лёгкой: надо было освободить преподавание от лишнего балласта и учить студентов лишь тому, что было жизненно необходимо для общей конечной цели — дать определённый круг технических знаний. Но нет! Помимо этого круга, рабфаковцы должны были ещё усвоить иностранный язык и общественное миросозерцание, основанное на знании исторической эволюции человечества и социально-политической доктрины Маркса. Другими словами, к циклу технических дисциплин присоединялся ещё немецкий язык, обществоведение и политграмота.

Моё преподавание немецкого языка имело успех, и у моих слушателей я сразу завоевал себе популяр-

ность. Секрет этого успеха был, однако, очень прост. Я понял, что эти взрослые, мало развитые и не привыкшие к умственной работе дети нуждаются прежде всего в помощи и руководстве на каждом шагу их трудной « учёбы ». Дело шло о том, чтобы держать весь класс в своих руках под своим неослабным надзором и поддерживать дисциплину и внимание слушателей. Я должен был преподавать на 1-м курсе, который разделялся на две групы, каждая из которых насчитывала около 25 человек. Первое, что я постарался сделать, это запомнить фамилии моих учеников и учениц. Таким образом я мог каждого держать под надзором и в любую минуту поставить вопрос персонально и этим обнаружить, следит ли ученик или нет за общим ходом работы. Эта моя манера сразу подтянула дисциплину и заставила всех держаться настороже в ожидании возможного вопроса с моей стороны.

Помимо такой техники работы с группой, я держался правила педантического исправления ошибок в произношении и разного рода приёмов и ухищрений, вроде хорового чтения и т. д., чем развлекалось внимание, разнообразилась работа. Урок проходил незаметно и оживлённо, мои студенты были заинтересованы и старались изо всех сил. Конечно, мне самому моё преподавание стоило огромного напряжения и при такой системе я не мог бы иметь более четырехпяти уроков ежедневно.

Что же касается объективного успеха, т. е. успеха самого дела, сообщения студентам настоящих знаний, то здесь я не строил себе никаких иллюзий. При всех усилиях и ухищрениях с моей стороны, при всех стараниях учеников, нечего было и ожидать от них положительных результатов сверх приобретения самых элементарных сведений в иностранном языке. Ибо задача, повторяю, была несоразмерна с условиями и средствами её выполнения. Немецкий язык преподавался два раза в неделю по часу, а в промежутках между уроками ученики не имели времени приготовлять какие-либо задания, о которых нечего было и думать. Ведь всё их время вне « учёбы » было занято производством. Следовательно, на моём уроке надо было не только преподавать новый материал, объяс-

нять его, но и заставлять его усваивать путём упражнения. Это была в полном смысле Сизифова работа. К тому же слушатели мои внушали мне часто жалость : в вечерние часы, в душном классе я видел на их лицах часто полную усталость, у некоторых иногда глаза буквально слипались, когда урок приходился на поздний час, и я видел, как иной студент делал огромное усилие, чтобы превозмочь дремоту.

Я только один академический год проработал на рабфаке. Внешне я имел огромный успех. В следующем же академическом году я стал преподавателем сразу в целом ряде вузов : в Институте Народного Хозяйства им. Плеханова (бывшем Коммерческом Институте) в Замоскворечье, в старом Межевом Институте на Басманной. Проработав в нём год, я на следующий год был сделан заведующим кафедрой иностранных языков и таким образом благодаря этому преподаванию, я вернулся в высшую школу, которую покинул весною 1923 года вместе с окончанием моего курса в Минске.

После семилетнего перерыва я застал здесь совсем другие порядки и другое студенчество. Это последнее в массе своей было действительно рабочим и крестьянским; оно было подготовлено на рабфаках и в новой советской школе; среди этой массы попадались редкие выходцы из интеллигенции. И дух студенчества был другой. Оно было, так сказать, пропитано Комсомолом, который тоже вырос и окреп за эти годы. Не все студенты были комсомольцами, но эти последние на каждом курсе, в каждой студенческой группе составляли организованное ядро, руководимое твёрдой и властной рукой так называемых « комсоргов », т. е. комсомольских организаторов. Эти комсорги являлись по существу начальниками также и остальных, беспартийных студентов которые представляли собою пассивную, беспрекословно подчиняющуюся массу. Я помню, как после одного моего урока, когда начался перерыв, но я ещё оставался в аудитории, комсорг авторитетным тоном объявил, что после занятий у студентов должно состояться какое-то организационное собрание. В аудитории раздался сдержанный гул протеста, один или два студента попробовали выступить с

возражениями, но комсорг возвысил голос и резким тоном приказа прекратил эти попытки. Студенты вдруг смолкли и у меня осталось ясное впечатление, словно они согнулись под ударом хлыста.

Совсем другой дух и нравы нашёл я также в преподавательской коллегии. Весь преподавательский персонал Межевого Института состоял из старых преподавателей, начавших свою деятельность ещё в дореволюционные годы. Всё это были серьёзные, опытные, хотя, может быть, и не Бог весть какие даровитые специалисты. Я всего год пробыл в Межевом Институте; поэтому я не успел сблизиться ни с одним из них, и даже фамилии их почти не сохранились у меня в памяти. Тем не менее то странное и ненормальное положение, в которое были поставлены все преподаватели в отношении своей работы, являлось как бы реактивом, выявлявшим некоторые черты характера каждого. И в этом отношении все преподаватели делились на две группы: неприемлющих новый режим и приемлющих его вплоть до готовности всячески его поддерживать и усугублять, даже забегая вперёд. В первой группе большинство составляли старые преподаватели, во второй — молодые, хотя бывали и исключения из этого правила. Конечно, также и профессора, неприемлющие новые порядки школы, ограничивались внутренним протестом, который лишь изредка проявлялся каким-либо ироническим замечанием в разговоре с сочувствующим и надёжным собеседником; вообще же на собраниях и в сношениях с « начальством » они держались позиции покорности и устранения собственного суждения и собственной воли. В профессорской среде не было и тени того будирования в отношении к мероприятиям сверху, а иногда и фронды и бравирования, какие представляли господствующий тон преподавательских собраний и частных бесед семь лет тому назад, когда я ещё состоял профессором Московского Университета. Господствующим тоном на преподавательских собраниях было принятие к сведению и к исполнению, причём разногласие и споры могли происходить только по вопросам выполнения предлагаемых мер, тогда как самые эти меры оставались вне критики. Это как-то

понималось всеми с молчаливого согласия. Различие между двумя профессорскими группами заключалось в том, что неприемлющие больше молчали и держались безучастно и пассивно, приемлющие же проявляли готовность одобрить и принять к руководству и исполнению всё, что исходило от власти. Некоторые, для демонстрации своей особенной лояльности, любили в своих речах ссылаться на директивы и пожелания « партии и правительства ».

Подчинены же непосредственно профессора были деканам факультетов, на которые распадался Межевой Институт, а деканы эти были всё сплошь молодые люди, недавно окончившие Институт и ставшие « аспирантами », т. е. кандидатами на дальнейшую учёную карьеру. Все эти аспиранты были, конечно, комсомольцами или же членами партии. Все они были скорее активистами-общественниками, нежели учёными. Даже самая грамотность их, уменье составить толковый доклад или инструкцию с правильной орфографией оставляли желать многого. Их техническая подготовка, как говорили мне профессора их учившие, не могла идти и в отдалённое сравнение с прежними студентами. Тем не менее они держали себя очень авторитетно, и ни в одном не чувствовалось и тени сомнения в том, соответствует ли он по своим внутренним качествам тому месту, которое занимает. Нужно, впрочем, сказать, что при каждом таком декане-аспиранте состоял старый и опытный профессор, часто бывший декан, назначением которого было помогать нынешнему декану советом и делом.

Некоторое нравственное удовлетворение всё же выпадало на мою долю и в этой общей безотрадной ситуации. Это — невысказываемая словами, но явственно ощущаемая симпатия большинства студентов, которые понимали и оценивали моё отношение к ним, моё желание быть им полезным и положительные результаты нашей общей работы. Ибо такие результаты всё же были. Я помню, как в конце года одна студентка на моём уроке во всеуслышание с чувством удовлетворения заявила : « Я могу сказать, что за этот год я приобрела кое-какие познания в немецком языке ». Кто бы ни были эти молодые люди, какие бы

« классовые » различия и предубеждения нас ни разделяли, сознание, что их удалось чему-то научить, и что они понимают и ценят это — такое сознание до некоторой степени являлось компенсацией за всё то бесполезное, бессмысленное и унизительное, чем по существу являлось преподавание в этой так называемой « высшей школе ».

ПРИДИРКИ НА КАФЕДРЕ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

Несмотря на успешность моей работы и на сочувствие ко мне студенческой массы, как к преподавателю, меня на этом моём поприще ожидала катастрофа. Я был буквально выкинут из Межевого Института, лишился всех своих преподавательских мест, был с позором исключён из профсоюза работников народного образования, и если я не подвергся при этом гражданской деградации, то лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств, а также тому, что карательные меры, если они исходят не от ГПУ или НКВД, но от обычного учреждения не слишком искушённого в полицейских приёмах, иногда не доводятся до конца с неумолимой последовательностью.

Моё исключение из Межевого Института произошло отчасти вследствие интриги, отчасти вследствие моей беспечности и, наконец, вследствие неудачного для меня стечения обстоятельств, которым воспользовалась интрига.

Моя беспечность выражалась в том, что я держал себя слишком независимо, и если даже не называл прямо вещи своими именами, то в выражении своего мнения давал понять, что считаю вещи совсем не тем, за что они выдаются официально и чем их обязан признавать каждый лояльный советский гражданин. Так, однажды в аудитории я сказал студентам, что усвоение науки в том объёме, в каком она усваивалась студентами моего поколения, им не под силу. На это мне прямо возразили, что настоящие-то студенты появились только теперь, прежние же были так, какое-то недоразумение. Из этой реплики я убедился, какого высокого мнения о себе держатся эти наивные невеж-

ды, волею судеб попавшие не на своё место. Но я не подумал о том, что моё мнение о них должно было показаться им оскорбительным и что это мнение должно было быть принято к сведению и поставлено мне в дебет. Как оказалось потом, кое-кому из студентов не нравился мой внешний вид, моя осанка и манеры. В происшедшей со мною истории обнаружилось, что с разных сторон за мною велось наблюдение, как, вероятно, за всяким преподавателем, который не старался стушеваться, принимая на себя смиренный вид и реагируя на всё молчаливым согласием. А затем собранный неблагоприятно характеризующий меня материал был пущен в ход, когда в том оказалась практическая надобность.

В обычаях нашего преподавания было устраивать так называемые « производственные совещания ». Совещания эти представляли собою обсуждение хода работы, её трудностей, причём студентами высказывались различные пожелания и предложения. На одном из таких совещаний в одной из групп поднялся разговор о том, что для некоторых студентов является обременительным усвоение немецкой грамматики; она, к тому же, вовсе не необходима для овладения языком и потому было бы желательно сократить её объём до минимума. Усвоение грамматики было действительно трудно для наиболее невежественных и неразвитых студентов. Я, впрочем, и на собраниях преподавателей вместе с деканами замечал, что среди последних существует взгляд, что я слишком перегружаю моё преподавание грамматикой — взгляд совершенно неверный, но вполне понятный со стороны тех, которые хотели бы устранить по возможности все трудности в « учёбе » и наивно воображали, что настоящий « метод » овладения любой наукой заключается в освобождении её от всяких трудностей применительно к самым неразвитым и неподатливым мозгам. Но все эти замечания деканов-аспирантов стали мне ясны в их значении только впоследствии.

На упомянутом выше совещании мне, конечно, тоже пришлось высказываться в защиту своего метода. Я не видел необходимости идти на какие-либо послабления не только потому, что был убеждён в правиль-

ности своего метода, но и потому, что считал ход занятий в моих группах совершенно нормальным и ясно чувствовал, что большинство студентов довольно ими и стоит на моей стороне. Это сказалось также и на данном совещании. На нём, говоря о трудностях преподавания, я указывал, что изучение языка требует большого напряжения со стороны преподавателя, огромного внимания к каждому ученику. При этом я уподобил преподавателя охотнику, который « натаскивает щенков », обучая их выслеживать дичь. Я сказал также, что мне, имея дело с отстающими студентами, приходится возиться с ними подобно няньке с ребёнком.

Я никак не мог думать, что именно эти слова будут иметь для меня роковые последствия. Через несколько дней один из преподавателей сообщил мне, что в « стенгазете » появилась статья, в резких тонах критикующая мое преподавание. Первое время я не придал этому сообщению никакого значения. Какие-либо обвинения против меня казались мне нелепостью. Я слишком хорошо знал, сколько труда я вкладываю в свою работу, как искренне хочу я помочь студентам и особенно наиболее отсталым и беспомощным среди них. К тому же я был совершенно уверен в сочувствии массы студентов и их поддержке. Поэтому я не обратил никакого внимания на статью и даже не пошёл её прочесть. « Собака лает, ветер носит, — думал я, — на всякое чихание не наздравствуешься ».

Прошла неделя, другая, я никак не реагировал на статью и продолжал свои занятия, как ни в чём не бывало. Между тем, тот же преподаватель посоветовал мне обратиться к декану, дать объяснения. « Ибо обвинительная статья в стенгазете — это угрожающий симптом, и ваше положение в Институте может сделаться неблагополучным ». Слова эти заставили меня прочитать статью. Мне надо было сделать для этого над собой усилие, так как с самого начала я почувствовал всё создавшееся положение как унизительное : Мне надо в чём-то оправдываться? Мне надо читать какую-то дрянь, какую-то ложь, которую пишут против меня в стенгазете? Но ведь сама эта « стенгазета » в моём представлении была подобна некоей

клоаке, в которую стекалась вся грязь, всё отрицательное существующего в нашем институте режима.

Как бы то ни было, пасквильную статью пришлось прочесть. Содержания её я не могу передать, потому что такового в ней не было. Но обвинение заключалось в том, что я питаю ненависть и презрение к студентам, нарочно затрудняю их учёбу грамматикой и ругаю их « щенками ». Следовательно моё отношение к преподаванию есть « вредительское ».

Обвинение это показалось мне столь пусто и бездоказательно, что я не почёл нужным давать комулибо объяснения по их поводу и оправдываться. « Пусть сами дают делу ход, и тогда я скажу что надо ». Таким образом дело продолжало висеть в воздухе. Я по-прежнему ходил на занятия, ни в чём не изменяя своего поведения, оставаясь совершенно спокойным и невозмутимым. Я не допускал и мысли, что из этой ерунды может выйти что-либо серьёзное : я и не думал о необходимости каких-либо особенных предосторожностей в обстоятельствах и ситуациях текущей жизни и работы.

Приближалось 1-ое мая, день пролетарского праздника. Приближался также конец года, время подведения итогов работы. По новым языкам никаких экзаменов не полагалось, и занятия должны были быть закончены к 1-му мая, после чего должно было представить итоги занятий. Для этого нужно было собрать заседание кафедры; так называлось собрание преподавателей и представителей от студенческих групп, происходившее под председательством заведующего кафедры; на нём докладывались результаты занятий, прочитывались списки студентов успевающих и неуспевающих. Студенты присутствовали для контроля; они могли высказывать свои замечания, жалобы и пожелания.

Такое заседание своей кафедры назначил я заблаговременно на вечер 30-го апреля, совсем не приняв во внимание, что это был канун 1-го мая; между тем, этот канун обычно ознаменовывается торжественными собраниями, посвящёнными рабочему празднику и революционным воспоминаниям. Назначить деловое заседание одновременно с такими тор-

жественными собраниями не представляло, строго говоря, большого преступления. Смотря по обстоятельствам, такой акт мог пройти незамеченным или, самое бóльшее, быть признан бестактностью. Ибо заседание кафедры могло быть коротким, что давало его участникам возможность ещё успеть явиться на предмайское собрание. Но у большевиков всякий акт, иногда самый невинный, мог быть легко превращён в преступный. Мне следовало об этом помнить, но я как раз об этом забыл. В самый день заседания, когда я воочию увидел его совпадение с предмайским собранием, я не придал этому значения, подтверждая древнюю мудрость, гласящую, что кого боги хотят погубить, у того отнимают разум. Большую роль для меня играло то, что мне не хотелось отсрочивать заседание, что создавало известную возню, и я решил, что в самом начале заседания предоставлю на усмотрение и голосование его участников, должно ли оно состояться или быть отсрочено ввиду такого совпадения. Я думал, что постановление собравшихся снимет с меня ответственность.

Вопрос, поставленный мною перед началом заседания, вызвал некоторые споры. Тем не менее заседание состоялось, прошло без всяких инцидентов и закончилось довольно скоро; таким образом участники, желавшие присутствовать на торжественном предмайском собрании, свободно могли бы попасть туда.

Этим самым мои функции преподавателя и заведующего кафедрой в текущем учебном году закончились. Но закрывая заседание кафедры, я и не знал, что я сам дал своим врагам в руки новое, удобное оружие против себя.

Через несколько недель, в конце мая или начале июня предстояло общее собрание профессоров и преподавателей Института, аспирантов и представителей от студентов, т. е. от групп и руководителей комсомола. Всё это время я был в неведении относительно моей судьбы в связи с тем обвинением меня в стенгазете, о котором упоминал выше. Мой образ действий, т. е. моя пассивность или равнодушие к происшедшему были необычны. Они тоже, в конце

концов, свидетельствовали против меня, обнаруживая так сказать закоснелость в моей антисоветской, антиобщественной установке. На моём месте « лояльный » преподаватель должен был бы обегать все инстанции — органы комсомола, редакцию стенгазеты, деканат, всюду хлопотать, оправдываться, распинаться в своей преданности режиму, любви к студенчеству. Ничего этого я, конечно, не делал. Я просто ждал, ибо знал, что моя история не кончена, но я далеко не потерял уверенности, что ввиду нелепости взведённых на меня обвинений, мне в конце концов удастся оправдаться, рассеять недоразумение и в крайнем случае лишиться работы в Межевом Институте, что было бы для меня сравнительно не невознаградимой потерей.

День общего собрания наконец настал. На повестке заседания после разного рода учебных вопросов стоял пункт : « дело Кончаловского ». Эта форма уже содержала в себе осуждение, предрешённое заранее, ибо было сказано « Кончаловского », а не « товарища Кончаловского ». Меня, таким образом, не удостаивали титулования « товарищем », этой обычной советской формы вежливости.

Я присутствовал с самого начала собрания, на котором, между прочим, должен был делать сообщение о работе моей кафедры. Участниками собрания, моими подчинёнными преподавательницами, прочими моими коллегами, а также молодыми деканами-аспирантами я был встречен, как обычно, словно ничего не происходило. Только « комсорги » и « парторги », да некоторые представители студентов, старались не глядеть на меня и сидели с зловещим выражением лиц.

Я не могу здесь передать в подробностях заключительную сцену этого собрания — « суд » институтской общественности надо мною. Оно составило бы целую длинную главу; к тому же эти подробности стёрлись в моей памяти. Зато навсегда сохранилось чувство нравственной тошноты, ощущавшейся мною тогда нисколько не слабее, нежели тошнота физическая, и я переживаю это ощущение вновь, когда вспоминаю о том событии теперь уже далёкого прошлого. Кроме этого общего ощущения, я живо помню также отдельные лица, отдельные выступления и

наиболее яркие моменты. Суд надо мною творили все : парторги и комсорги, студенты, на которых я потратил столько усердия и энергии, мои товарищи по кафедре, которым старался быть полезен, насколько мог, и наконец все остальные преподаватели, которым не сделал никакого зла и многие из которых, редко встречаясь со мною, не имели обо мне решительно никакого представления. Должен, впрочем, сказать, что некоторые из них уклонились от позорного участия в этом трибунале : незаметно вышли из залы заседания перед началом действия. Таких было только двое; будь их больше, это было бы сочтено за демонстрацию сочувствия мне. Все прочие остались и если только немногие высказали свои обвинения против меня, то подняли руку за моё осуждение все до одного.

Порядок судопроизводства установили предательски, лишив меня в сущности возможности защиты. Сначала выступил обвинителем против меня комсорг, фигура которого запечатлелась во мне навсегда : маленький лохматый блондин лет двадцати пяти, с острым длинным носом, бледный и с злыми глазами. Я его, собственно, раньше никогда не видал, как и он меня, и мне до сих пор непонятно, откуда набралось у него столько злобы против меня. Называл он меня нарочно просто по фамилии, без обычного приложения « товарищ », как бы исключая меня из числа порядочных людей. Это было, собственно, шельмование, а не суд. Он высказал свои обвинения, которые в общем повторяли статью стенгазеты, но прибавил новое, касавшееся « умышленного » назначения мною заседания кафедры как раз в канун 1-го мая. Этим я, по его словам, доказал своё пренебрежение к великому празднику, свой антисоветский образ мыслей, свою контрреволюционность. Затем он предоставил слово мне. В этом моём слове я привёл основания, по которым я придаю большое значение грамматике, опроверг обвинение, будто я называл студентов « щенками », сослался на мнение студентов, одобрявших мои приёмы преподавания, наконец дал объяснение, почему заседание кафедры совпало с предмайским торжественным собранием, причём указал, что участники заседания — в том числе студенты-комсомольцы — сами не нашли

в таком совпадении ничего предосудительного, и что заседание практически никому не помешало присутствовать на торжественном собрании.

Всё это было выслушано равнодушно и не произвело никакого впечатления. Но предательство заключалось в том, что защищаться меня заставили, собственно, до настоящих обвинений, взведённых на меня « свидетелями », ибо уже после моего слова комсорг предложил присутствующим высказываться.

Конечно, никто из них не выступил в мою защиту. Студенческая масса была за меня, это мне говорили потом частным образом, да это я знал и сам. Но, во-первых, этих студентов на заседании не было, а если бы они и были там, то никто из них не посмел бы выступить в мою защиту. Ибо такой случай уже был, и он окончился печально. После того, как появилась обвинительная статья против меня в стенгазете, в одной из групп произошло обсуждение моих приёмов преподавания. Одна из моих учениц, очень прилежная и успевающая, прямо высказалась в мою пользу и заявила, что считает преподавание грамматики необходимым. Когда она попробовала защищать меня, ей это обошлось дорого. Её тотчас же « разоблачили ». Как это было объявлено потом в стенгазете, навели справки о её прошлом : оказалось, что её отец был начальником тюрьмы; ввиду этого её исключили из комсомола. Последовали ли за этим ещё какие-либо другие кары, мне осталось неизвестным.

Никто на собрании не выступил в мою защиту не потому, что описанный мною случай с комсомолкой послужил им предостережением и терроризовал их. Возможно, что многие об этом случае и не знали. Но за 14 лет большевистской власти в обществе и в особенности в интеллигенции уже успел укорениться дух полного подчинения « власти », и, что особенно важно, « властью » считалось каждое должностное лицо, выступавшее от имени администрации, правительства, партии или комсомола. Идея, что та или другая предлагаемая мера лежит в кругу правительственных взглядов или директив, гипнотизировала людей, парализовала их волю и попросту повергала их в страх. Уже одно появление в стенгазете статьи

против меня означало в общем мнении, что я осуждён, и что выступать в мою защиту, даже частично, значило бы солидаризироваться со мною и подвергать себя той же участи, какая ожидала меня. Зачем же делать это и губить себя, когда меня всё равно не спасёшь?

Итак защитников у меня не оказалось. Зато обвинителей нашлось много. Главными были мои же собственные слушатели, те « убогие », коих беспомощность на уроках возбуждала во мне жалость, и которым я старался всячески помочь, даже видя безнадёжность дела. Обвинение с их стороны заключалось в том, что я нарочно настаивал на грамматике, зная, что она в особенности трудна для студентов, бывших раньше « рабочими от станка ». Ибо я их классовый враг; на уроках меня « аж корчило » от отвращения, когда я слышал их неправильное немецкое произношение; вот как были истолкованы мои старания исправлять произношение студентов. Моя классовая ненависть объяснялась легко, ибо я в прошлом был, очевидно, « что-то великое, может быть, какой-нибудь генерал »... В кавычках я привожу здесь подлинные выражения моих обвинителей, которые я твёрдо запомнил. Запомнил я также их мрачные лица и злобные взгляды, которые они бросали на меня.

Были ли обвинения этих студентов сознательной ложью, подсказанной им организаторами всего этого дела? Я не думаю этого; напротив, я убеждён, что они были искренни. Их пример показывает огромную важность явления, которое мы, люди « гуманистической культуры », так склонны упускать из вида. Это явление — « классовая ненависть ». Мы не замечаем её потому, что в себе её не чувствуем, а « народ » мы идеализируем, глядя на него главным образом с эстетической точки зрения, внушённой нам литературой и особенно Тургеневым. Классовая ненависть была той призмой, через которую они по-своему преломляли и моё преподавание, и моё отношение к ним, и самую мою наружность.

Если про этих несчастных можно было внутренне сказать « прости им, Господи, ибо не ведают, что творят », то поведение моих коллег-преподавателей заслуживает совсем другой оценки. Большинство из

них молчало, но некоторые нашли нужным высказать своё суждение или по крайней мере общее впечатление на мой счёт, полученное ими от моих выступлений на общих собраниях. Впечатление это было не в мою пользу, поскольку я действительно преувеличивал значение грамматики в преподавании, не считался с пожеланиями студентов и т. д. Мотив подобных выступлений был мне ясен: имелось в виду показать свою « лояльность » в этом суде надо мною и активно « отмежеваться » от меня. Этим создавался собственный капитал во мнении партийного и комсомольского « актива » Института, который мог всегда пригодиться в будущем.

Возражать на эти выступления мне не было позволено, ибо я уже дал свои объяснения раньше, а собрание слишком затянулось. Я был осуждён единогласно поднятием руки. В силу приговора я отрешался от заведования кафедрой, от преподавания немецкого языка и исключался из Секции Научных Работников Профсоюза Работников Просвещения. В довершение всего было постановлено довести о моём деле и о вынесенном мне приговоре до сведения всех вузов, где я преподавал немецкий язык; таким образом, я должен был полностью лишиться преподавательской работы, а следовательно и средств к жизни. Исключение же меня из Секции Научных Работников означало ухудшение моего гражданского положения, поскольку моя принадлежность к ней давала некоторые самые насущные и элементарные преимущества, необходимые хотя бы для научной работы. Так, только в качестве члена Секции я имел дополнительную квартирную площадь, т. е. мой бывший кабинет, полный книг, в котором я также спал вместе с моим взрослым сыном, студентом. Лишись я этой площади, моё помещение было бы ограничено только двумя комнатами, где мне пришлось бы тесниться вместе с женою, сыном и тремя взрослыми дочерьми.

Всё пережитое мною в Институте в течение двух последних месяцев и особенно это заключительное собрание и суд надо мною оставили во мне ощущение нравственной тошноты, от которого я долго не мог отделаться. Это тем более, что плюнуть на эту историю

и постараться поскорее её забыть я не мог. Вынесенный мне приговор ограничивал мои возможности существования и мне нужно было добиться либо полной, либо хотя бы частичной своей реабилитации. Мне были открыты два пути : во-первых, путь частных шагов и объяснений с директором Института; им был тогда человек новый, не знакомый с положением в Институте; во-вторых, официальный путь обжалования приговора в пункте исключения меня из Секции Научных Работников в высшую инстанцию, каковою являлась Московская Секция Научных Работников.

Это последнее я не замедлил сделать, но, Боже мой, какую нравственную муку представляла для меня необходимость составлять обширную « кассационную жалобу » с изложением всех подробностей моего дела. Недели две потратил я на составление этого документа, занявшего около двадцати страниц текста большого формата, написанных на машинке. Я подал его в Московскую Секцию, а копию оставил себе, думая, что когда-нибудь, быть может, воспользуюсь этим памятником для составления своих мемуаров. Но, увы, Копия осталась в Москве, и что сталось с нею во время войны, не знаю, а мой нынешний рассказ мне пришлось составлять по памяти.

Ещё раньше подачи моей кассационной жалобы я попробовал также путь частных переговоров с новым директором Института; мне казалось, что дело моё должно было для него остаться неясным, так как мне не разрешено было говорить вторично и оправдаться в возведённых на меня студентами обвинений. Но где там! С первых же слов беседы я понял, что и директор, если бы даже он был убеждён в моей правоте и хотел бы мне помочь, не смеет выступить против тех сил, которые находились здесь в действии, и против мотивов, двигавших ими. Что значила в сравнении с этими факторами личная судьба какого-то одного человека? Мой разговор кончился ничем.

Всё, что произошло со мною в Межевом Институте казалось мне до такой степени странным и непонятным, что я решил попытаться выяснить это у прежнего директора Института, Базанова, который знал мою работу и который очевидно ценил её, поскольку именно

он назначил меня заведующим кафедрой иностранных языков. Я отыскал Базанова на его новой службе; вот, что я от него услышал :

« Причины вашего удаления из Института, — сказал он, — очень просты. Всё это — дело интриги, а интригу против вас затеяли аспиранты, в том числе и аспиранты-деканы. У них был « свой » преподаватель немецкого языка, у которого они занимались уже давно вне Института. Он же был и преподавателем английского языка. Этого « своего » преподавателя они задумали сделать заведующим кафедрой иностранных языков в Институте. Вы были им помехой; никаких « деловых » предлогов для вашего смещения они найти не могли : студенты были вами довольны, они это знали. Поэтому они и придумали предлоги « политические » : ваше отношение к студентам из рабочих, ваше выражение о « щенках » и в особенности то, что вы назначили заседание кафедры накануне 1-го мая ».

Я был совершенно ошеломлён этим рассказом, и в то же время мне сразу стало ясно всё : и внезапные придирки к грамматике, и искажение моих слов о « щенках », и вменение мне в преступление злополучного заседания кафедры. Определённой группе лиц, имевших влияние в Институте, но не всесильных, понадобилось моё место заведующего кафедрой для другого кандидата. Основательных и деловых причин для моего увольнения не было. Следовательно нужно было меня ошельмовать в общественном отношении, выставить « вредителем », « антисоветским элементом », словом, утопить меня в гражданском отношении, — и цель была достигнута : место заведующего кафедрой освобождалось для собственного кандидата. Таким образом мне становилась понятной вся процедура « ликвидации » моей личности; ни один из главных махинаторов всей интриги не выступил против меня — ни один аспирант, ни один декан; но они выпустили своих клевретов, у которых всегда имеется наготове запас « классовой ненависти » : достаточно указать им жертву и дать сигнал к началу травли. Большевистская система верна себе в большом и малом; таким же точно образом, чтобы добыть даровые услуги специалистов и заставить их работать на себя в невозможных

условиях, их предварительно заставляют подписать сознание в мнимых преступлениях.

Объяснения Базанова подтверждались всем дальнейшим ходом дела : ни одна из тех « казней », которые были постановлены собранием в вынесенном мне приговоре, не была приведена в исполнение. Я конечно расстался и с кафедрой и с самим Институтом, но в остальные вузы, где я состоял одновременно преподавателем, никаких сведений о моём осуждении послано не было, и я мог бы продолжать мою деятельность в них, если бы сам того пожелал. Однако, с меня было довольно моих переживаний и моего опыта в Институте. Я решил отказаться от преподавательской деятельности в вузах, где я каждый день не был застрахован от новых « разоблачений » и шельмований. Pour vivre heureux, vivons cachés! Я всегда чувствовал себя неуютно в канцеляриях этих учреждений, где кто-нибудь мог знать моё военное прошлое и « разоблачить » меня уже с другой стороны, а именно как в своё время уклонившегося от службы в Красной Армии и участия в гражданской войне против белых и интервенции.

Как во все годы моей жизни со времени революции, так и в этот раз, в этот трудный для меня момент мне была свыше послана новая « конъюнктура », которая давала мне возможность существовать как бы на положении человека свободной профессии. Эта « конъюнктура » создавалась для меня благодаря назначению мне Наркомпросом академической пенсии в размере полной « профессорской » ставки в 300 рублей в месяц. В этом назначении мне такой пенсии заключалась одна из тех непоследовательностей и даже противоречий советского режима, которые только и давали возможность переносить тяжесть его основных общих условий. О пенсии я стал хлопотать в последний год, будучи заведующим кафедрой иностранных языков в Межевом Институте. Так как я работал в данном случае не по своей специальности, я был зачислен на эту должность с званием доцента, а не профессора, каковым я считался с 1919 года. С тех пор я числился профес-

сором и в Московском Университете, и в Смоленском, и в Минском. Но с 1923 по 1930 г., в моей *педагогической* деятельности наступил перерыв. Эти годы представляли таким образом некоторое умаление моей академической квалификации; выходило так, что профессором я фактически перестал быть с 1923 года, т. е. уже в течение семи лет. И вот тут-то в этом слабом пункте меня выручил Межевой Институт, который, как казалось, кончился для меня так плачевно. Именно факт заведования кафедрой в нём в момент искания мною академической пенсии давал мне право на получение её высшей профессорской ставки. И замечательным является то, что все данные и справки из канцелярии Института я получил как раз в то время, когда против меня уже велась интрига, получил их от заведующего « кадрами » Института, коммуниста, который не просто регистрирует личный состав служащих, но и следит за их характеристикой. Несмотря на всю шаткость моего тогдашнего положения в Институте, дело моё пошло формальным, бюрократическим путём, и вся моя « история » ничуть не повлияла на мои хлопоты о пенсии.

Сумма в 300 рублей ежемесячно представляла некоторую величину в середине 20-х годов, когда она назначалась, но в начале 30-х годов, когда я стал получать её, для всей моей семьи её хватало едва на несколько дней. Но дело было не в деньгах, а в чём-то гораздо более важном. Каждый советский обыватель только тогда считался полноправным гражданином, когда он был связан с определённой государственной службой и состоял членом профсоюза. Человек « свободный », не служащий всегда находился под различного рода подозрениями, и прежде всего в том, что он живёт на « нетрудовой доход ». Он не был защищён от покушений фининспектора, когда он подавал сведения о своем подоходом налоге; он не был защищён в своих квартирных правах и вообще всегда мог подвергнуться какой-либо неожиданной неприятности или ухудшению условий своего существования, чем была так богата советская жизнь. И вот в таком-то ненадёжном режиме академическая пенсия была настоящей привилегией. Звание « академического пен-

сионера» само по себе являлось гражданским оформлением. Его обладатель мог нигде не служить, не состоять ни в каком профессиональном союзе. Считалось, что он обеспечен пенсией; его заработок, если бы он получил его, рассматривался как добавочный доход.

Получение мною академической пенсии вскоре после того, как я потерпел такое крушение, означало для меня настоящее освобождение: я не нуждался теперь ни в службе, т. е. в преподавательской работе, ни в профсоюзе, из которого я, согласно вынесенному мне приговору, должен был быть исключён.

Я говорил выше о том, что против исключения меня из Секции Научных Работников я подал кассационную жалобу в Московскую Секцию. На эту жалобу я никакого ответа не получил, но, как оказалось потом, я вовсе не подвергся исключению из Московской Секции, а благополучно продолжал числиться в ней. Этот факт тоже относится к странностям и непоследовательностям советского режима, несколько смягчающим его общую жестокость. Я никогда не пытался выяснить причину этой непоследовательности в данном, касающемся меня случае. Я решил просто не напоминать о себе; предположения же тут могут быть различные: возможно, что Секция Научных Работников Института не довела моего дела до сведения Московской Секции; быть может, в этой последней секции на него не обратили внимания, но не исключена и возможность, что моё дело вообще пропало, было затеряно и потом забыто. Всё это я сообщаю так подробно, чтобы дать читателю представление о мелочах советской жизни, которые, однако, часто оказывались для нас важнее и чувствительнее нежели иное крупное обстоятельство. Как бы то ни было, волею судеб вышло так, что ни одна из опасностей, нависших тогда надо мной, не оказалась реальной; все они мрачной тучей прошли над моей головой, не разразившись грозой.

Если тучи на этот раз ушли с моего горизонта, то это, однако, не значит, что их сменило ясное, голубое небо. Такого неба не видит над собой ни один советский

гражданин, казалось бы самый удачливый и высоко поставленный. Небо нашей жизни оставалось тусклым, серым, но было хорошо уже то, что вся эта кошмарная история кончилась.

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Опять-таки удивительным новым совпадением явилось то, что, потеряв преподавательскую работу в вузах, я получил другую, совсем иного рода, которая в данных условиях устраивала меня гораздо лучше и безопаснее. Как раз в это время Институт Маркса и Энгельса предпринимал огромный капитальный труд, с точки зрения большевиков имевший чуть-что не всемирно-историческое значение. Я имею в виду « Полное собрание сочинений Маркса и Энгельса », выполняемое заново целым штабом научных сотрудников в русском переводе, сделанном с критически проверенного текста немецких и английских подлинников. Организация всего этого предприятия замечательна и очень характерна для большевиков. Её стоит рассказать подробно на основании моего личного опыта, ибо я в течение двух лет близко стоял к этому делу. Будучи привлечён к переводу на началах сдельной работы, я в третий раз вошёл в соприкосновение с Институтом, представляющим заметное и характерное явление « культурной » жизни большевизма.

Это было в начале 30-ых годов, и Рязанова там уже не было. Он не только был свергнут с поста директора Института, он был выброшен из жизни вообще, объявлен « врагом народа », посажен в тюрьму, а потом сослан. Все связанные с падением Рязанова события, вероятно, рассказаны в какой-либо книге; ко мне они не имеют никакого отношения, и я расскажу о них, что знаю, только в двух словах.

По-видимому, закат Рязанова связан каким-то образом с восхождением звезды Сталина. Рязанов принадлежал к старой гвардии большевиков, получивших

впоследствии репутацию « идейных » в противоположность тем авантюристам, которые стали захватывать руководящие посты вместе со Сталиным и благодаря ему. В прежней среде Рыковых, Бухариных, Каменевых Рязанов был свой человек; не занимая лично никакого руководящего поста, он позволял себе вмешиваться в политику, возвышать свой голос, спорить, будировать. Со времени победы Сталина ему пришлось сжаться и ограничиваться непосредственно делами Института. Но он позволил себе смелую меру. В сотрудники Института он принял многих лиц, старых революционеров, отчасти партийцев, отчасти меньшевиков скомпрометировавших себя каждый по-своему в бесконечной путанице партийных и политических « линий », дискуссий и склок. Очевидно, над деятельностью Института уже давно был установлен надзор ГПУ. В одну злополучную для Рязанова ночь, в 1930 году, в Институт нагрянул целый отряд агентов ГПУ, был произведён обыск, Институт на некоторое время был закрыт для обыкновенных сотрудников и посторонних посетителей читального зала. А затем, когда расследование кончилось и двери Института открылись, его администрация оказалась полностью обновлена в своём составе.

С этим новым составом мне и пришлось иметь дело, когда, благодаря чисто случайным знакомствам, меня пригласили участвовать в переводе произведений Маркса и Энгельса, который выполнялся теперь заново для нового издания « Полного собрания сочинений Маркса и Энгельса ».

Новым директором Института был теперь Адоратский, старый большевик, теоретик, не игравший, по-видимому, никакой роли в партии. Это был пожилой, вполне приличный и культурный человек, на вид скорее симпатичный. Мне всего раз пришлось иметь с ним дело лично, когда он просил меня объяснить ему какое-то место в тексте одной английской статьи Маркса. Секретарём Института был некто Бирман, человек лет тридцати пяти. Это был какой-то совсем странный тип, пошловатой наружности и очень mauvais goût, похожий скорее на коммивояжера, чем на коммуниста, да ещё идейного и теоретика. С этим

Бирманом мне и пришлось иметь главным образом дело и, признаюсь, это было чрезвычайно тягостно. Хотя меня в Институте очень ценили как переводчика и не скрывали этого, тем не менее Бирман этот был весьма далёк не только от учтивости, но и от соблюдения самых обыкновенных правил междучеловеческого общения. При встречах не здоровался, даже когда призывал в свой кабинет, и не отвечал на приветствие. Это было, впрочем, не актом неуважения к нам, переводчикам, людям уже пожилым и, что называется, почтенным, это было особым тоном, принятым среди коммунистов, но нам, людям старого закала и старых привычек, было весьма не по себе, когда приходилось иметь дело с подобным типом.

Моя роль и роль подобных мне других переводчиков была весьма оригинальна, и о ней необходимо сказать, так как она характеризует постановку « научных » работ, исходящих из « научных » учреждений большевиков.

Всё предприятие было громадно. Издание должно было охватить не только научные произведения обоих корифеев марксизма, но и все их мелкие произведения разнообразного содержания, в том числе статьи в разных журналах и изданиях, например, в Американской Энциклопедии, и также газетные корреспонденции. Когда я был привлечён к этой работе, она была уже в апогее и основные сочинения были уже переведены. Тем не менее и на мою долю досталось немало материала, и за два с лишним года работы в Институте я перевёл не менее 150 печатных листов различных текстов Маркса и Энгельса. Основным ядром этих материалов были английские газетные статьи Маркса в Chicago Herald Tribune, статьи весьма интересно и живо написанные и посвящённые самым разнообразным темам европейской политики и экономики 40-х годов XIX века. Переводы эти были для меня полезны не только в смысле общеобразовательном, но и в смысле усовершенствования в английском языке. Ибо стиль Маркса был часто труден, и для преодоления его трудностей я стал обращаться к известной в то время в Москве преподавательнице английского языка, Дмитриевой-Мамоновой, без помощи

которой я едва ли бы справился с этой работой. Статьи Маркса были написаны совсем не в марксистском и даже не в социалистическом духе, а попросту в либеральном. Статьи Энгельса, написанные им для Американской Энциклопедии и все посвящённые военной истории и вопросам военной техники, просто даже поражали своим батальным одушевлением и глубоким интересом даже к деталям военного дела.

Итак, мне и нескольким другим переводчикам-специалистам было поручено выполнение перевода. Казалось, дело тем и должно бы было ограничиться. Но нет! Ведь переводу подвергался не какой-либо простой текст простого смертного. Издание выполнялось под редакцией Адоратского, как и значится на его обложке. Но текст наших переводов не шёл прямо к нему. Он передавался на « редакцию » так называемым « научным сотрудникам » Института.

Россия всегда была страною неожиданностей и своеобразия. Но своего апогея эти характерные черты её быта достигли только при большевиках. В данном случае неожиданность заключалась в полном несоответствии явления своему названию. С понятием « научного сотрудника » мы привыкли ассоциировать какой-то образовательный ценз, известный запас знаний, некоторый опыт самостоятельной научной работы, наконец, известный культурный облик, сказывающийся уже в самой внешности данного субъекта : интеллигентность лица, известная одухотворённость его выражения, присутствие какой-то мысли в глазах. Ничего этого нельзя было заметить в наружности сотрудников Института. Их внешность сразу изобличала их происхождение из некультурной среды, а при первом же контакте с ними на почве работы над текстами Маркса и Энгельса обнаруживалось полное отсутствие в них научной подготовки и общего образования. Единственное условие, которому должна была удовлетворять их « научность » — это знание основ марксизма-ленинизма, но и то было сомнительно, проистекало ли это знание из первоисточников или из изложения марксистских догм на специальных курсах, которые они должны были проходить и усваивать. В этом и заключалась вся их научная подготовка. Но в

том, что касается нашей переводческой работы совместно с этими молодыми людьми, самым замечательным и прямо-таки невероятным было то, что они « редактировали » наши переводы, почти вовсе не зная соответствующего языка — немецкого или английского. Естественно, что « редакция » иногда превращалась в искажение, и переводчику приходилось затем тратить много времени и хлопот, а иногда и портить себе много крови, чтобы восстановить смысл испорченного текста. Как пример, приведу один случай, когда в статье Маркса термин Administration с большой буквы, применяемый обычно к английскому кабинету министров и соответственно переведенный мною как « Правительство », был моим « редактором » переправлен на « администрацию ». Исправленный текст затем попал в мои руки, и я с большим хлопотами и с помощью одного английского коммуниста Фокса — молодого человека из семьи русских евреев, эмигрировавшей в Англию, смог восстановить первоначальный правильный перевод. Но то был особый счастливый случай. Обычно « прередактированные » научными сотрудниками тексты не возвращались к нам, переводчикам, и мы не могли поэтому знать об их дальнейшей судьбе. С точки зрения хорошей и добросовестной работы это было досадно и обидно. Но по существу дела это было безразлично. Репутация наша, как действительных авторов перевода, не страдала ничуть. Ведь наше имя не ставилось на обложке, где обозначалась только общая редакция Адоратского, а в предисловии говорилось, что такой-то том сочинений Маркса и Энгельса был « подготовлен к печати » сотрудником Института имярек.

И вот что при этом характерно для наивности или, если угодно, цинизма большевиков. Те самые « научные сотрудники », которым поручалась « редакция » моих переводов с немецкого, были сделаны моими же учениками немецкого языка. Дело это произошло таким образом. Как видно из моего предыдущего рассказа, я получил работу в Институте Маркса и Энгельса как раз после катастрофы моего преподавания немецкого языка в Межевом Институте. Под свежим ещё впечатлением кошмара учинённого надо

мною суда я был счастлив забыть о преподавании и студентах, и погрузиться в переводческую работу в тишине моего кабинета или читального зала Института. Но судьба судила иначе. Администрация Института Маркса и Энгельса каким-то образом прослышала о моём преподавательском прошлом и моей хорошей репутации на этом поприще. Несмотря на все мои отнекивания, Бирман буквально навязал мне группу служащих Института, стремившихся к изучению немецкого языка отчасти по обязанности, отчасти добровольно. Среди них были, например, такие лица, как главный бухгалтер Института, но большинство состояло из « научных сотрудников ». При наличии последних с их полуобразованностью и иногда своеобразной, не вполне нормальной психикой, преподавание это, подобно моему прежнему преподаванию в вузах, было не лишено подводных камней и опасностей. Эти последние имели два источника : во-первых, своеобразную психологию некоторых из учащихся, их специфическое представление о научном методе и, во-вторых, момент недоверчивости, если угодно « бдительности », вытекавший из их инстинкта классовой ненависти. Как бы ни был я хорош как учитель, я всегда мог попасть под подозрение сознательного вредительства, ввиду моей классовой чуждости. Всё это проявилось в одном из моих учеников, совсем молодом человеке, состоявшем « научным сотрудником ». Он пользовался в Институте репутацией большого знатока текстов Маркса и Энгельса, попросту же был начётчиком, ибо по степени своего развития едва ли был способен научно их понять. Происходил он из совсем низкого звания, ибо брат его, человек малограмотный и умственно совершенно неспособный, служил в Институте же в качестве простого курьера. Сам же ученик мой, фамилии которого я не помню, но образ которого живо стоит передо мною до сих пор, представлял собою тип ненормальный : бледный, худой, безбородый и безусый, с явной ассиметрией лица, с блуждающим взглядом, он производил впечатление человека, страдающего лунатизмом. К языку он оказался неспособен и с тягостным усилием старался зазубривать глагольные формы. В то же время он,

очевидно, был одержим слепой верой в науку; ему мерещился какой-то особый метод её постижения, который должен делать её легкой и всякому доступной. Он нашёл также своеобразную опору для своей веры: то были умственные свойства самого Маркса. Он открыл свой секрет однажды на моём уроке, причём предъявил своеобразное требование к моему преподаванию. Признавшись в том, что усвоение элементов немецкой грамматики, в особенности спряжения, для него чрезвычайно трудно, он провёл параллель между собою и Марксом. « Марксу, — сказал он, — с трудом давалась элементарная математика, ибо в ней многое подлежало усвоению памятью. Напротив, в высшей математике, где требовалось точное логическое мышление, Маркс был как дома. Таким же образом и в языке должны быть какие-то высшие общие законы, которые управляют разнообразием и кажущейся произвольностью форм речи; эти законы должны быть предметом высшей ступени научного изучения языка, подобно тому, как соотношения величин и чисел являются предметом высшей математики. « Сообщите мне эти законы языка и заучивание глагольных форм станет совершенно ненужным ». Такова была его « идея » о преподавании языка. К моим возражениям, что таких законов, которые исключали бы всё разнообразие и произвольность форм языка, не существует или что они во всяком случае непостижимы без полного восстановления долгой исторической эволюции ныне существующих форм, мой ученик отнесся скептически. И я должен был почитать большим счастьем для себя, что ему не пришло в голову возбудить против меня обвинение в том, что я « вредительски » утаиваю от моих учеников настоящие научные методы преподавания немецкого языка и тем затрудняю им его усвоение. Ибо ведь в конце концов я — классовый враг...

Другой « научный сотрудник » — Кондратьев, прозанимавшись у меня в течение года и одновременно проработав над моими переводами текстов Маркса и Энгельса в качестве « редактора », имел наивность откровенно сознаться. « Ну, теперь я порядочно понаторел в немецком языке ».

Моя связь с Институтом Маркса и Энгельса в качестве переводчика продолжалась несколько более двух лет. В эти годы гонорар за переводы был почти единственным моим заработком, который поглощал всё моё время, почти не давая возможности заниматься чем-либо другим. Только изредка мне удавалось получать заказы из « Большой Советской Энциклопедии » на небольшие статьи размером от 5 до 20 строк, почти исключительно биографий исторических деятелей древнего Рима. Содержание этих статеек было чисто фактическое. Самыми крупными статьями, которые я написал для « Большой Советской Энциклопедии », были « Доисторическая Испания », размером в 300 строк, и « Помпеи », размером в 200 строк. Первая из этих статей имела этнолого-археологическое содержание, вторая — чисто археологическое. Никакой идеологии ни в той, ни в другой статье не требовалось. Но там, где эта идеология была неизбежна, мое авторство было исключено, ибо я не был марксистом.

* * *

В другом месте этой книги, в главе, посвящённой бытовым условиям, в которых протекала жизнь моей семьи и моего круга людей, я расскажу, как жилось нам в эти годы, теперь же я поспешу сообщить вкратце главные сведения о моей работе и моём заработке в качестве учёного без науки, профессора без кафедры. Я должен был почитать себя счастливым, что я « жил », т. е. продолжал своё существование без напастей и с некоторым заработком, хотя и без определённого и верного его источника. Однако, когда кончалась одна работа, судьба посылала мне другую. Всегда это была работа переводческая, и иногда всё же интересная, такая, в которую можно было вложить переводческое « творчество », ибо перевод крупного литературного произведения требует особого дарования, которое встречается довольно редко. Это дарование я, по-видимому, унаследовал от отца, который когда-то составил себе имя переводами таких произведений, как « Робинзон Крузо » Дефо и « Гулливер » Свифта. Некоторым удовлетворением за мою неудачную научную карьеру

служит мне то, что мои переводы очень ценились и в Институте Маркса и Энгельса; я, вместе с Исидором Румером, считался лучшим переводчиком. Такую же репутацию имел я в Госиздате и именно ей я обязан тем, что когда в издательстве « Academia » возник вопрос о переводе на русский язык Светония Vitae duodecim Caesarum, то работа эта была поручена мне. Одновременно я получил также заказ на перевод английской автобиографии Орсини. Обе эти книги вышли в свет, и я по крайней мере был вознаграждён сознанием, что именно я дал возможность русским читателям познакомиться с этими произведениями мировой литературы. Но в других случаях, где я потратил массу времени, усердия и труда, мне не было дано и этого удовлетворения. Таковы были культурные условия при большевистском режиме. Я работал в такой области, которая не была связана ни с политической пропагандой, ни с умственными интересами широчайших масс, ни с возможностями крупных прибылей для издательств. В то время как на партийную литературу или на брошюрки с речами Сталина в миллионных тиражах тратились горы бумаги, её не оказывалось у издательств на печатание тех серьёзных книг, перевод которых поручался мне. Таким образом, целый ряд моих переводов остался в рукописях и не увидел света. Моя работа пропала даром и оставила во мне горечь сознания, что мне не пришлось принести русским читателям даже и той скромной пользы, которую делал для меня доступной большевистский режим. Тяжёлое, обескураживающее сознание! Весь результат моих трудов, моих усилий разрешить многочисленные специальные проблемы передачи мыслей и образов авторов с иностранного языка на русский, весь этот результат заключался в том, что я в конечном счёте получал 60 % гонорара и без того довольно скудного, а рукописи мои, пролежав двухлетний срок в издательстве, возвращались обратно в мои руки. В особенности жалко мне, что не увидела света моя капитальная работа — перевод пяти книг Naturalis Historia Плиния, посвящённых антропологии и зоологии. Этот перевод был заказан мне Госмедиздатом для серии « Классиков естествознания ».

На эту работу я потратил массу времени и труда; я, можно сказать, сделался специалистом по Плинию и в связи с переводом начал писание книги об античной науке вообще. Над ней я работал до самого начала войны, но всё же я думаю, что если бы даже война не разразилась и книга была бы докончена, она не увидела бы света. Во-первых, как я уже сказал, для произведений на такие темы издательствам не давали бумаги, а во-вторых, моя книга, как она складывалась постепенно в моей голове, никогда не была бы признана соответствующей марксистскому пониманию науки. Для чего же я работал над ней? Исключительно ради личного интереса, ради удовлетворения собственной потребности выяснить корни научных представлений античной древности и их радикальных отличий от современной науки. Я примирился со своею участью скромного и безвестного Privatgelehrter'a и часто утешал себя словами Монтэня, который, ставя себе вопрос, для кого он собственно пишет, давал такой ответ : « Peut-être pour quelques-uns, peut-être pour un, peut-être pour pas un »...

ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ

СУДЬБА КРЕСТЬЯНСТВА

Из всех общественных классов России крестьянство было разрушено в последнюю очередь. Его уничтожение представляет одну из величайших революций мировой истории. Однако эта революция была проведена сверху.

В то время, как большевики с самого начала революции с лёгкостью разрушали такие социальные образования как сословия, буржуазия, помещики, интеллигенция, школы, церковь и т. д., оставался только один старый общественный класс, который не только продолжал своё существование, но, казалось, даже укреплялся и повышался в своём общественном значении. Этот класс — крестьянство. В течение так называемого « военного коммунизма » или голодовки (1917-1921 гг.) класс этот, по крайней мере в экономическом отношении, с низшей социальной ступени поднялся на высшую. С первых дней революции большевики предоставлением крестьянству почти всей земли сумели привязать его к себе. Правда, также и этот класс вскоре подпал под их жестокий гнёт. Его хозяйственная деятельность совершалась, так сказать, тайком, а экономические возможности во многих отношениях были урезаны. Тем не менее, крестьянин богател в тиши, ибо он был единственным производителем весьма редких в то время продуктов питания. В обмен на эти продукты в деревню широкой рекой текли золото, бриллианты, дорогие костюмы и материи, ковры, можно сказать, весь комфорт и даже предметы искусства, принадлежавшие городской буржуазии. Особые отряды, самым грубым образом отнимавшие у крестьян в пользу государства зерно и прочие про-

дукты, всё же не могли подорвать их растущего благосостояния. Напротив, новая экономическая политика (НЭП) в течение 1921-1927 гг. открыла для крестьянства широкое поле деятельности, и именно в это время крестьянство высоко поднялось как класс, хотя по внешности оно состояло из мелких владельцев. Тем не менее, нередко под фиктивной формой кооперации эти номинальные мелкие владельцы являлись фактически капиталистами, и даже без всякой маскировки кооперацией во многих местностях России можно было наблюдать немало хозяйств, владельцами которых являлись настоящие крестьяне-богатеи. Правда, они избегали выставлять напоказ своё богатство, ибо НЭП сопровождался невероятно высоким налоговым обложением, и городским и сельским нэпманам приходилось тратить огромную энергию и проявлять необычайное терпение и ловкость в открытой и тайной борьбе с финансовыми инспекторами.

Этот крестьянский класс был уничтожен в начале 30-х годов посредством проведённой сверху революции путём так называемой « коллективизации ». Здесь не место описывать отдельные этапы этой революции, представляющей, как мы уже сказали, одну из величайших революций мировой истории. Она совершилась последовательными волнами : наступление против крестьянства сменялось отливом и даже кажущимся отказом от всего плана, после чего всё же произошло решительное подавление крестьянства с обращением его в подчинённых государству полукрепостных « колхозников ». Всё это хорошо известно, и мы хотели бы только указать на значение этого события в политическом развитии большевизма.

Коллективизация знаменует собою окончательное торжество большевизма и в то же время окончательное разложение прежнего русского общества. Совершенно ясно, что поднимающееся и богатеющее на основе единоличного хозяйства крестьянство, составляющее не менее 80 % всего населения, представляло смертельную опасность для большевиков и их строительства социализма. Недаром в самый разгар НЭПа среди крестьян раздался лозунг : « Мы хотим иметь крестьянский союз! » Действительно, эта неорганизован-

ность крестьянства явилась в то время резким противоречием принудительной организации городского рабочего класса в профессиональных союзах. Однако, организовать крестьян сверху государственным порядком правительство было не в состоянии. Предоставить же крестьянам возможность свободной и самостоятельной организации означало бы для их многомиллионной массы возможность объединения и сплочения. Для большевиков это было равносильно тому, чтобы вооружить эту массу против себя. С другой стороны, было ясно, что коллективизация должна повести к гибели целого класса, к уничтожению основы производительной силы страны — этой колоссальной армии индивидуальных тружеников, создающих её богатство.

Эта альтернатива — либо уничтожение целого класса, либо конец партии, большевизма и « социалистического » строительства — расколола партию и выдвинула на первый план Сталина, человека, который ради спасения самого себя, своей власти и своих приспешников решил не останавливаться ни перед чем. Здесь именно лежит действительно огромная историческая роль Сталина, однако, роль чисто отрицательная и для России роковая. Успех этой реформы или скорее этого насилия, несмотря на то, что его объектом явилось более чем стомиллионное крестьянство всех народов СССР, не подлежал сомнению, если только рука исполнителей не дрогнет. Однако Сталин и его приспешники были застрахованы против подобного рода человеческих чувств, как, впрочем, впоследствии подтвердил также принятый ими способ ведения войны.

Итак, под предлогом отсталости и недостаточности крестьянского хозяйства и его слабой производительности был объявлен поход против массы мелких крестьянских землевладельцев с целью их превращения в зависимых от государства производителей сельскохозяйственных продуктов.

Однако, крестьянство сдалось не без борьбы, и бывали моменты, когда правительству приходилось отступать (известная статья Сталина « Головокружение от успехов »). Тем не менее, неорганизованная масса мужиков является, в сущности, бессильной перед

лицом крепко спаянной многочисленной партии, имеющей в своем распоряжении весь технический государственный аппарат, партии, которая не пренебрегает никакими средствами насилия, обмана и морального разложения противника. Вот несколько примеров : на Кубани сжигали целые станицы вместе с их населением, которое бунтовало против коллективизации. По всей России было объявлено так называемое раскулачивание, причём обман заключался в произвольном применении этого позорящего названия к трудовым хозяйственным и зажиточным крестьянам. Восстановленные с этой целью « комитеты бедноты » должны были выявлять и преследовать таких крестьян.

И вот, на восток потянулись бесконечные поезда с раскулаченными крестьянами, которых ссылали в Сибирь, а города наводнились деревенскими жителями, преимущественно женщинами с малыми детьми, которые играли в пыли мостовой, между тем как их матери протягивали руку прохожим за милостыней. Каждое утро милиция толпами собирала этих несчастных, и они исчезали бесследно.

Предполагают, что таким образом было уничтожено или разорено около 15 миллионов крестьян.

МОЙ МЕТОД ПОДСЧЕТА ЖЕРТВ БОЛЬШЕВИЗМА И МОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ МОЕЙ ЛИЧНОЙ СУДЬБЫ

В начале 30-х годов полный успех коллективизации стал совершившимся фактом. Непосредственные впечатления ужасов, какими она сопровождалась, несколько улеглись; с улиц Москвы давно исчезли фигуры крестьянских баб в лаптях и домотканых одеждах с грудными ребятами, с рукой, протянутой за подаянием; рассказы о раскулачиваниях и массовых высылках замолкли. Но умы занимала мысль, во сколько же миллионов крестьян обошлась России эта величайшая во всемирной истории экспроприация. Предположения на этот счет были различны, но чаще всего называлась цифра в 15.000.000 крестьян, замученных, расстрелянных и отправленных в ссылку, т. е. выброшенных из своей обычной колеи и потерянных для сельского хозяйства. На каких данных основывалась эта цифра, было неизвестно. Но мне хотелось каким-либо способом проверить её, и это не из простого любопытства. Трагическая участь миллионов крестьян в то время была последняя и самая страшная статья в списке большевистских злодейств. Итак, мне хотелось во что бы то ни стало найти твёрдые данные о количестве жертв «раскулачивания». И вот я придумал свой собственный, совершенно оригинальный способ проверки и, как я убеждён, довольно верный. Я взял два листика бумаги и стал наносить на каждый из них имена известных мне людей; таким образом получилось два списка: на одном стояли имена моих родственников, друзей и близких знакомых; на другом имена так называемых

шапочных знакомых, а также знакомых моих знакомых и наконец лиц, принадлежавших в Москве к моему кругу общества: интеллигентскому, академическому и буржуазному, которых я не знал лично, но имена и судьба которых мне были известны от других. Этой процедурой я занимался несколько дней подряд, между делом и досугом, по мере того, как имена приходили мне в голову. Таким образом, в конечном счёте, лиц ближайшего мне круга набралось свыше ста; лиц же широкого и далёкого круга оказалось около 800. Затем в каждом списке я произвёл выборку лиц, так или иначе пострадавших от большевиков: расстрелянных, сосланных безвозвратно, сосланных временно, но возвращённых по истечении срока и превратившихся в «стоверстников»[1]), и, наконец, вернувшихся из ссылки или тюрьмы и полностью восстановленных в своих правах. Итог получился поразительный настолько, что посторонним он покажется невероятным: в обоих списках процент пострадавших от советской власти выразился в цифре 80. Здесь поражает и высота процента и одинаковость его в обоих списках. Итак, если в моем кругу высшей интеллигенции и буржуазии пострадало даже не 80, а скажем только 60 или 50 %, то на крестьянство можно свободно принять от 10 до 15 %. Считая в России конца 20-х годов (при начале коллективизации) около 120 миллионов крестьян, мы получим цифру около 15 миллионов раскулаченных. Удивительно, что цифра эта подтверждает вышеупомянутые предположения.

Впрочем, приведённые мною данные о пострадавших наводят на совсем другой вопрос. Если из моих родных, друзей и знакомых четыре пятых так или иначе пострадали, как объяснить, что уцелел я сам с моим антибольшевистским настроением, которое я не слишком скрывал и которое проявлялось порою в несколько рискованных поступках и выходках? На этот вопрос я отвечу: я и моя семья уцелели *волею Провидения*, ибо в мире этой волею совершается всё,

---

[1]) Так называются в Советской России лица, которым запрещено проживать ближе чем в расстоянии 100 км. к Москве или другим крупным городским центрам. (Примечание автора).

как и сообразное мировым законам, так и противоречащее им; но те, кто веры в Провидение не разделяют, пусть приписывают мою участь судьбе или, если угодно, случаю. Впрочем, я могу указать обстоятельства, близко меня касающиеся, которые с некоторой вероятностью объясняют, почему при одинаковых условиях я остался цел, тогда как другие пострадали.

Большую роль тут сыграли моё происхождение и семейные связи. Мои родители принадлежали к категории так называемых « либералов 60-х годов ». В 1879 году отец мой, в то время мировой судья в одном селе Харьковской губернии, за свой « опасный » образ мыслей был отправлен знаменитым Лорис-Меликовым [1]) в административную ссылку в Архангельскую губернию, где и пробыл полтора года; позже, уже в середине 80-х годов, также и моя мать была посажена на несколько месяцев в тюрьму за распространение вредных книг через книжный магазин, которым она заведовала. Революционерами мои родители отнюдь не были, но, принадлежа к оппозиционной либеральной интеллигенции, они имели знакомства и связи среди революционеров. Так, в нашем доме бывала и в детстве моём держала меня на коленях Вера Фигнер [2]). Впоследствии отец стал известен как переводчик классических произведений западной литературы и книгоиздатель. Но всего важнее было конечно то, что в большевистских кругах имя его было связано с антиправительственным, прогрессивным движением. Моего отца хорошо знал Бонч-Бруевич, близкий друг Ленина. Дело о его ссылке теперь хранится в Архиве Революции в Москве, откуда мне была в своё время выдана копия этого документа.

Само собою разумеется, что никакое имя и никакое заступничество не помогло бы, будь я действительно активным контрреволюционером или даже, скажем, контрреволюционером тайным. Но ведь также и среди пострадавших моих товарищей и знакомых никто не

---

1) М. Т. Лорис-Меликов — временный генерал-губернатор в Харькове в 1879 г.

2) В. Н. Фигнер — революционерка-народница, член Исполнительного Комитета партии « Народная Воля ».

был активным противником советской власти, а большинство даже проявляло по отношению к ней полную и часто демонстративную « лояльность ». Впрочем, этот последний пункт был скорее в мою пользу. Я никогда не скрывал, что идеологически в моей науке я не марксист и к своим научным высказываниям никогда не приклеивал официальной этикетки. Надо отдать справедливость большевикам, что они предпочитали открытое разномыслие с ними притворному подделыванию под их тон. Двойная игра многим обошлась дорого.

Была, однако, в моём положении одна опасность, ничего общего не имевшая с идеологией или какой-либо политической моей установкой, будь она антисоветская или даже контрреволюционная. Я, собственно, был дезертиром Красной Армии и оставался им всё время моей жизни при советском режиме.

Пробыв три года в армии — до февральской революции на фронте, и после неё в тылу, — я после октябрьского переворота был « откомандирован » новым большевистским командующим МВО, солдатом Мураловым, для чтения лекций на Высших Женских Курсах и, таким образом, ушёл в гражданскую жизнь. Но не прошло и года, как началась организация Красной Армии для борьбы против белого движения и интервенции. В одно прекрасное утро на улицах Москвы был расклеен приказ Троцкого о том, что все бывшие царские офицеры, демобилизованные большевиками, обязаны под угрозой суровых санкций явиться в военные комиссариаты для регистрации. Всем было ясно, что регистрация означает принудительную мобилизацию в Красную Армию. Незадолго перед тем офицерство, при ликвидации старой армии большевиками, было бесцеремонно и безжалостно, с позором и часто оскорблениями, выброшено на улицу без пенсий, выходных пособий и каких-либо средств к существованию. Как говорили тогда, в одной Москве было тридцать тысяч таких офицеров. Момент был решающий, положение большевиков под угрозой белого движения с востока, юга и севера было критическое. Откажись это офицерство подчиниться приказу большевиков, которых оно ненавидело и не признавало своим начальством, — это, возможно, сделалось бы

началом конца большевиков. Но русская пассивность и привычка к подчинению сделали своё дело. Сыграла роль, конечно, и нужда в хлебе насущном. Как бы то ни было, но уже в ближайшие дни после приказа перед комиссариатами стояли вереницы понурых и потрёпанных молодых людей в офицерской форме, но без погон и без оружия. Дело большевиков было выиграно.

Узнав о приказе, я, не колеблясь ни секунды, сказал себе, что в Красную Армию я ни за что не пойду. Защищать советскую власть, — узурпаторскую, чуждую народу, враждебную мне как интеллигенту и буржую — нет, это слишком большое унижение. К тому же идти, как овца, на регистрацию было просто глупо. Зная на опыте, какой хаос царил в большевистском управлении вообще, как слаб был их административный аппарат, можно было быть уверенным, что неявка на регистрацию не заключала в себе почти никакого риска. И я остался дома. Мне неизвестно, сколько офицеров поступило подобно мне; их, конечно, было огромное меньшинство, однако меры, принимавшиеся большевиками для разыскания дезертиров, свидетельствуют о том, что они насчитывались не единицами. Впрочем, тут имелись в виду также и солдаты. Домовым управлениям было поставлено в обязанность доводить до сведения военных комиссариатов о военнообязанных, проживающих в данном доме. Моё военное прошлое было известно швейцару и многим жильцам. Домоуправление, где заседали мои знакомые, предложило мне выписаться из домовой книги и временно не считаться проживающим в доме, чтобы избавить его от необходимости подавать обо мне сведения. Мне так и пришлось сделать. Тем не менее, в течение всей моей жизни под советской властью я находился в опасности быть обнаруженным. В домовой книге моё имя значилось с 1914 года как артиллерийского подпоручика, с отметкой прибытия с фронта и выезда обратно; книга эта оставалась в употреблении ещё лет десять. В течение моей жизни под советской властью при каждом получении занятия в каком-либо советском учреждении мне приходилось подавать подробную анкету и в ней отвечать между прочим и на

вопрос о том, служил ли я в царской армии, и что вообще делал во время войны и в начале революции. Таких анкет за 24 года я подал не менее двадцати, и в каждой из них я отвечал, что в царской армии я не служил, а во время войны и революции продолжал свою преподавательскую деятельность. Эти анкеты всегда могли попасть в руки лиц, которые знали моё прошлое. Такие же анкеты подавали мои дети, причём в них тоже имелась графа о военной службе их отца. В Можайском уезде, под Москвой, где я проводил каждое лето, все соседние крестьяне и кое-кто из городских жителей знали о том, что я был офицером во время мировой войны. Словом, сети были расставлены повсюду, и однажды я едва не попал в одну из них.

Это было в ноябре 1919 года. Я прибыл из Москвы с вечерним поездом на станцию Можайск, везя с собою мой академический паёк, французские военные газеты, подарок моего друга L. Beaulieux[1]), находившегося в то время при французской военной миссии в Москве, и пять бутылок керосина. Все эти драгоценности предназначались для моей семьи, проживавшей на даче в шести километрах от города Можайска. Была уже почти ночь; станция, пути и платформа были, как всегда, слабо освещены редкими фонарями. Но едва я ступил на перрон, как мне стало ясно, что вокруг творится что-то необычное. Люди с мешками на плечах бежали в разные стороны, старались пробраться под вагонами и вообще куда-либо скрыться; другие, вооружённые, загораживали им дорогу, ловили, стреляли из винтовок в воздух. Словом, это была облава, как вскоре оказалось, облава на дезертиров, устроенная специальным отрядом московской ЧК. Мне ничего не оставалось, как идти в общие двери станционного здания, у которых с меня потребовали документ, разрешающий мне выезд из Москвы. Так как такового при мне не оказалось, я был арестован и вместе с целой толпой лиц, подобно мне самовольно покинув-

---

[1]) Léon Beaulieux, профессор болгарского языка в Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes.

ших свою службу в Москве [2]), а также молодых людей, не смогших удостоверить свою свободу от военной службы, отведён в один из углов обширной станционной залы; там всех нас продержали под вооружённым конвоем до пяти часов утра. Затем нас посадили в тот же поезд, прибывший накануне из Москвы, и отвезли обратно для выяснения наших личностей и положения по военной службе. В дороге мне пришлось выкинуть французские газеты, наличие которых в случае обыска могло меня скомпрометировать, выдав моё знакомство с французской миссией. Многие из моих спутников сидели в вагоне с вытянутыми лицами : их дела были, очевидно, не в порядке. В Москве на Александровском вокзале нас подвели к дверям ЧК, поставили в очередь и попарно стали вводить в таинственную дверь, за которой должна была решаться участь каждого из нас. На моё счастье, у меня в кармане среди прочих бумаг нашлось удостоверение директора 2-го Государственного Университета (бывших Высших Женских Курсов) о том, что я являюсь профессором сего Университета и обязан прибыть к месту моей службы в Москву. Документ этот был выдан мне месяца три тому назад, кажется, в связи с моей поездкой в Смоленский Университет. Однако, я совершенно не надеялся на какое-либо значение этого документа и ждал допроса о моём отношении к воинской повинности. Я, конечно, решил заявить, что никогда не служил и к военному делу никакого отношения не имею. Ждать мне пришлось недолго : моя очередь была одна из первых. В таинственную комнату я входил с жутким чувством. Я нарочно оставил за дверью корзину, из которой торчали головки бутылок с керосином. Этот продукт, продававшийся тогда из-под полы, мог вызвать против меня подозрения, не спекулянт ли я. Я подошёл к столу, за которым сидели пять или шесть человек, в возрасте от тридцати до сорока лет, с виду бывших военных, наружности, исполненной мрачной, скорее напускной важности.

---

[2]) Незадолго перед тем вышел декрет, запрещавший отлучки из Москвы без специального разрешения начальства. (Примечание автора).

« Ваши документы? » — лаконично обратился один из них ко мне. Пробежав поданное ему мной удостоверение, он протянул мне его обратно и заявил : « Можете идти ». Я не верил своим ушам. Значит, никакого допроса! Но уже потом я сообразил, что у этих людей звание профессора не ассоциируется с положением военнообязанного. Ведь, действительно, в царской России профессора и учёные попадали в армию очень редко, ввиду возможности воспользоваться одною из многочисленных предоставлявшихся им льгот. У двери я замешкался с вещами. « Уходите, уходите поскорее, — поторопил меня стоявший при ней юноша, вероятно бывший юнкер или прапорщик, с нежным, почти детским лицом, столь непохожим на суровые лица членов комиссии. Он как будто боялся, что меня могут воротить.

Я отделался счастливо, но происшедший случай показал мне, что мне надо как-нибудь обезопасить себя с этой стороны, скрыв все следы моего военного прошлого, которые имелись в канцеляриях Университета, где я был когда-то оставлен для подготовки к профессорскому званию, и Высших Женских Курсов, где я работал тогда. В ближайшие же дни, через деканов обоих учреждений, оказавших мне полное содействие, я уничтожил все документы, свидетельствовавшие, что я когда-то был вольноопределяющимся, а затем участвовал в войне. Но так как всё же каждый советский гражданин обязан иметь какой-либо документ, объясняющий его отношение к воинской повинности, то канцелярией Университета мне было выдано удостоверение, что я, как бывший оставленный при Университете, а затем состоявший в числе его преподавателей, согласно статье Воинского Устава был свободен от военной службы. Этот документ я потом долго таскал в кармане, но он мне более никогда не понадобился.

Однако моё дезертирство стоило большой трёпки нервов как мне, так в особенности моей жене : каждая подаваемая мною анкета была связана с беспокойством. Ибо в случае моего разоблачения меня ожидал расстрел. Такая участь постигла одного преподавателя Московских Высших Женских Курсов, скрывшего своё

военное прошлое, подобно мне, но каким-то образом обнаруженного. Случись со мною то же самое, едва ли бы меня могли спасти моё имя и какие-либо связи. От каторги, во всяком случае, не спасли бы. Значит и тут рука Провидения провела меня невредимо среди опасностей.

В революции, как и на войне, одни остаются целы в самых критических положениях, другие же погибают из-за пустяка. Сколько примеров даёт Великая Французская Революция, когда люди из простонародья гибли на эшафоте за насмешку по адресу революционной власти. То же бывало и в русской революции. А рядом лица, замешанные в гораздо более серьёзных вещах, оставались невредимы. Я упомянул только что французскую военную миссию, оставшуюся в Москве после Октябрьской революции. Злоключения этой миссии представляют свою особую тему, в своё время интересовавшую многих французов. Уже значительно позднее, в начале 20-х годов, в мои руки попало несколько выпусков « Архива русской революции », издававшегося в Берлине Гессеном. Там я прочёл статью о трагической судьбе нескольких москвичей, имевших знакомых среди французских офицеров, членов этой военной миссии. Все эти москвичи, всего 12 или 15 человек, были расстреляны по приговору Революционного Трибунала под председательством знаменитого рабочего-садиста Галкина. Знакомство многих из них было самое поверхностное и мимолётное. А между тем, один из членов французской миссии, Léon Beaulieux, был мой давнишний друг; я навещал его неоднократно на его службе, обедал у него, был знаком с другими офицерами. Наконец, я постоянно общался с Home Français; в то время, когда некоторые из членов миссии уже были арестованы большевиками, мой друг Beaulieux всю зиму 1918/1919 года снимал комнату в моей квартире и, наконец, зимою 1919/1920 года навещал меня на моей даче близ Можайска. И тем не менее также и тут рука Всевышнего сохранила меня.

НАДЕЖДЫ И ЧАЯНИЯ

В связи с моей переводческой работой произошёл в моей жизни случай, определивший мои политические взгляды и оказавший, можно сказать, решающее влияние на мою судьбу. В начале 1920 года, когда Россия билась в тисках голода и гражданской войны и была совершенно отрезана от прочего мира, в руки мои через одного знакомого попала недавно вышедшая тогда книга Кейнса « The economic consequences of the peace », привезённая в Москву одним русским эмигрантом-кооператором, прибывшим из Лондона для каких-то переговоров с советским правительством. Я с жадностью набросился на эту книгу, в то время нашумевшую по всей Европе и переведённую на все языки. Автор, ставший с тех пор знаменитым и впоследствии возведённый в достоинство лорда, с глубоким убеждением и художественным драматизмом рассказывает историю возникновения условий Версальского мирного договора, наложившего цепи экономического рабства на Германию и разрушившего хозяйственную систему Европы. С кристальной ясностью Кейнс доказывает легкомыслие, невежество и эгоизм участников конференции, бессмысленность и беззаконие навязанных Германии условий, равно как их невыполнимость. Книга произвела на меня потрясающее впечатление в особенности потому, что она разбила мою иллюзию, в силу которой я воображал, что Европейский мир вернулся к своему состоянию до войны. Теперь я убедился, что мир этот разрушен и что восстановить его возможно только отказавшись от старых приёмов и обычаев в международных отношениях и открыв новую эпоху, отказавшись от эгоисти-

ческого соперничества наций и проникнувшись сознанием солидарности соответственно современным условиям экономики и техники, в силу которых весь мир всё более становится единым целым. С тех пор Германия стала в центре моих размышлений о дальнейших судьбах мира и цивилизации. Я понял, что ни одна страна не может отныне идти своим отдельным путём вне общей эволюции мира, также и Россия. Я понял также, что в международных отношениях политика должна быть направлена на другие рельсы, нежели те, по каким шло до сих пор европейское человечество, когда станциями на его пути являлись такие акты, как « chambres de réunions » Людовика XIV, разделы Польши, аннексия Эльзас-Лотарингии и т. д. Последним и самым чудовищным актом такой политики явился Версальский договор и вслед за Кейнсом я понял, что рано или поздно совершённая несправедливость и бессмыслица обрушатся на голову самих его виновников. Очевидно, в силу инстинктивной потребности иметь надежду на какой-то разумный выход из тупика, а также и вследствие того, что психология моя ещё определялась теорией прогресса, в которой я идеологически был воспитан, я пришёл к убеждению, что именно Версальский договор с его последствиями окажется поворотным пунктом истории человечества, ибо он окончательно докажет всю несостоятельность прежней империалистической политики держав, всю её вредоносность не только для человечества в целом, но и для каждой отдельной нации, как будто бы извлекающей непосредственную выгоду из факта данной своей победы и принесённой ею добычи. В теории я тогда был прав и продолжаю быть правым и теперь. Мир сейчас с ещё большей остротой и настоятельностью стоит перед дилеммой : либо международная организация и отказ от войн, либо всеобщая гибель. Но как тогда, так и теперь является химерой воображать, что какая-либо одна нация, оказавшись арбитром данной международной ситуации, будет способна отказаться от соблазна обобрать своих партнеров до нитки.

Как бы то ни было, в то время я верил, что человечество наконец выходит на новый путь, и что во

главе его по этому пути пойдёт Германия. Вот каковы были мои аргументы в пользу такой концепции. В конце XIX и в начале XX века именно Германия всё более выдвигалась на первое место в мировой экономике и культуре; в Европе центральное географическое положение предназначало её к этой роли. Жизнеспособность Германии была подтверждена её подвигами в борьбе против всего мира. Наконец собственный опыт жертвы прежних приёмов международной политики делал её — при наличии необходимых нравственных предпосылок — как бы призванной выполнить переворот в международных отношениях. Однако, повторяю, именно при наличии нравственных предпосылок. То, что я верил в возможность появления таких нравственных предпосылок в Германии, что я представлял себе её новый духовный путь, как осознание немецким народом своего греха и готовности его принять свою судьбу как искупление этого греха с тем, чтобы, очистившись таким образом, взять на себя историческую миссию устроения человечества на новых началах, доказывает только мою наивность. Пусть так. Но разве не наивностью, лишь с совсем иной моральной окраской, было в своё время предположение Клемансо, что стрелка исторических часов может быть переведена назад, что между Францией и Германией может быть восстановлено соотношение сил, существовавшее до 1870 года? И, чтобы взять более близкий нам пример, разве не наивностью было со стороны Черчилля и Рузвельта воображать, что, отдавши Сталину половину Германии, они смогут заставить его когда-либо уйти оттуда добровольно? Разница между этими « наивностями » и моей в том, что последствия первых падают на весь мир, тогда как вторая явилась фактором, определившим мою собственную судьбу и судьбу моей семьи.

Чем дальше шли годы, чем больше свирепеющий большевистский режим превращал Россию в пустыню, прогрессивно терявшую свои культурные и духовные силы, чем явственнее вырисовывался облик полицейского государства, превращавшего народную жизнь в режим казармы, тюрьмы и каторги, тем очевиднее становилась для меня полная безнадёжность внутрен-

него переворота или постепенного перерождения страны. Оставалось либо смириться и жить со дня на день, сохраняя верность принятой с самого начала непримиримой установке к советскому режиму, прозябая в своём углу на каком-то прожиточном минимуме, либо, отбросив щепетильность, надеть марксистскую маску и занять подобающее моему возрасту и научной подготовке место « заведующего кафедрой » в каком-либо вузе с перспективой печатания своих трудов в марксистской обработке и конечного избрания в члены-корреспонденты Академии Наук. Я избрал первое, но даже и при полной, казалось бы, безнадёжности положения, я не мог отказаться от надежды, что освобождение рано или поздно придёт. Тем более, что для такой надежды я видел в мире твёрдую реальную почву. В связи с моим заработком переводами я мог следить за западно-европейской печатью и быть в курсе международных отношений. Я ясно видел рост послевоенной Германии и с радостью наблюдал, как оправдываются предсказания Кейнса, как сама жизнь сводит на нет условия Версальского мирного договора, постепенно возвращает Германию на подобающее ей место в мире и вызывает в ней самой новые силы, несущие в себе, как казалось тогда, залог нового, совсем иного мирового развития. В особенности многообещающей казалась направленность этих сил против идеологии и системы, парализовавших мою собственную страну. Если освобождение от этой системы могло произойти, то было совершенно очевидно, что оно должно было прийти извне. Внутри не было ни сил, ни технических возможностей, ни идейных предпосылок. Так постепенно переживания своей собственной советской действительности и наблюдения над развитием мировых отношений создали в моём мозгу чёткий и определённый образ будущей мировой эволюции, которая казалась мне оправданной всеми наличными факторами и которая давала разрешение всем мировым проблемам. Я так был убеждён в безошибочности моего образа, что рисуемое им развитие представлял провиденциальным. Вот этот образ в основных его чертах.

Провидение, а для тех, кто не верит в него, история,

ведёт человечество к единству путями экономики, техники и культуры. Препятствием на пути к единству являлись до последнего времени отдельные национализмы, отчасти же династические интересы. Эти последние в результате мировой войны в основном исчезли. Национализмы с одной стороны обострились, с другой же стороны получили колоссальный противовес в лице коммунистического интернационала, представляемого в мире Советским Союзом. Однако представительство это есть не столько реальность, сколько провозглашение принципа, отрицающего национальные эгоизмы по крайней мере для широких пролетарских масс, а через них и для государства. Советский Союз вследствие внутренней слабости его экономики в результате « строительства социализма » не способен играть ведущую роль в предстоящем осуществлении мирового единства. Неизбежный мировой конфликт, которым это единство будет установлено, принесёт ему полный разгром. Но разгром Советского Союза, как социально-политической системы и как военной империи, явится в то же время политическим, духовным и культурным освобождением русского народа и восстановлением России в её национальной сущности и международно-обусловленных географических границах. Острота и жгучесть последней проблемы будет значительно ослаблена сравнительно с недавней эпохой империализмов благодаря достижению мирового единства. Это последнее будет теперь осуществлено путём нового мирового конфликта, который окажется продолжением и завершением первой мировой войны. В моих глазах осуществителем этого единства Провидение избрало Германию; доказательством и притом неопровержимым в моих глазах явилось то, что страна и народ, казалось низвергнутые в прах в 1919 году, менее чем в два десятилетия в самых тяжёлых экономических условиях нашли в себе силы для полного восстановления своего могущества в степени, даже превышающей прежнее. Самый перерыв в этой борьбе, начавшейся в 1914 году, казался мне знаменательным и лежащим в плане Провидения. С одной стороны рухнула Российская империя и на востоке в её лице исчез нынешний противник Германии, а потенциально,

для будущего возник её союзник. Во-вторых, горьким опытом послеверсальского унижения Германия, казалось, должна была пройти школу политической мудрости, которая подготовляла её для роли будущего создателя и руководителя мирового единства. Испытав несправедливость на себе, посрамив эту несправедливость собственными усилиями, доказав её неминуемую реакцию против её же виновников, Германия в собственных интересах выполнит свою историческую миссию совсем в ином духе, нежели Версальский мирный договор.

Итак, скажет мне читатель, из всех современных уроков истории вы вывели заключение о предстоящей мировой гегемонии Германии и сознательно согласились с ней, как с единственно возможным и притом благодетельным разрешением всех мировых проблем? К тому же это разрешение вы отождествляете с « планом Провидения »? Не в таком же ли смысле говорил о Провидении Адольф Гитлер, неся порабощение народам Европы и вашей собственной родине? Из вашего « образа » предстоящего мирового развития выходит также, что Провидение освободит Россию от большевизма только для того, чтобы отдать её в порабощение Германии? Да не являетесь ли вы, милостивый государь, уже готовым изменником родине, кандидатом в русские квислинги? На эту реплику я отвечу следующее : весь создавшийся во мне тогда под влиянием русской и международной действительности образ мирового развития был, конечно, продолжением той же иллюзии и « наивности », о которой я говорил выше. Приятие моим нравственным сознанием в предначертанном моим воображением мировом развитии ведущей роли для Германии и подчинённой роли прочих стран и в том числе моей родины отнюдь не означает однако моей солидарности с национал-социализмом и гитлеризмом и измены моей собственной родине. Ибо я мыслил себе идеальную, нравственно очищенную страданиями Германию, воплощавшуюся в национал-социализме. Подобно тому, как я считал германский народ способным воспринять урок истории, преподанный ему исходом первой мировой войны, так считал я Гитлера способным с чисто национальной платформы переме-

ститься на мировую, коль скоро он поймёт, что ниспосланный ему успех восстановления международной роли и могущества Германии предназначает его к миссии устроителя мировых отношений. Что же касается моих представлений о будущих судьбах моей родины в грядущей новой мировой ситуации, то в них, во-первых, содержалось некое зерно реализма, оправдывающегося ныне на примере таких стран как Италия, Франция и даже Англия, устроение которых оказывается возможным не в узко-национальном плане, а в плане международном, где им приходится сообразовать свои интересы с интересами окружающей среды.

Кроме того, согласно той идее, какую я составил себе о будущей роли Германии в качестве мирового арбитра, судьба моей родины не могла рисоваться иною, как освобождением. Мой отказ от российского империализма и узкого национализма отнюдь не является отрицанием национального самосознания, но скорее утверждением его в высшем и благороднейшем духе. В этом же духе Владимир Соловьёв задолго до большевистского опыта указывал как на высочайшую национальную черту русского народа, дважды проявленную им в истории, на способность отказаться от националистического эгоизма и узости. В то же время в моём воображаемом плане будущего развития России пожертвование малой выгодой вознаграждалось приобретением другой, гораздо большей : освобождение от большевизма благодаря Германии мыслилось мною как открытие возможности для внутреннего очищения и выздоровления от более чем двадцатилетнего кошмара, для осознания собственного греха против Бога, против Церкви, против собственной нравственной, культурной и национальной сущности, для совершения акта « искупления » через крестный путь страдания. Если ближайшая роль Германии мыслилась мною предопределённой Провидением, то в той же степени и с своими особыми основаниями мыслилась мне в дальнейшем будущем ведущая роль России, для осуществления которой было, однако, необходимо восстановление её исконных нравственных и религиозных начал, подавленных большевизмом. В моём убеждении,

что момент такой миссии наступит, выражалась моя глубокая вера в мой народ и мою страну.

Столь детальное объяснение моего представления мировой эволюции необходимо для понимания моего практического образа действий в последней войне, и моих разочарований, и моих новых установок, и, наконец, тех точек зрения, с которых я стал смотреть на мир и его отношения, как в большом, так и в малом. Тут особенно важно моё убеждение, что освобождение от большевизма может быть совершено не собственными силами русского народа, но чьим-то посторонним *благодетельным* вмешательством. Прибавлю к этому, что русскую жизнь и русскую душу я считал настолько опустошёнными и искажёнными большевистской ломкой и большевистским « строительством », что считал их способными подняться на ноги лишь с чужою помощью, как поднимают больного, разбитого параличом. В то время роль благодетельного целителя я приписал Германии. Это была моя глубокая ошибка. Мало того. Я ошибался также в том, что исцеление русского народа я мыслил себе в политическом и культурном плане. Какими путями считаю я возможным это исцеление теперь, будет видно из моего дальнейшего изложения, которое и направлено к этой основной цели [1]).

---

[1]) Пути эти автор мыслил как религиозное возрождение. Изложения своего он не закончил. Из различных частей его труда и составлена данная книга, а также сборник « Пути России ».

ПИСЬМА К СЕСТРЕ

(1931-1937)

31 января 1931.

[...] Спасибо тебе за посылку, об отправке которой ты сообщаешь в твоём письме. Всё, что кто бы ни прислал нам, всё кстати и является не лишним. От масла в чистом его виде я давно отвык и забыл даже, что значит есть утром хлеб с маслом за чаем или кофеем — вещь, казавшаяся раньше столь же сама собою разумеющаяся, как... ну как что? хотя бы как то, что день сменяет ночь. Бывая в гостях, редко у кого видишь масло, да впрочем, о прежних угощениях московских нет и помину, по крайней мере в отношении к нам грешным, может быть, кого поименитей (в современном смысле) и угощают, а нас нет. Это говорится, однако, без всякой досады, просто как сообщение факта.

Ты пишешь о письмах и фотографиях; я рад, что эти реликвии прошлого сохранились. Будь добра, храни их и впредь, может быть ещё когда-либо и придётся их увидеть и перечитать. Не удивляйся и не смейся моим архивным склонностям. Всякие хроники я очень люблю, а это своя семейная. У меня к тебе большая просьба, очень важная: будь добра, пришли мне 1 фунт чаю цейлонского. Чаю у нас нет абсолютно, а с тех пор, как я пять лет тому назад бросил курить, чай — это мой главный возбудитель. Уже давно мы пили, собственно, нечто вроде чая, теперь же и этого суррогата нет и, как говорят, и впредь не будет. Нельзя достать даже по спекулятивной цене. Поэтому единственная возможность получить чай, это через тебя.

Надеюсь на тебя, для работы мне чай прямо необходим.

Чудные пять дней провёл я в деревне! В этому году навалило массу снега, погода, несмотря на мороз, стояла отличная, и я испытал много деревенских удовольствий. Но прежде всего, конечно, уединение и красота, неописуемая красота окружающей природы. Несмотря на то, что людское поселение уже шесть лет назад образовалось в одной версте от дачи, движения возле нас зимою стало меньше, санный след вдоль реки едва проложен и наша дача одиноко стоит в полной глуши. Следов человека почти незаметно вокруг, и в этом сознании уединения есть ощущение свободы и независимости, более того — какого-то владычества. В самом деле, когда я бродил на лыжах по лесу или шёл 8-10 вёрст рекою, в первый раз пролагая след, у меня было такое чувство, словно я первый открываю эти места и владею ими по праву первого занятия; владею, правда, только для того, чтобы любоваться их свежею, нетронутой, девственной красотою. Это чувство свободы и одиночества особенно сильно после тех тяжких переживаний, которые даёт Москва с её теснотою на улицах и в самих квартирах, где на всё, кажется, имеет право посягнуть, испортить и разрушить кто-то дикий и непризванный.

Ездил я в деревню с Зинушкой, жили мы в избе, нашей старой избе из двух комнат, в которой в начале революции провели четыре зимы. Теперь она обветшала, из пола и стен дует, и утром на высоте двух аршин от пола температура $+2°$, а на полу вода замерзает. Теперь мы жили в одной только комнате, другая занята бесплатными жильцами; сами готовили себе дрова и почти без перерыва топили маленькую печку с железными трубами, которой только и можно нагреть избу. Пока топится, температура подымается до 18-20°, но по прекращении топки быстро падает и доходит до 8-10°; тогда мы снова затапливаем. С точки зрения парижского устройства это дико; но когда ветер кругом завывает и сметает клубы снега с крыши и ближних елей, когда, открывая дверь в холодные сени, впускаешь сразу мощную струю мороза в комнату, то это добывание тепла, борьба с холодом по три раза в день кажется делом необходимым и приятным; в

нём-то и представляется смысл деревенской жизни зимой. Да ещё в остальном уходе за собою: пилить и колоть дрова, ходить на ключ за водою, готовить обед. Но во время всех этих дел, как и в прогулках на лыжах — непрерывное наблюдение всех изменяющихся последовательно моментов дня и ночи, от восхода солнца до полного сияния луны, и любование ими. Как прекрасна зима с её снегом и световыми и цветовыми эффектами — этого не опишешь. Ты, вероятно, совсем забыла её, и, может быть, если бы тебе вновь пришлось переживать её, тебя бы отшатнул мороз и трудности жизни, с нею связанной. Но мы за эти 10-13 лет ко всему привыкли и закалились необычайно. Кроме того, есть возможность совершенно побеждать холод. Так, приехав в деревню, я на второй же день, 26-го, надев поверх обычного моего старого пиджака ещё другой, купленный когда-то в Old England и совершенно протёртый и даже продранный, прошёл на лыжах 16 вёрст при 30° мороза. Мне было жарко от ходьбы и я размотал шарф и открыл уши, так что незаметно для себя отморозил одно ухо; к счастью, наполовину удалось оттереть его снегом. Я шёл рекою, не встретив ни души, кроме как возле одной деревни на берегу, мимо которой я проходил, шёл в каком-то опьянении от ритмического движения, свежего, чистого воздуха и окружающей игры солнечного света на снегу. Кровь забегала быстрее, я чувствовал себя прямо молодым, и вспомнились мне наши прогулки по Москве-реке к Воробьёвым горам с С. В. Ивановым [1]) тридцать с лишним лет тому назад. О, эта Москва-река и Воробьёвы горы! Ты бы не узнала их теперь, во что они превратились!

Ну, Виточка, до свидания. Слишком я заболтался. В заключение — штрих из московской нашей жизни. Сегодня в 7 утра Лёля и Наташа стали в очередь за керосином; в данный момент уже час дня. Лёля только что пришла и сообщила, что керосин весь распродали, а до них очередь не дошла... Сегодня у Лёли « выходной » день, т. е. день отдыха на службе. Она ведь уже

---

[1]) С. В. Иванов — художник, примыкавший к передвижникам.

не в университете, но служит в библиотеке. Весёлый отдых, не правда ли?

27 февраля 1934.

[...] Я теперь опять обратился к науке, ибо переводов не имею, вследствие чего заработка у меня убавилось, зато времени прибавилось. Мой большой труд всё ещё не напечатан и я уже потерял надежду напечатать его на русском языке, мечтаю о французской публикации, благо мечтать ещё никому не запрещается. За последнее время всё же в печати вышло кое-что из произведений моего пера — большая статья « Рим » в энциклопедии « Гранат » (не смешивать с большой Советской). Мне было приятно, что кое-кому из историков она понравилась.

Кроме того, напечатан уже, но ещё не поступил в продажу мой перевод с латинского Светония — « Жизнеописания XII Цезарей ». Книгу эту я скоро пришлю тебе. Затем скоро выйдет мой же перевод Мемуаров Орсини. Обе книги в издательстве Academia. К сожалению, все попытки выпустить что-либо собственное, оригинальное, кончаются неизменно неудачей, отчасти из-за отсутствия у издательств бумаги, отчасти по причине специфических требований, предъявляемых ныне к публикуемым научным произведениям, каковым требованиям мои писания, очевидно, не удовлетворяют.

Такова-то наша жизнь. Это, конечно, только одна сотая её реального содержания; последнее чрезвычайно богато, но богато курьёзами, странностями, несуразностями и всякого рода « отсутствиями » и « невозможностями », « неисполнимостями », « недосягаемостями » и т. д. Так идёт время, месяц за месяцем, одно время года за другим; в моей бороде скоро совсем уже не останется тёмных волос, мои дети уже не могут назвать себя молодёжью, а между тем, время, кажется, не движется вперёд, но стоит на одном месте и, несмотря на преобразование внешнего облика города и знакомой нам загородной местности, несмотря на радикальный переворот в быту деревни, на изменения в хозяйственных условиях за последние пять-шесть лет, впечатле-

ние общее всё же таково, что никаких изменений нет, что жизни вообще нет, есть лишь прогрессирующее разложение в небытие. Не знаю, может быть, кто-нибудь и скажет мне, что мои старые глаза не видят новой жизни, вырастающей из развалин. Но *указать* эту новую жизнь едва ли кто сумеет. Ну довольно этих меланхолических рассуждений. На дворе снег, мороз, мятели. Но солнце с каждым днём забирается всё выше, свету всё больше и через полтора месяца потекут ручьи, зашумит весна.

[6 апреля 1934]

[...] Послезавтра будем праздновать Пасху. Сегодня девочки спекли куличи, а Ваня при моём содействии хорошо растёр сырную пасху. Завтра наверное покрасят десятка два яиц в две краски, жёлтую и синюю, других, кажется, достать невозможно. И это всё. О ветчине мы давным-давно забыли. Было когда-то время — и не так давно, — что Макс дарил нам окорок на Пасху, но это была эпоха НЭПа, а с тех пор они перестали празновать Пасху, и если вспоминают о ней, то в последние дни страстной недели, когда ещё сохранившаяся в семейных недрах обывателей традиция предпраздничной возни и приготовлений напоминает им, что существует на свете такой праздник. А сколько с ним связано светлых воспоминаний детства и юности, какие чувства любви, примирения, всеобщего братства людей возбуждали когда-то торжественные обряды богослужения страстной недели! Сколько веселья, с другой стороны, было для нас, гимназистов и гимназисток, в этих весенних пасхальных каникулах, с Вербой, говением, колокольным звоном бесчисленных церквей, каким-то особым настроением московских улиц, ожиданием розговенья, христосования, бесконечных визитов друг к другу с пробой и сравнениями куличей, пасок — и всё это на фоне весны, подступающего тепла, солнца, шума проснувшихся после зимы улиц и брожения крови в молодом теле. Где всё это? И как непохожа жизнь вокруг! Правда, быт исчез и от былого празднования Пасхи остались лишь какие-то слабые следы; зато другое и более важное, внутрен-

ний смысл всего этого торжества для меня лично стал понятен и важен только теперь. Таковы противоречия и неожиданности нашей жизни и нашего пути в ней.

Но я слешком увлёкся и распространился на эту тему, соответственно тому, что последние предпраздничные дни самого меня отвлекли немножко от моей очень интенсивной работы последнего времени. Я, кажется, уже писал тебе, что в этом году совсем не занимаюсь переводами, но всецело сосредоточился на занятиях историей. Сейчас работаю по двум темам: « Античная экономика » и « Эллинизм ». Результатом должны быть две статьи для одной энциклопедии. В последнее время на « фронте » истории, как у нас любят выражаться, наступило оживление. По-видимому, выяснилось и вдруг стало очевидно, что подросшее за последние лет десять поколение никакого понятия об истории не имеет, ну, конечно, спохватились, и теперь история снова получает права гражданства. Однако, в каком виде, в каком объёме — всё это пока неясно. Последние мои сведения таковы, что как будто поставлено даже требование, чтобы была настоящая история — древняя, средняя и новая, с фактами и деталями, совсем как полагается. Восстанавливается даже историко-филологический факультет, происходят совещания, вытаскивают из тёмных углов старых давно забракованных профессоров, приглашают их на совещания и т. д. Меня, однако, никто не беспокоит, ибо по моей специальности в Москве существуют несколько купных специалистов из более молодых, чем я, которые на меня смотрят сверху вниз, что меня, впрочем, мало смущает. К тому же на этом, как будто бы вновь открывающемся поприще преподавания истории многое для меня неясно и многое также сомнительно. Я думаю, что прекрасное начинание усилиями определённого типа « учёных » будет повёрнуто в такую сторону, что в наличии окажется всё, что угодно, но только не та история, которую куда-то изгнали, а теперь опять стараются вернуть назад. И потому всё это меня мало интересует. Однако, своим научным трудам в такой обстановке я совершенно не могу найти применения. Моя работа о Гракхах никогда здесь на-

печатана не будет, а также нет у меня и никаких дальнейших перспектив. И вот понемногу созревает у меня в голове план, который, может быть, и не так химеричен, как кажется на первый взгляд. Это — поехать месяца на два за границу, довести свою работу вполне до уровня современной науки — я имею в виду использование всего, что написано на эту тему за последнее время и что здесь достать невозможно — и затем постараться войти в сношение с французскими учёными и устроить перевод и печатание моего труда в каком-нибудь французском издательстве, на тех или иных приемлемых для обеих сторон условиях. За последние годы утрачено столько общечеловеческих ценностей, что я как-то не смею сетовать о том, что у меня лично не получилось никакой научной карьеры и что научная работа даже для себя самого вследствие неблагоприятных материальных и иных условий стала невозможна. Постепенно утратилось в этом отношении и самолюбие и честолюбие и получилась какая-то résignation, примирённость с тем, что здесь меня и учёным-то настоящим не считают, не только вышеупомянутые мои высоко вознесённые коллеги, но даже такие близкие люди, как, скажем, Макс. Да и действительно, почти всё сделанное мною содержится в рукописях, которых, кроме меня, никто не читал. За долгие годы впервые с 1926 года вышла недавно в свет моя оригинальная работа — статья « Рим » в энциклопедическом словаре « Гранат ». Все другие попытки публикации оригинальных работ оказывались и неизменно оказываются тщетными. Но вернусь к моему плану. Итак, я хочу попытаться издать мой труд во Франции; что он имеет ценность, в этом я не сомневаюсь, иначе я, конечно, не стал бы и огород городить. Получить разрешение на заграничную поездку — дело очень трудное, но не невозможное.

5 октября 1934.

Дорогая Вита,

Я думаю, ты уже догадываешься, что означает моё молчание. В самом деле, « на данном этапе » (как

принято у нас выражаться официальным языком) мне приходится отказаться от своего плана или по крайней мере отложить его. Причина в том, что волею судеб я возвращаюсь в своё первобытное состояние историка и профессора истории. Эта перемена, вытекающая из общего поворота в положении в СССР исторической науки и её преподавания в высшей и средней школе, должна быть тебе ясна, если только ты читаешь русские газеты (советские) и следишь за политикой в СССР. Как бы то ни было, факт тот, что я в этом году читаю историю Рима на Литературном отделении Историко-философского Института (бывшего Историко-филологического факультета Московского Университета) и кроме того, вероятно, буду ещё выезжать для преподавания в провинцию. Таким образом я получаю возможность оставить всякие посторонние занятия для заработка, вроде переводов, и буду иметь обеспечение (известное, по крайней мере), занимаясь своей прямой специальностью. Je ne demande pas mieux, тем более, что никаких идеологических рамок мне пока что не ставилось. Ты понимаешь, что бросить Москву и новые возможности в момент, когда они наконец снова представляются после столь долгого перерыва, было бы, по меньшей мере, непрактично. Кроме того, за этой первой возможностью вероятно наступление второй — я разумею поездку за границу уже в форме командировки и с возможным обеспечением, хотя бы проезда до места назначения. Тогда мой план оказался бы только отложенным на год.

[...] Лето было мне частью испорчено тем, что я, утомившись изрядно работой в Москве, взял на каникулы спешную работу — статью « Эллинизм » в энциклопедическом словаре « Гранат ». Работа оказалась очень сложной и трудной, я порядком помучился над нею и всё же только теперь приближаюсь к её окончанию. Кстати, имеете ли вы в вашей школе эту энциклопедию « Гранат »? Это единственная, кроме большой Советской, которая продолжает выходить. Так вот, измучившись над « Эллинизмом », я бросил работу и в начале августа совершил поездку к Пете на дачу в Калужской губернии, а от него прошел 70 вёрст пешком по реке Протве в город Тарусу на Оке,

где у меня были знакомые. Чудную совершил пешую прогулку и видел необычайной красоты природу. С 13 сентября мы уже в Москве и все очень заняты.

8 октября 1935.

Дорогая Вита,

Очень был обрадован твоим письмом из Beauvallon. Изображение твоей auberge на куверте с маленькой полосой моря заставило трепетать моё сердце, ибо напомнило когда-то виденные картины океана в Бретани и когда-то пережитые там моменты счастья и ещё молодых мечтаний. С тех пор жизнь продвинулась на двадцать с лишним лет, вынесено множество испытаний — да ещё каких! — а сердце всё ещё не хочет стариться, а ум старчески трезветь, и мечтания вопреки всей действительности настойчиво вторгаются мне в душу по всяким поводам, и таким, как вышеупомянутый, и в особенности таким, какие представляются мне сплошь в течение последних десяти дней, когда стоит дивная погода, подлинно золотая осень! А в такую погоду наше окружение стоит по своей красоте любого пейзажа в любом уголке мира, хотя здесь и нет моря, гор и скал. Но зато кругом такие просторы, расцвеченные золотом и бархатною зеленью, такая чистота и прозрачность воздуха, такое спокойствие и тишина, такая ласковость тёплых солнечных лучей и во всём этом полный покой и одиночество, что можно забыть даже наши тревоги и заботы и чувствовать себя, по крайней мере на это время, спокойным и счастливым, как будто в мире нет войны и не собирается гроза ещё большей и страшнейшей, как будто ближайшее и отдалённое будущее обеспечено заработком, как будто нет в нашей жизни той всепроникающей пошлости, которая почувствуется тотчас, как только придётся взяться за дела в Москве, столкнуться с людьми и фактами и даже просто выйти на московские улицы. Да, ничего этого здесь нет и не чувствуется; такая возможность одиночества и растворения в природе является, благодаря Богу, спасительным кор-



Д. П. Кончаловский у себя на даче летом 1936 года.
В центре: автор с дочерью Натальей. Сидят: справа — племянник Андрей, слева — сосед.
Стоят: справа налево — дочери Елена и Зинаида, дочь соседа.
Впереди: две крестьянки-колхозницы из соседней деревни

рективом к нашей жизни, без которого она вообще была бы невозможна.

Ты пишешь, что мысленно беседуешь со мною во время одиноких прогулок. Это меня радует, значит ты не забываешь меня. С своей стороны, могу тебе сказать, что каждодневно поминаю тебя в молитве за здравие всех родных и близких мне людей. Но я хотел бы знать, о чём беседуешь ты со мною; вероятно, всего больше делишься красотами видимой тобою природы, к которой я неизменно остаюсь чрезвычайно чувствителен. А может быть, мечтаешь и о том, не удастся ли мой приезд в Париж, каковой я собираюсь всё же попытать будущей осенью, несмотря на всю слабость шансов и надежды на успех. Если Богу угодно было сохранить меня в живых в этой тяжелой болезни [1]), то не пошлёт ли Он мне осуществление и этой моей мечты — более чем мечты — практического плана, необходимого для реализации моей работы, моего научного достижения? Однако, это ещё дело довольно отдалённого будущего. А сейчас лучше расскажу тебе о настоящем, удовлетворяя твоей просьбе. О моей болезни ты уже знаешь от Макса; она, слава Богу, миновала, и я теперь поправляюсь. Силы вернулись настолько, что я хожу по лесу в течение 40 минут, не присаживаясь, и если не иду дальше, то лишь чтобы не утомлять себя, помня о всех предостережениях для периода выздоровления. Ем ещё далеко не всё, хотя Макс, по-видимому, считает, что уже пора перейти на нормальное положение; однако домашние держат меня в строгом режиме. Голова совершенно свежа, и хочется работать умственно, но и этого пока не позволяют. А потому в этом периоде выздоровления много скуки. К сожалению, я не могу коротать время сном, ибо мой талант — всегда уметь хорошо выспаться — как раз исчез во время и после болезни, и днём я совсем не сплю, а ночью значительно хуже прежнего. Объясняется это тем, что и до болезни, в течение полутора месяцев, и во время нее нервы мои находились в крайнем напряжении. Ведь до болезни я ездил в провинцию для чтения лекций по повышению квалификации

---

[1]) Брюшной тиф в очень тяжелой форме в августе 1935 г.

учителей истории средней школы. Моя задача заключалась в том, чтобы сообщить знания по всей древней истории в объёме почти университетского курса лицам, очень мало подготовленным по истории. Притом, на весь курс полагается 75 часов по 4 часа ежедневно (а иногда и по 5) в течение двух недель с половиной. Можешь себе представить нервное напряжение при выполнении такой задачи. Это-то напряжение и подкосило меня, так что я и стал лёгкой жертвой микроба, подцепленного в провинциальной « столовке », где поневоле приходилось питаться. Но теперь всё это, к счастью, отошло в область прошлого, и я стою теперь перед перспективой работы « для себя » по возвращении в Москву, если на то будет соизволение Божие.

[Конец января 1937]

Дорогая Виточка,

Давно мне хочется написать тебе, и не просто письмецо с кратким сообщением самых необходимых сведений о нас, а побеседовать всласть, не торопясь, на больших страницах, по возможности, выложить тебе всё, что накопилось в душе за много времени, ну по крайней мере за последние годы. Именно, за последние годы, ибо я чувствую, что в эти годы что-то переменилось, что-то произошло, что положило грань между настоящим и ещё не столь давним прошлым. И, как всегда бывает, эта грань слагается из внешних и из внутренних событий одновременно, притом и те и другие только кажутся случайными. Несомненно, что из внешних главными здесь являются смерти близких людей, именно Давыда [1]) и Лёли [2]), происшедшие в один и тот же год на расстоянии всего нескольких месяцев. Это значит, что люди самые близкие начали сходить в могилу и что, следовательно, мы, наша семья, наша группа так сказать, уже вступила в последнюю полосу жизни. Нужды нет, что обе эти смерти были преждевременны и, при других обстоятельствах, могли бы быть избегнуты. Кто-нибудь же должен начать,

---

1) Шурин.

2) Старшая сестра.

хотя бы и преждевременно и безвременно... И вот мы тронулись, и я невольно думаю : за кем же следующая очередь?

Говорят, что в старости чувства притупляются. Или это неверно, или я не стар. Ибо эти две утраты я переживаю сильнее и глубже, нежели в своё время смерть папы и мамы. Тогда эти раны быстро заросли, ибо начиналась своя собственная жизнь, все надежды и ожидания были так жадно и напряжённо устремлены в будущее. И странно, смерть папы и мамы для меня сейчас гораздо более реальный и ощутительный факт, чем тогда, когда она наступила. Что же касается Давыда и Лёли, то их утрата для меня сегодня почти так же заметна и ощутительна, как в первые дни.

Но ведь и эта утрата не была первой в среде близких лиц; всё совершалось постепенно. Сначала, ещё в 1915 году, я потерял своего лучшего друга Владимира Сергеевича; потом ушёл второй мой товарищ, Егоров; потом Михайловский [3]), с которым за последние годы мы очень сблизились. И, наконец, Давыд и Лёля. Почему я заговорил с тобою сразу о покойниках? Ты, может быть, негодуешь на меня за это. Но это для меня совсем не страшная, совсем обычная тема для мыслей и даже для бесед с домашними, хотя дети, и особенно Наташа, возмущаются, когда я заговариваю об этом. А обычной она для меня стала ещё и потому, что во время болезни тифом я был так близок к смерти и в течение по крайней мере двух недель я был совершенно готов к ней, причём подвёл итог моей жизни; с тех пор я, хотя и выбравшись на берег этого земного существования, всё же неизменно сохраняю сознание и ощущение, что все мы стоим на краю и что надо быть всегда готовыми к переходу в иную область. Я сказал, что во время болезни тифом я подвёл итог моей жизни : баланс оказался невелик, в общем, я могу признать себя неудачником, в прошлом — по своей вине, с некоторых же пор — по вине обстоятельств, но опять же и по моей собственной вине. Когда я ясно ощутил этот печальный баланс, первое время мне было

---

[3]) А. Н. Михайловский, художник, товарищ юности.

очень тяжело, тем более, что на одре болезни я чувствовал — дело непоправимо; теперь я отношусь и к этому горькому факту моей жизни совсем спокойно. Действительно, так ли это важно, если взглянуть кругом и подумать о стольких катастрофах? Я с гораздо большей горечью, чем личную неудачу моей жизни (а ведь она компенсируется многим другим, хотя бы тем счастьем, которое я имел в моей семье), ощущаю измены и перемены людей, я воспринимаю эти измены, как смерть при жизни [...]

25 февраля 1937.

Много недель тому назад я начал это письмо, и я не докончил его тогда потому, что по мере того, как писал, чувствовал, что перо всё более и более тяжелеет в моей руке, а когда перечитал написанное, всё мне показалось неизъяснимо скучно. Так попали эти две страницы в ящик письменного стола, где и пролежали до сего дня. В промежутке много раз хотелось мне снова писать тебе, а сегодня, перечитав написанное тогда, я решил, что хоть и мало оно интересно, всё же лучше что-нибудь, чем ничего. Всё это покажет тебе наглядно, как стало трудно, что называется, « изливаться », и вместо свободного истока чувств и мыслей впадаешь в какое-то сухое и тягучее рассуждение, к тому же не всегда о том, о чём действительно хотелось бы поговорить по душам.

Ты, конечно, знаешь, что у нас праздновался юбилей Пушкина. В Румянцевской библиотеке попался мне в руки номер Revue de littérature comparée, посвящённый Пушкину. Как ни люблю я французов, а мне стало досадно, до чего они мало способны понять и оценить чужое. Несмотря на то, что, в эпоху самого же Пушкина, о нём говорил сам Mérimée, они до сих пор знают и ценят его меньше, чем немцы. Статьи Mazon'a, Haumont и Legras в этом номере прямо скандальны своей скудостью и поверхностностью. Впечатление такое, что каждый, и особенно первые двое, дали статейки, написанные в один вечер, лишь бы дать что-нибудь. И это о Пушкине и для юбилея Пушкина. Обидно.

[...] Ну, о чём поговорить с тобою ещё? Может

быть, тебя интересуют мои занятия. Предмет их в настоящее время следующий: в течение последнего года я перевёл с латинского 5 книг «Естественной истории» Плиния о животных. Теперь пишу вводную статью об античной науке, т. е. собственно пока ещё читаю для этой статьи и обдумываю её, нанося на листки отдельные мысли. Всё это не легко. Одновременно перевожу сейчас одну биографию Плутарха с греческого для издательства «Academia». Одновременно веду переговоры с так называемым Соцэкгизом о разных литературных предприятиях, но ещё не знаю, что из всего этого получится. Как видишь, оригинальной работы веду мало — не приходится. Источником заработка являются больше переводы. Вообще он у меня в этом году мал, но выручают дети, особенно Наташа и Ваня [1]).

---

[1]) На этом письма к сестре прерываются. В 1938 г. — в период так называемой «ежовщины» — и в последующие первые два года войны на Западе переписка сводится к кратким извещениям о здоровье.

В июне 1941 г. Дмитрий Петрович находился, как всегда, с семьёй на своей даче под Можайском. В конце октября, после занятия Можайска немцами, вся семья оказалась в зоне оккупации. Попытка получить от немецкого командования пропуск на проезд в Париж к сестре не увенчался успехом. Не желая ни ехать в нацистскую Германию, ни возвращаться под Советскую власть, Дмитрий Петрович почти три года — с октября 1941 по июль 1944 г. — провёл в прифронтовой полосе немецкой армии, в самой зоне военных действий. Весь этот период он вёл систематическую запись политики немцев в России и постепенной эволюции настроения и надежд русского населения.

В начале 1944 г. ему удалось с оказией переправить к сестре часть своих статей и записных книжек. Но военные записи, а также и рукопись своей диссертации об аграрном движении в Риме он оставил при себе, надеясь таким образом с большей вероятностью их сохранить.

Чемодан, переправленный сестре, в целости прибыл по назначению. Пакет с диссертацией и военными записями погиб в одной из бомбардировок летом 1944 г.

Переписка с сестрой возобновляется с начала 1946 г.

В ЭМИГРАЦИИ

ЖИЗНЬ В ЛАГЕРЕ ДИ-ПИ [1])

(Письма к сестре и к друзьям)

16 марта 1946.

Дорогая Виточка,

Вчера мы получили твоё письмо. Мне нет надобности писать тебе как поразила нас страшная весть о гибели Вани и Андрея. Из всех наших детей, оставшихся на родине, это были для нас самые дорогие и близкие по духу. Вместе с Максом мы потеряли теперь в их лице самое главное, самое дорогое, что привязывало нас к этой родине, от которой судьба оторвала нас, быть может, навсегда. Весть о гибели Вани не была для меня полной неожиданностью : я ведь знал, сколько было в его положении возможностей погибнуть тем или иным путём; но в то же время были также основания надеяться на то, что он уцелел, и, во всяком случае, я всегда представлял его себе живым, иногда мечтал о нашей встрече когда-либо в будущем и молился за него как за живого. Но в обыденной жизни с её заботами каждого дня, признаюсь, я от него отвык; ведь с января 40-го года он был призван в армию, а затем, с нашим уходом и последующими столь необычайными и потрясающими событиями, судьбы наши разошлись, и нам, пятерым,

---

1) Ди-пи — русская транскрипция сокращения термина « displaced persons », введённого американцами и обозначающего лиц, потерявших родину и постоянное местожительство в результате войны. (Полный перевод — перемещённые лица).

Автор с семьёй находился в лагере ди-пи в Германии, в районе Ганновера, с сентября 1945 г. до октября 1947 г.

попавшим в такое странное положение, полное превратностей, приходилось думать о себе и изворачиваться перед непосредственными опасными ситуациями. Естественно, что всё прошлое даже и с дорогими людьми ушло как-то на задний план, подёрнулось пеленой. И вот весть об утрате этих дорогих людей сделала их опять как-то страшно реальными и близкими, и ощущается она тем более болезненно, что не знаем мы ничего точного ни об обстоятельствах смерти, ни о времени её, ни о месте погребения. А Ванюшка-то наш бедный лежит себе просто в земле, неизвестно где в поле, а если и насыпали над ним холмик, то уж наверное не осталось от него следа.

Единственным утешением в этом горе является мне то, что погиб он « спасая других », как ты пишешь, значит так, как он всегда для себя желал, т. е. в честном бою, и в особенности то, что не из-за нас он погиб, не в застенке НКВД или в концлагере.

Жалко мне и Андрюши, он был мой любимый племянник и называл меня своим любимым дядей; в нём для меня жило всего более от Лёлиной способности тонко чувствовать, схватывать и переживать всё относящееся к области искусства, литературы и особенно музыки.

[...] Спасибо тебе, Виточка, за твоё сочувствие и твои заключительные слова, где ты выражаешь готовность нам помочь и желание нас видеть близ себя. Говоря откровенно, меня ничто не привязывает теперь к жизни, кроме жизни моих дочерей, которым всё же по возрасту их ещё не хочется умирать, и только для них я хотел бы какого-нибудь более прочного и определённого устроения. Впрочем, поскольку я ещё живу, есть у меня одно желание — это повидать тех близких и дорогих людей, которые у нас ещё остались. Оставшиеся на родине нам недоступны и едва ли мы когда-либо сможем с ними увидеться. Но в Париже ещё живёте ты и Иван Михайлович[1]) с семьёй. Иван Михайлович всегда был мне близок по духу, в прошлом у нас немало общих дорогих воспоминаний и товарищество студенческих лет. А теперь, после всего

---

[1]) См. прим. стр. 162.

пережитого и после всех потерь, у меня к нему прямо-таки братские чувства. И ещё милый добрый Beaulieux [1]) живёт в Париже. Да и самый Париж так дорог мне по воспоминаниям молодости. И потому-то, говорю я, моё желание, единственное с некоторой вероятностью выполнимости, это попасть в Париж, повидать всех вас, а там хоть умирать, к чему я научился быть всегда готовым в эти последние, полные превратностей и злоключений годы. Я думаю, что мы не были бы тебе в тягость материально. Мы, конечно, рассчитываем на работу.

[...] Вообще ты, не переживши нашей советской жизненной школы, не можешь себе и представить до чего минимальны наши потребности. Кроме того, мы привыкли не бояться никаких невзгод и опасностей, надеясь на произволение Божие и зная, что положенного всякому конца, когда стукнет час, всё равно не избежать. До сих пор мы, иногда каким-то чудом, выходили из самых трудных положений, и наша установка нас, следовательно, не обманывала. Думаю, что то же будет и впредь, пока не пробьёт и наш час, как пробил он для наших близких.

* * *

А теперь, пользуясь тем, что письмо это придёт к тебе по городской почте, расскажу тебе о нашем нынешнем положении.

Мы живём среди 800 так называемых ди-пи, из которых около 150 — из Югославии, но не югославы, а тамошние немцы, возведённые по завоевании в ранг так называемых Volksdeutsch'ей. Остальные — русские. Конечно, почти все — бывшие советские граждане, либо насильственно привезённые сюда в качестве Ostarbeiter'ов [2]), либо бежавшие от наступавшей советской армии, главным образом, из Украины. Впрочем,

---

1) См. прим. стр. 272.

2) Ostarbeiter — немецкий термин, обозначающий людей, принудительно вывезенных из восточных оккупированных областей для работы в Германии.

есть некоторые и из средней полосы России. Есть здесь также и старые эмигранты и « интеллигенты », но их можно перечесть по пальцам. Среди этих есть сомнительные личности, ещё более сомнительные личности среди советских.

[...] Всю эту лагерную публику связывает одна общая черта : постоянное питание всякого рода тревожными слухами и хроническое пребывание в состоянии паники. Предметом же слухов являются репатриационные комиссии с участием советских представителей, учиняющих расправу в том или другом из лагерей « d. p. » английской или американской зоны. [...]Появление здесь комиссии и, возможно, с советским представителем, есть вещь вполне реальная. Такие комиссии побывали в разных лагерях и с разными результатами, впрочем, как говорят, лишь в редких случаях отрицательными. Однако достоверно известно всё же очень мало на этот счёт. В случае появления такой комиссии у нас, придётся действовать по обстоятельствам, но, вопреки общей установке лагерников, внутренний голос говорит нам, что всего правильнее прямо открыть своё лицо и объяснить мотивы нашего поведения с начала и до конца. Всё осложняется, конечно, той нелепой точкой зрения, на какую стали англо-американцы в вопросе о так называемом сотрудничестве с немцами и « измене родине » в отношении Советов. Они сами всё более сознательно и открыто становятся врагами этих последних и, в то же время, карают лиц, находившихся в оппозиции этим Советам и ведших антисоветскую пропаганду.

Как бы то ни было, мы не поддаёмся никаким паникам, не придаём значения слухам и стараемся даже не внимать им. Ведь столько раз за эти пять лет мы все вместе и каждый в отдельности находились на волосок от смерти и научились не бояться её. [...] Хотелось бы попасть в Париж и повидаться с тобою и с друзьями, но на всё воля Божия и надо ей подчиняться.

2 июня 1946.

Дорогая Виточка,

[...] Спасибо тебе также за сведения о знакомых. Кланяйся им всем, которые меня не забыли. Передай привет Николаю Милиоти [1]); я рад был узнать, что он жив и здоров. Вот и его братья ушли в другой мир, где уже так много бывших наших сверстников, товарищей нашей молодости или просто знакомых. Сознание, что уже столько близких покинуло эту жизнь, делает как-то более лёгкой и приемлемой мысль и о собственном предстоящем переселении... Впрочем, оставлю эту тему и прошу у тебя за неё прощения, я знаю, что ты такого рода разговоров не любишь...

Итак, жизнью пользуйся живущий! Я не могу сказать, чтобы не следовал этому мудрому правилу и из предоставленных мне в этом смысле возможностей стараюсь извлекать как можно больше. Во-первых, наслаждаюсь природой даже в том упорядоченном виде, в какой она приведена здесь, в так называемой Lüneburger Heide (географический район вроде Beauce), трудолюбивыми немцами. Здесь вся местность разделена прямыми дорогами с двумя канавами по бокам на квадраты площадью в 3-5 гектаров, причём квадраты эти представляют либо пахоть, либо пастбища с живописными группами великолепных деревьев, разбросанных по ним. Канавы проведены для сушки местности, бывшей когда-то, видимо, сплошным болотом. Такое устройство придаёт пейзажу чрезвычайное однообразие, но отдельные уголки не лишены прелести. Зато всё искупается небом, которого мы не знаем в России нашей средней полосы. Здесь, как и во Франции, небо всегда раскинулось высоким и широким куполом, облака всегда лёгкие и разнообразные по форме, окраске и световым эффектам. У нас таким оно бывает полтора или два месяца в году, в разгар лета, остальное время оно низкое, с тяжёлыми свинцовыми облаками.

Два раза в день я совершаю прогулку туда и

[1]) Н. Д. Милиоти — художник эмигрант.

обратно в соседнюю деревню, где я снял для себя комнату на дневные часы, как бы cabinet de travail. Там я могу быть один и спокойно работать.

Сейчас у меня составились три группы лагерников для изучения английского языка. Сам же я занимаюсь изучением истории, конечно, новой и особенно современной, по тем пособиям и материалам, которые удаётся здесь находить.

1 июля 1946 г.

Дорогой Ваня [1]),

[...] Мне кажется, ты не совсем представляешь себе психологию лиц 24 года томившихся в советской тюрьме и не видевших иного выхода для России, как в войне и поражении существующего правительства. Всё передовое в России всегда было дефетистским — и перед Крымской кампанией, и перед Японской войной, и даже перед первой мировой войной, хотя и не в такой степени. Кто мог ожидать пять-шесть лет назад, что людям будут вменять в преступление их честные политические убеждения и их выбор способов служить своей родине? Всю нынешнюю установку в отношении побеждённых и их бывших сторонников я считаю совершенно неправильной, однако в высшей степени показательной в смысле эволюции общественной морали во всём мире.

Именно эта мораль и многие иные факты подобного же рода показывают, что большевизм существует не в одной России, что его нравственные и умственные предпосылки распространяются повсюду в мире, где больше, где меньше, кажется особенно сильно сейчас во Франции. Ты являешься в своём письме, повидимому, приверженцем старой европейской культуры, в которую мы когда-то, в студенческие годы, верили, как в абсолют. Но с тех пор стало ясно, что старой Европе с её культурой некуда идти дальше, ибо развитие этой культуры убило самые её источники — т. е. христианскую концепцию жизни и мира и вообще религиозную веру. Я думаю, история доказывает, что

---

1) См. примечание стр. 162.

общество, потерявшее свою религию, неминуемо погибает. Современное человечество (я говорю о европейцах и вообще о белых во всём мире) потеряло свою веру, и духовно ему больше нечем жить, ибо всякие там новые формы поэзии, музыки, живописи — всё это представляет чисто формальные кунстштюки, которые (даже при гениальности их творцов, например Пикассо) представляют собою жалкое эпигонство настоящей прошлой культуры с подлинным духовным содержанием. А наука вращается в заколдованном кругу и пришла к сознанию, что ни к какому синтезу и познанию « сути » она прийти не может, и весь её будущий путь это лишь бесконечное разложение фактов на части и блуждание в беспредельности.

Поэтому и культура эта обречена на смерть, ибо всё вообще должно когда-либо погибнуть, кончиться, даже если потом должно появиться что-либо новое. Ибо « аще не умрёт, не оживёт ». Желаемое тобою обновление во всяком случае не произойдёт так, как ты себе его рисуешь : т. е. как результат чьих-то сознательных, определённо направленных усилий. В истории ничто никогда не выходило таким, каким представляли себе люди результат своей деятельности; всегда выходило нечто третье, и часто совсем неожиданное и непохожее на искомую цель. К тому же нельзя так упрощать противоположности, как это делаешь ты, говоря, что борьба идёт между благородством и хамством. Мы совершенно не знаем, между чем сейчас идёт борьба, т. е. какая новая концепция мира и какой новый порядок мира должны прийти на смену ныне отживающим : но материалистическая, большевистская концепция мира, порождённая европейской культурой, сейчас грозит эту культуру разрушить — и она её разрушит. В этом отрицании, в разрушительности большевизма, в его внутренней убеждённости в собственной правоте и лежит его динамичность, которая несомненно импонирует всем. Сталин, пожалуй, действительно, не сунется на открытую борьбу, но ему этого и не надо : объективно мировое положение сейчас работает на большевиков, и без всякой войны они преуспеют в своём разложении мира в моральном отношении, а экономически он уже подготовлен. Я

думаю, большевизм со временем возьмёт повсюду власть так же легко, как это было в России в 1917 году, ибо он, как тогда, имеет своим противником ту же керенщину, но в мировом масштабе. Такое убеждение внушает мне картина всех этих совещаний всяких « bigs » и UNO и т. д. Англо-американцам сейчас надо бы просто дать по морде большевикам, ибо за теми пока ничего нет, но беда в том, что воевать англо-американцы не могут, они заняты или хотели бы заняться восстановлением домов, промышленности и всего комфорта разрушенной войною цивилизации. Кроме того, на агрессивную войну против России их же собственные солдаты сейчас не пойдут. Им остаётся поэтому только уговаривать, возмущаться, пожимать плечами или высказывать надежду, что на следующей конференции дело пойдёт лучше. Бернсы и Бевины — это тот же Керенский. А Васька слушает да ест.

Таков мой взгляд. Если считать вместе с Евангелием, что ничто « аще не умрёт, не оживёт », то нет в моём взгляде никакого пессимизма. Большевизм — как политическая и социальная система, как моральный комплекс — отвратителен, но может быть он и должен быть таким, чтобы оказаться могильщиком европеизма и культуры. В этой отвратительности и разрушительности его и заключается его динамизм. Он знает, чего хочет и rücksichtlos[1]) идёт к цели. А его противники не знают, чего хотят, топчутся на месте, да вдобавок, частью искренне, частью ради дипломатии, находят ещё что-то положительное в своём антагонисте и делают ему рекламу в своём собственном лагере и у нейтральных. Роль Керенского в особенности взяла на себя лейбористская Англия, которая так же боится капиталистической Америки, как Керенский боялся правых, и так же считает большевиков всё же « товарищами », как считал их Керенский.

Ты совершенно угадал меня, отнеся меня политически к де-Местру и Леонтьеву, а в религиозном отношении к восточным монахам. Именно у тех и других я вижу настоящую мировую мудрость и верное провидение грядущего. Тут не только возраст мой

---

1) Беспощадно.

играет роль. Я недаром занимался де-Местром у Виппера. А в тебе тоже видимо и сейчас сказывается теория бесконечного прогресса Кондорсе.

[...] Ты считаешь, что мой взгляд, как и вообще вся концепция де-Метров и Леонтьевых, несёт в себе не жизнь, а смерть. Я считаю — наоборот. Смерть есть вообще удел всего существующего, всё должно погибнуть, и для живущих и желающих жить (а такими были и де-Местр и Леонтьев) проблема заключается в том, чтобы как можно дальше отодвинуть момент гибели. Недаром Леонтьев считал нужным « подморозить » Россию в её вековом укладе, дабы прогресс не погубил её. Философы реакционеры были заодно с античной языческой мудростью, которая отрицала прогресс и в лице правительств тормозила технический прогресс, опасаясь его социальных последствий. Как бы то ни было, « застойные » цивилизации античного Востока, Китая, Индии и даже греко-римская и средневековая христианская жили тысячу и несколько тысяч лет, а « прогрессивная » цивилизация Европы гибнет в возрасте 400 лет и своей техникой грозит разрушить всю жизнь на нашей планете.

[...] Забыл сказать о большевизме ещё одну важную вещь. Я не теряю надежду, что, сыграв свою деструктивную роль, большевизм явится средством сообщения Европе тех положительных нравственных начал, которые сохранились в русском народе как наследие его прежнего религиозного духа, сказавшегося уже в корифеях русской литературы; сообразно той области, в которой происходит борьба, русские начала может быть скажутся в привнесении русских элементов нового человека и нового быта. Это тоже особая тема.

27 сентября 1946 г.

Дорогой мой Ваня,

[...] Вообще же я должен сказать, что для меня и вообще нашего брата, столько пережившего за последние годы разочарований, нужна какая-то живая вода, чтобы воскресить веру в слово и в необходимость его публично высказывать. Сколько было уже сказано

о всём происходящем в мире, и, казалось бы, у людей давно уже должны были быть открыты глаза на всё, и всё должно бы быть ясно. А между тем ясно другое, а именно, что никакие писания, никакие провозглашения истины не помогают, всякий твердит своё и остаётся при своём, а высказывания делаются главным образом для себя и доставляют удовлетворение только самому высказывающему. А если подумать, сколько « истин » было провозглашено за последний век веры в печатное слово и тем не менее всё попросту летит куда-то в тартарары...

В связи с этим весьма знаменательны несколько строк твоего последнего письма, где ты говоришь, что о положительной программе вашего издания вам столковаться трудно и что твои собственные мысли « о ближайшем будущем России тоже довольно смутны, как и у тебя » (т. е. у меня). Но из всего сказанного нами друг другу в наших письмах, я всё же заключаю, что мои мысли на эту тему несколько определённее твоих, поскольку я не вижу возможности дать России какой-либо другой порядок кроме ныне существующего. Я к тому же полагаю, что всё окружение, мировая « конъюнктура » и действия мировых партнёров большевизма весьма содействуют упрочению этого порядка в самой России и его распространению на другие части планеты. О, как бы я был счастлив, если бы я ошибся и события будущего изобличили бы эту ошибку! Но вот то, что ты пишешь о желательной демократии в России — это уж совсем неопределённо и к тому же нереально. Я вообще считаю, что какой-либо иной порядок мог бы быть внедрён в России только её завоеванием иностранной державой, т. е. новыми варягами, которые явились бы « княжить и владеть нами ». Ну, об этом, пожалуй, довольно.

В заключение позволь процитировать несколько слов из статьи Mauriac'a в Figaro от 31 августа : « Nous n'avons pas besoin d'un génie, mais d'une conscience, non pas tant d'un grand esprit que d'une grande âme, et non plus seulement de héros, mais aussi et surtout de saints ». Однако, трагедия нашего века, обнаружившаяся уже в России, это то, что « информация », т. е. радио, печать, кино, все эти средства распространения мнений и

взглядов не дают пробиться ни героям, ни святым (если бы даже они появились) сквозь толщу официальной лжи и пропаганды. Известно ли тебе, что в советском оповещении о казни Власова и прочих генералов они изображены не как идейные противники большевизма или хотя бы Советской России, а как простые агенты Гестапо и немецкой контрразведки. Вот в чём ужас. Таким образом, действуя, борясь и погибая, ты не держишь знамя какой-то идеи, а несёшь на себе клеймо шпиона. Таким ведь образом погибают в России все идейные противники советской власти, да и не только противники, а все неудобные для большевиков люди.

Извини за бестолковое изложение моих мыслей. Какое-то такое время, что и мыслей не соберёшь, что видимо подтверждает мою выше высказанную мысль, что сейчас не время говорить.

1 октября 1946.

Дорогая Виточка,

[...] Сегодня 18 сентября старого стиля, день нашей свадьбы. Помнишь этот день в Москве на Чудовской, в доме Троицкой, в квартире папы и мамы, где ещё сохранялся дух нашей общей семьи, определявшийся больше всего жизнью и интересами нас — братьев и сестёр? Но и самая свадьба наша и через два дня последовавшая свадьба Макса и Сони были, как и предшествовавшая на семь месяцев Петина свадьба, как и Лёлин брак и твоё упрочивание в Париже, последовательными моментами разложения этой нашей старой родительской семьи. Я помню, как в то время я был поглощён своим счастьем, своим будущим, своими надеждами. Какой светлый был этот день, какой радостный был наш свадебный пир! Какие дорогие люди, какие хорошие и сочувствующие друзья и знакомые праздновали тогда со мной и с Зиной наш праздник! Сколько ушло их с тех пор, этих дорогих нам людей, в могилу, не только тех, которым пришла пора по их возрасту, но и таких, которые могли бы ещё жить, как живём ещё мы с тобою, — Макс, Протопопов,

мой лучший и никогда не забываемый мною друг, и многие иные. Тогда ещё жива была эта связь со старой родительскою семьёю, особенно в лице братьев и сестёр, а к ней присоединялось ещё новое счастье, личное, собственное — Зина и самостоятельная новая жизнь, которую надо было построить. А вот теперь через 44 года мы стоим с Зиной перед развалинами этой нашей собственной жизни, которую уже 30 лет тому назад поковеркала внешняя катастрофа.

[...] Размышления мои меланхолические, но всё же я оглядываюсь с радостью на ту массу светлого, что было в нашей жизни с Зиной и с детьми, а бури, которые смяли эту жизнь внешним образом, в то же время внесли в неё много духовного содержания и возвышенного умудрения.

31 октября 1946.

Дорогая Лиза [1]),

[...] Теперь о моём отношении к русскому народу — вопрос, который Вас интересует. Ваш папа прав : к проблеме этой я хотел бы подойти с чисто научной точки зрения. Но и Вы правы с Вашей мамой : я занимаюсь этой проблемой, как сын своей родины и своего народа, недоумевающий перед зрелищем того, как проявляют себя эта родина и этот народ в течение десятилетий, коих я сам являюсь современником в качестве сознательного и наблюдающего человека. В особенности же возбуждает недоумение и внутреннюю тревогу то резкое противоречие, в каком стоит в духовном отношении (в смысле массово-народной психологии и идеалов) Россия послеоктябрьская к России, как она отражалась когда-то в православии и в русской литературе, и какой я помню её ещё в годы моей молодости, до Японской войны. Промежуток между нею и первой мировой войной — какой-то неопределённый, переходный. Вторая же мировая война открыла мне глаза на многое, и я стал иначе смотреть на Советскую Россию и на большевизм, чем смотрел на

---

1) Дочь И. М. Хераскова.

них в течение 24-х лет до моего опыта 1941-45 годов. Я перестал рассматривать большевизм как преходящее явление, как больной нарост, навязанный стране механическим стечением мировых и внутренне-русских факторов. Я считаю, что понять Россию послеоктябрьскую можно только установив преемственную связь настоящего со всем историческим русским прошлым, как в положительном, так, в особенности, в отрицательном содержании исторического нашего процесса. У меня на этот счёт уже составилась своя теория или гипотеза, но её вкратце не изложишь. Насколько возможно здесь это делать, я и занимаюсь её « разработкой », если только не слишком претенциозно это слово в применении к моей скромной работе со столь скудными средствами и в столь неблагоприятной обстановке. Если Бог пошлёт мне ещё несколько лет и более благоприятные условия, может быть, и удастся прийти к каким-либо ответам. Оттого отчасти и хотелось бы в Париж.

(Из записной книжки)

7 ноября, четверг [1946].

Сегодня я встал без четверти шесть. Всё утро ушло у меня на приготовление к поездке в Celle. Но Евангелие и прочее обычное я всё же прочёл. В дороге пытался читать Ключевского, но езда вгоняла в дрему. Приехал в Celle в начале второго и тотчас без труда разыскал Fräulein Hoppe. Я нарочно заговорил с ней сразу по-английски и когда я попросил её давать мне английские уроки, она чрезвычайно смутилась и ответила, что я говорю лучше её по-английски и она не может быть мне полезна. Она занимается только с начинающими. Всё же она порекомендовала мне одну American Lady, бегло говорящую по-английски. К ней я тотчас же и отправился и, по счастью, легко разыскал её и застал дома. Дама пожилая, немка, но, родилась в Нью-Йорке и говорит хорошо. Конечно, это ещё вопрос, каков её лексикон, насколько богат и насколько правилен язык. Увидим. Пока же я догово-

рился с нею, что она мне напишет, по каким дням она сможет давать мне два часа кряду, раз в неделю. Кроме гонорара, семь марок, я приношу ей к каждому уроку суп.

Затем я занялся осмотром города. Замок и некоторые улицы я уже видел по дороге к моей учительнице. Celle — типичный немецкий « хорошенький » городок, великолепно сохранившийся, очень выдержанный в стиле своих Fachwerkhäuser[1]). Замок очень эффектный и оригинальный — барочного стиля, простой и импозантный, выкрашен в жёлтый цвет: огромный куб с четырьмя фасадами, глядящими в редкий парк, его окружающий. В парке — пруд, остатки канала по всем сторонам. Улицы с обеих сторон заставлены небольшими трёх- и четырёхэтажными домиками, производящими впечатление игрушечных. У многих три и четыре этажа слегка выдаются, друг над другом. A la longue, эти фахверковые домики, словно пряничные или картонные, надоедают и кажутся скучными. Я это вдруг заметил уже в Гёттингене. Целые улицы без архитектуры, словно состоят из хижин. Так что порой даже новый дом радует глаз, ибо имеет некоторое подобие архитектурных форм. Вообще же все эти миленькие, чистенькие, уютные немецкие городки, обязательно с зеленью, часто с вековыми деревьями — все на один лад и все проникнуты духом какой-то необычайной умеренности и мещанства. Фахверковые домики — все как один, несмотря на кое-какие варианты, слеплены друг с другом, и кажется, что во всех них живёт одно и то же скучное и прозаическое лицо, не имеющее никакого размаха и навеки довольное своей комнаткой в крохотном домике, кусочком улицы, кусочком парка и недалёкой прогулкой за город.

Я вернулся поездом 4 ч. 08 и был в Бургдорфе без десяти пять. Совсем забыл об автобусе из Лерте. Пошёл пешком в сумерках. От Бургдорфа до лагеря — 10 километров. Километра за два с половиной до Hänigsen'а меня обогнал лертовский автобус, в котором

[1]) Дома клетчатой стройки.

возвращались домой из Лерте Наташа и Зинушка. Я всё же не раскаиваюсь в своей прогулке, ибо легко прошёл эти 10 километров в 1 час 50 минут.

8 ноября, пятница.

Сейчас половина третьего ночи, я устал и трудно мне писать, хочется спать. Но день сегодня примечательный : вечером я узнал, что с понедельника, 11-го ноября, мы переводимся на немецкий паёк и все наши блага, как кофе, консервы, шоколад и прочее, окончательно отпадают. Известие это меня сначала поразило весьма неприятно. Но сейчас я привык к этой мысли, мало ли чего нам пришлось терпеть за эти годы, потерпим ещё, а там, милостию Божией, быть может, и будет нам послано облегчение.

10 ноября, воскресенье.

Я никак не могу определить и осмыслить нашу теперешнюю жизнь, как будто я не ощущаю всего её значения, какое она получила бы при наблюдении со стороны. То есть, я не ощущаю того, что жизнь наша сломлена, что мы выброшены из колеи, что у нас в сущности нет дела, нет социального положения, нет родины, нет подданства, нет подзаконности и защиты прочных законов, нет даже настоящего имени и собственного лица. С обычной точки зрения это должно казаться потерей, но в моих глазах это скорее приобретение. Это — приобретение в том смысле, что для нас стало ясным, что все эти только что перечисленные титулы и определения человека суть условности и, как таковые, они — прах и суета. Лишаясь всего, человек остаётся человеком со своими мыслями, сердцем, характером и всеми заключающимися в нём возможностями творчества. Именно в нашем положении это стало яснее, чем когда-либо. И далее. Весь мир теперь, в сущности, со всеми его учреждениями, со всем его порядком и всей сложностью так же висит на волоске, как и мы, жалкие ди-пи, и ежеминутно грозит смешаться в новом, вероятно уже всеобщем и ужаснейшем хаосе.

***

25 ноября 1946.

Дорогая Виточка,

[...] Всё же у нас здесь тоже есть друзья, очень хорошие и сердечные люди. Это неоспоримый факт, хотя, кажется, во Франции не дозволяется находить у какого-либо немца какое-либо положительное качество. Особенно, вероятно, теперь. Ведь в газетах пишут, что влиятельные партии, взаимно противоположные, сходятся однако на том, чтобы покрепче прижать Германию, и недовольны Англией за её слабую политику в смысле такого нажима. Немцы, конечно, натворили много зла, но, тем не менее, и в немецком народе, как во всяком, есть хорошие люди, а, кроме того, я спросил бы, какая нация способна исправить натворённое немцами зло, да и вообще, какая есть нация на земле, которая, в противоположность немцам, была бы специально способна творить добро? До сих пор видно только одно, а именно, что зло, причинённое немцами, продолжает усугубляться другими, и положение во всём мире становится, во всяком случае, не лучше.

27 февраля 1947.

Дорогой друг,

Давно уже нет от тебя писем и, должен сказать тебе, твоё молчание меня очень огорчает, тем более, что последнее время жизнь наша складывается как-то неутешительно. Упорные холода, длящиеся уже более месяца, сильно дают себя чувствовать и показывают, насколько также и современный человек, подобно дикарю, зависит от стихий.

[...] Лично на мне эта зимняя погода отразилась тем, что я не могу пользоваться моей комнатой в деревне и принуждён сидеть дома, в нашем углу, вчетвером на 16-ти квадратных метрах, где нет возможности работать и где я могу несколько вздохнуть и сосредоточиться только по ночам, да и то украдкой, ибо свет лампы и малейший шум мешает спать моим домашним. И потому мне только урывками удаётся

думать, читать и писать, и ничего я не могу довести до конца. Недавно я послал тебе длинное письмо в четыре страницы большого формата с риском, что оно не дойдёт до тебя, ибо нам — лагерникам — официально разрешены в письмах только две страницы. Если оно не пропадёт, то значит и впредь можно будет писать больше.

В нашей жизни нет никаких резких перемен, всё по-прежнему как-то неопределённо, но в то же время чувствуется, что наше положение бесподданных, или ди-пи, меняется к худшему. Сначала с нами носились как с потерпевшими от немцев и от войны, хорошо кормили и баловали посылками совершенно незаслуженно, потом перевели на немецкий паёк, а теперь во всякого рода публичных заявлениях всё более проглядывает новое отношение к нам, как к некоей обузе, с которой надоело возиться и от которой каким-либо образом хотели бы отделаться. Но как? Вот вопрос, на который, по-видимому, не могут или не решаются дать ответ.

В основе всего этого лежит одно печальное обстоятельство, а именно заключённое с Советским правительством соглашение о выдаче всех беженцев, находившихся в России до 1 сентября 1939 года. Поэтому подавляющая масса беженцев не смеет открыто объявить свою подлинную identité и принуждена выдумывать небылицы о своём прошлом. Эта официально санкционируемая ложь, правда, даёт возможность спасать массу людей от выдачи Советам, но в то же время самый факт изобличает всю слабость англо-американской демократии, связавшей свои судьбы с советским тоталитаризмом. Она не смеет открыто заявить, что, повинуясь своим исконным принципам свободы личности, она берёт под своё покровительство и защиту всех изгнанников и противников советского режима и рвёт свои обязательства, вынужденные требованиями войны. Этих людей выдать совестно, их прячут под видом старых эмигрантов, но в то же время не дают им никаких возможностей жить и работать и даже возможностей быть самим собой, открыто показать своё настоящее лицо. Такое положение ужасно в особенности для тех простых людей,

которые совершенно неспособны разобраться в окружающем и, будучи оторваны от родной почвы, нуждаются в настоящей заботе об их судьбе. В газетах всё чаще мелькают известия, что с проблемой беженцев необходимо покончить, прекратить их паразитическое существование, поставить на работу, и в то же время никто не хочет принимать их к себе, ибо всякий боится иметь дело неизвестно с кем, узнать же подлинное лицо этих людей мешает лежащая в основе всего ложь. Тем временем разные мелочи показывают, что существует тенденция урезать возможности и права ди-пи, самые элементарные и человеческие. Так, например, после слияния американской и английской зон, немцы получили право ездить из одной в другую, ди-пи этого права не имеют. Недавно было объявлено, что если у кого-либо имеется золото в монетах или слитках, он обязан сдать его банку под страхом кары, в случае если золото будет обнаружено посредством обыска. Очевидно, надо ждать таких обысков в лагерях.

Ещё недавно казалось, что в результате всяких анкет и допросов ди-пи получат какие-то паспорта, которые дадут возможность устраиваться самостоятельно и вообще свободно двигаться, имея какой-то прочный и солидный документ. Вместо того были выданы Identity Cards сроком на три месяца, где « национальность » указана как undetermined. А это ведь, в сущности, означает : « неизвестно, кто ты такой » и, следовательно, всегда подлежишь выяснению, может быть даже на предмет какой-нибудь неожиданной экзекуции. Пишут также, что ди-пи будут применены на работах в Германии, но как? Возможно, что в каком-либо принудительном порядке? А это в сущности будет то же, что было с zwangsverschleppte[1]) у немцев. В результате всего этого у самих ди-пи складывается определённое впечатление, которое иронически формулируется так : « Мы — снова унтерменши ». Так переводится на русский язык undetermined в графе о национальности в новых выданных нам Identity Cards.

---

1) Насильственно вывезенные.

Ко всем этим моментам, делающим наше положение очень неуютным, присоединяется ещё сознание полной беззащитности массы лагерников перед лицом тех беззаконий и злоупотреблений, которые творит русская администрация при попустительстве чиновников УНРРы, которые частью сами сделаны из того же теста, как и наши непосредственные правители, частью же не скрывают своего презрения к этой « беспаспортной » массе. Да и то сказать, в этой массе действительно имеются преступные элементы, чувствующие себя в этой неразберихе даже весьма привольно, ибо их спекулянтские операции кое-что дают также и самим администраторам.

Вот, друг мой, в какой обстановке и в какой атмосфере приходится жить. В результате — полная изоляция, отсутствие всякого общения с кем-либо, кроме самого необходимого по вопросам быта и работы. Потому-то, в особенности, хотелось бы общаться с далёкими друзьями, но им видно, не до нас... Сестра моя тоже не балует письмами, а если пишет, то редко и лаконично. Не сердись, друг мой, за этот упрёк, вырвавшийся невольно, сознаю, что он может и несправедлив. Ведь у всякого свои заботы и огорчения...

Американская посылка до нас ещё не дошла, да и не дойдёт, вероятно, ибо на нашей почте их доставляют вскрытыми и наполовину опустошёнными, а иные и вовсе пропадают.

P. S. Напиши мне, не читал ли ты книгу Dwinger'a « Zwischen Weiss und Rot »? Она вышла в 1930 году и была переведена также на французский. Её тема — борьба Колчака с Советами. Меня интересует, правда ли все те ужасы, которые в ней описываются? Знаешь ли ты вообще, что-либо о гражданской войне и интервенции в России? Напиши, пожалуйста.

3 марта 1947.

Дорогая Виточка,

[...] Только не посылай нам еды; лучше одежду. Например, я скоро буду без штанов, ибо сзади они

совсем продрались. Иван Михайлович обещал мне шляпу. Девочки нуждаются в белье и юбках. Качеством и поношенностью не стесняйся. У меня тоже абсолютно нет носков. Вместо них какое-то подобие лаптей вследствие штопок и заплат. Я пишу нарочно обширный инвентарь, чтобы ты могла прислать из него хоть кое-что. Штаны может быть пожертвует какой-нибудь твой друг или знакомый высокого роста. В лагере я, между прочим, за 16 месяцев не получил *ничего,* всё берёт себе администрация или её приближённые. Очень просил бы тебя также прислать конвертов, именно конвертов, а не бумаги. Также книг каких-нибудь интересных — русских и французских; русских об интервенции, о европейцах, из французских — Бальзака (Médecin de campagne) и других: Тэна, Шербюлье, вообще скорее эссеистов, чем беллетристов.

11 апреля 1947.

Дорогая Виточка,

[...] Сегодня — Великая Пятница. Всю неделю я говел, не пропуская ни одной церковной службы. Зинушка же состоит в церкви неофициальной псаломщицей, читает и поёт. Постилась она строго в течение всего Великого Поста, я же, грешный человек, только последние две недели, но зато на Страстной по всей строгости — только хлеб да овсянка или картошка без масла. Зато настроение опять вернулось хорошее, уповаю на Бога и надеюсь, что всё, так или иначе, устроится к лучшему.

Обо многом мне хотелось бы поговорить с тобою, расспросить тебя и рассказать о себе. Я никогда не переставал чувствовать братскую связь с тобою, так глубоко заложенную в нас всех и природой, и воспитанием, которое мы получили в нашей родительской семье. В отоншении тебя 33-летняя разлука (легко ли сказать — треть века!) не создала никакого разъединения между нами; всё что мы переживали в детстве и, особенно, в юности и зрелом возрасте так глубоко залегло в душе, что, несмотря на все последующие переживания и глубочайшие потрясения, до сих пор сохра-

няет свою силу и свежесть и сохранит до самой смерти. Меня живейшим образом интересует всё, что пережила ты с тех пор, твой жизненный опыт, и я уверен, что и мною с тех пор накопленный духовный капитал будет тебе во всяком случае интересен, если и не во всём ты сможешь быть мне созвучна и сочувственна. Тем более, что ты имеешь способность вдумываться в чужую психологию и понимать её, даже и не разделяя её целиком. Перемены в моём миросозерцании громадны, равно как и нравственные устои моей жизни стали иные, но одно основное осталось прежним, это — вынесенное из родительского дома стремление к добру и к нравственному совершенству, изменились лишь пути, по которым направляется это стремление. Впрочем, обо всём этом мы поговорим при свидании, дорогая Виточка, об этом и о многом другом, что не только исчерпать, но и затронуть в письме невозможно.

И я уверен, что мы чудно заживём в Париже и, собственно, не заживём, а доживём положенный нам остаток дней. Кто знает? Быть может так было нам положено после того знаменательного лета 1902 года, когда я студентом был завсегдатаем в вашей квартире у Зины и тебя на Boulevard Arago 110, снова встретиться в Париже через 45 лет, почти полвека, и кто знает? может быть, эта новая жизнь на старом месте будет не хуже, а в некоторых отношениях, я уверен, даже и лучше тогдашней, ибо, у меня по крайней мере, во многом с тех пор просветились и душа и ум! Ну, Виточка дорогая, до свидания, хотелось бы сказать до скорого и хочется попросить тебя сделать его скорым, поскольку это зависит от тебя.

Христос Воскресе!

Твой Митя

НОВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

(Письма к И. М. Хераскову)

23 мая 1947 г.

Дорогой Ваня,

Вчера был в Бургдорфе и получил твои бандероли — № 8 « Независимого голоса », книжку « За свободу » от сентября 1946 года и номер « Социалистического Вестника » от 12 марта 1947 года, который уже был мне прислан кем-то (вероятно по твоему заказу) из Америки. Спасибо тебе за все эти посылки. Твою статью « Мы — россияне » я уже прочёл и скажу о ней ниже, сначала же поделюсь с тобою ещё одной важной новостью: сегодня пришло письмо из французского консульства в Гамбурге с сообщением, что визы нам даны и с вложением четырёх attestations от консула на предмет представления их aux autorités alliées для получения от них exit permit'ов [1]), каковые необходимы для вручения нам виз и последующего выезда во Францию. Итак, этот выезд становится близким реальным фактом — jacta est alea! [2])

После моего последнего письма тебе я довольно усиленно занялся огородом, затем на шесть дней уезжал в Гамбург, а по возвращении снова стал навёрстывать упущенное время, сгибая спину над лопатой и граблями. Иногда работал по шести часов кряду, сильно уставал и способен был лишь сидеть за столом

[1]) Exit permit — разрешение на выезд.

[2]) Жребий брошен!

с неопределённо блуждающими мыслями в голове. В общем вскопал тринадцать гряд на простанстве общей площадью около 200 квадратных метров очень плохой глинистой земли. Труд этот разнообразился экскурсиями за пределы лагеря на лесную порубку, где я накапывал гумусу из-под сухих листьев и отвозил его на тележке на свой участок. Один день почти сплошь провёл на другой порубке, где наготовил длинных жердей из верхушек срубленных уже раньше берёз, а затем утыкал этими жердями две грядки, засеянные фасолью. Фасоль затем будет виться по жердям, а её стручки мы будем потреблять в качестве haricots verts — моё любимое блюдо летом. Насадили мы также штук 70 томатов, капусты, картофеля, огурцов, луку, свёклы, салата и прочее — всё это не как забаву, а как предмет питания, которое требует сильного подкрепления. Но доживём ли мы в лагере до той поры, когда овощи начнут поспевать? Думаю, что да, ибо получение exit permit'ов потребует времени.

Виктория Петровна [...] считает наш приезд в Париж чуть ли не делом нескольких дней, однако, я думаю, она ошибается, и не рассчитываю попасть в Париж раньше конца июля — начала августа. В таком случае, кое-чем от трудов рук наших мы сможем ещё насладиться. Странным образом, эти « труды рук », несмотря на всю сопряжённую с ними усталость, доставляют мне гораздо большее удовлетворение, чем труды умственные или размышления по поводу прочитанного в газетах и журналах. Ей Богу же, какие бы перлы остроумия и проницательности ни открывал я в этих газетах и журналах и даже в книгах — всё наслаждение ими отравляет мысль, почему от всех этих достохвальных проявлений умственного гения не выходит никакого толку уже в течение тысячелетий, точнее даже иное : все изощрения ума и таланта привели нас (т. е. всё человечество) к ещё небывалой неразберихе, небывалому смятению — стоит только подумать о том, что происходит сейчас буквально всюду, кроме двух Америк и Австралии — с перспективой ещё худшей : попросту ликвидации нашей планеты.

И невольно возникает вопрос : стоит ли и писать

всё, что пишется сейчас во всём мире, и читать то, что пишется и печатается? Конечно, вопрос праздный : всё равно будет печататься и читаться, как всё равно, независимо от воли каждого, люди будут спорить, ругаться, пытаться договориться и затем драться и губить друг друга и самих себя. Всё это и теперь то же самое, как было тысячи лет назад и как было в дни нашей юности; но в дни нашей юности я думал, что в этом есть какой-то смысл, и что, в конце концов, из этого получится какой-то толк, т. е. нечто приятное для души, ума и тела, нечто, дающее « право на отдых » (как говорится в Сталинской конституции), и отдыхом этим, с творческими развлечениями, будет пользоваться и всё человечество в целом, и мы грешные, т. е. либо уже я сам с моим поколением, либо мои дети или хотя бы внуки. Теперь же я вижу, что толку не получается, но лишь бестолковщина и притом самая скверная во всех отношениях, и потому начинаю думать, что и в самом процессе этом нет никакого смысла.

Всё это, впрочем, — с точки зрения позитивистической, с которой рассматриваются события в газетах и журналах и сочинениях исторических и социологических. Есть, однако, другая точка зрения : мистическо-религиозная, и с этой точки зрения весь процесс — прост и ясен, и заключён в нём один единственный глубокий смысл. Но так как эта точка зрения вытекает из религиозного сознания и зиждется на вере, то всё сюда относящееся подлежит непосредственному приятию духовным нутром, обсуждению же не подлежит. Конечно, по старой привычке, и я читаю и рассуждаю с позитивной точки зрения — но всё это меня не радует, не удовлетворяет и ни к какому решению я не прихожу ни сам, ни у авторов всех этих писаний не нахожу решения. А вот физический труд меня радует и удовлетворяет совершенно безотносительно к тому, воспользуюсь ли я его плодами или нет. Может быть работа на воздухе и мускульное напряжение и необходимый режим движений благотворно действуют на нервы, а через них на психику. Но, конечно, не только это. Здесь важно сознание, что этот труд всегда оправдан, он элементарно-бесспорен,

к тому же он — творческий, и творчество его ощущается сразу по непосредственному результату, в виде ли посаженного куста томата или капустной рассады, или даже просто хорошо вскопанной и подготовленной грядки, ибо всем этим создается из хаотического состояния моего участка состояние « космоса » т. е. красоты и порядка. И мне очень приятно вечером после трудов любоваться на параллельные линии моих тринадцати гряд на месте, где только недавно был безобразный пустырь, приятно также сознавать, что всё это сделано моими руками, моим трудом, который и даёт ощутительно о себе знать моим мускулам и костям.

Все эти соображения, чувства и ощущения, конечно, не новы, но я сообщил их тебе, чтобы дать тебе понять, как и чем я живу в настоящее время. Работа в огороде берёт много времени и влечёт за собою сильную усталость, которая, в соединении с далеко недостаточным питанием, требует довольно долгого сна для восстановления сил, и потому сплю я сейчас несравненно больше, чем зимою, когда я в среднем довольствовался не более как шестью часами сна в сутки. Так как я два раза в неделю даю уроки английского языка в лагере и приходится к ним готовиться, то у меня и остаётся времени весьма немного на чтение и вообще умственные занятия.

[...] Твоя статья « Мы — россияне », как обычно, написана очень хорошо по форме и с внутренним убежденеим, как говорится, от сердца. В основном я с ней согласен : мы, конечно, тоже русские и часть народа, хоть и находимся в эмиграции. И ты особенно прав, говоря, что Россия и das Russentum (мне не нравится русский эквивалент этого понятия, придуманный эмиграцией « русскость »!) нам гораздо ближе и доступнее, здесь, на чужбине, чем в нынешней России, где я буквально чувствовал, как всё « русское » попиралось, заплёвывалось, искажалось и уничтожалось советчиной.

Но вот с чем я не то, что несогласен в твоей статье, а просто как-то недоумеваю, каким образом следует и как возможно представлять себе превращение России из нынешней советской в какую-то

другую, новую? Пережив большевизм на собственной шкуре, на собственном опыте и наблюдениях, я не могу мыслить Россию иначе, как по аналогии с смертельно больным индивидом, который *сам* никак не может излечиться. Нужен врач, помощь со стороны, непременно со стороны. Ибо все творческие свободные силы духа, рассеянные во всех советских людях, больших и малых, образованных и необразованных, культурных и некультурных, уничтожены и подменены механическим производством таких объектов, которые лишь внешне похожи на так называемые культурные ценности, т. е. картины, стихи, песни, музыку и т. д. Умы же безнадёжно сворочены на сторону и искажены. Нет, России никогда самой не подняться. Кроме того, мне кажется, национализм и патриотизм, в прежнем смысле слова, вообще утратили своё значение в том смысле, что теперь ни одна нация не может существовать, стараясь черпать как можно больше из себя только, как это было до сих пор. Всё мировое развитие ведёт к иному : ни одна страна, даже США, не может стоять особняком, на основе материальной и духовной автаркии. По-моему, обе больные европейские нации — и Германия, и Россия — могут быть восстановлены только общими силами всех других наций. А национализмы вообще должны сойти со сцены в будущем мировом порядке, если таковому суждено быть.

Кроме того, я не представляю себе сейчас, что значит быть русским или « россиянином », если хочешь, в смысле, так сказать, особой функции наряду с функциями прочих наций. Конечно, я говорю не про физическое состояние в качестве русского (т. е. особый язык, вкусы, унаследованная психика, манеры, повадка, любовь к своей стране), я говорю именно про функцию или, если хочешь, про особую миссию России сейчас, в настоящей мировой ситуации : вот её миссия — нести всем большевизм и всюду гадить и подготовлять хаос и катастрофы — это факт реальный, ощутительный. А что ты хотел бы видеть на её credit'е взамен этого, когда она стала бы не большевистской и не советской — это мне неясно и это я хотел бы от тебя узнать. Напиши мне об этом, не дожидаясь

времени, когда мы сможем беседовать устно о столь многом и важном. Радуюсь, что это время близко.

10 июля 1947.

[...] А теперь несколько слов о наших мировоззренческих разногласиях. После твоих двух писем я просмотрел также и два предыдущих от апреля месяца и мне вдруг стал совершенно ясен источник этих разногласий. Ведь между нашими мировоззрениями целая пропасть. Я стою на почве религиозной, ты же на гуманистической. Для меня в центре и в основе всего стоит Бог, а человек несовершенен, греховен, ошибается и падает на каждом шагу и спасается (и в этой жизни и окончательно в будущей), только следуя закону Божию, преподанному ему в Библии и особенно в Евангелии Христа. Для тебя в центре всего человек, который по природе добр и благороден, который стремится вперёд к добру и истине, хотя и спотыкаясь, но всегда снова поднимаясь, причём мне непонятно, на чём основано это убеждение в естественном благородстве человека, и на чём построены критерии добра и истины, коль скоро нет Бога (а ведь ты же сам мне говорил, что считаешь себя атеистом). Это последнее мировоззрение, противоположное религиозному, именно и есть атеистическое и материалистическое.

На нём, в конечном счете, построен не только социализм всех оттенков вплоть до коммунизма и большевизма, но и научный позитивизм XX века, который мы впитывали в себя в наши гимназические и студенческие годы. Поскольку идея Бога в этом миросозерцании либо прямо отрицается, либо куда-то заброшена и фигурирует лишь как пережиток прежнего религиозного миросозерцания, стоя в сущности в противоречии с основной теорией, на место Бога ставится человек с его пресловутым гением, разумом, способностью к бесконечному прогрессу, в котором он в конце концов победит природу, устранит все помехи и несовершенства своего земного существования и создаст рай на земле с блаженством и счастьем, процветанием всех видов культуры, с минимумом труда,

да и то для удовольствия и т. д. Словом, место Бога здесь занимает человек и он то в конце концов становится богом.

Вот, в сущности, то миросозерцание, которое является общим всем, кто прямо и положительно не исповедует Бога, а как европеец также и Христа и Его Евангелие и все евангельские заветы. И потому я не вижу большой разницы между современной « демократией » и большевизмом. Оба они пекутся об установлении рая на земле, не помышляя ни о Боге, ни о душе, ни о потустороннем мире; оба блага этого рая понимают прежде всего как материальные блага и как духовно-материальные, т. е. распространение культуры и способности к утончённым наслаждениям эстетикой всех видов и познаванием тайн природы в целях умножения удобств жизни и максимального устранения её неудобств (борьба с болезнью и даже смертью).

Ведь ко всему этому стремятся также и большевики, которые притом являются самыми откровенными атеистами и материалистами, однако идею « общего блага » проповедуют так же горячо, как и демократы, даже ещё горячее, поскольку хотят достигнуть его сразу революционным, а не эволюционным путём. На этом пути, да и вообще, они считают « всё дозволенным », ибо цель оправдывает средства, а какой-либо высший, абсолютный закон они отрицают, ибо отрицают Бога. Демократы же, поскольку они не революционеры, а эволюционисты, так далеко, конечно, идти не могут, ибо они ещё держатся за остатки старой, унаследованной от прежней религиозной, т. е. христианской морали. Да и по темпераменту своему демократы не столь решительные люди. Впрочем, поскольку они, в сущности, тоже материалисты, также и они, коль скоро встанет на очередь шкурный вопрос (хотя бы в форме национального самосохранения или сохранения за собою рынков), легко спускаются на почву большевистской практики и не только вступают в тесную дружбу с большевиками, но и отбрасывают все свои пресловутые идеалы правды и добра, прав человека и гражданина и легко уступают в жертву своим выгодам и отдельных лиц и целые

нации. И так как сущность большевиков и демократов одна и та же, то последние не могут выставить против первых никакой идеи, знамени и программы и в борьбе с ними должны ограничиваться только критикой, особенно критикой слишком резкой революционной их практики.

Не подлежит сомнению, что материалистическое и атеистическое миросозерцание сейчас господствует даже в тех кругах, где ещё говорят о Боге и даже, как будто бы, поклоняются Ему. Но религиозное миросозерцание всё более вытесняется уже со времени раннего Возрождения. Жозеф де-Местр и Леонтьев, которых я так высоко почитаю, принадлежат к числу последних ярких его представителей. Что они клеймятся как реакционеры, это меня нисколько не смущает, хотя я и понимаю, что старого не вернёшь и считаю бессмыслицей бороться за его восстановление. Для этого я слишком хорошо знаю борьбу патрициата с плебсом и уважаю римский патрициат. Но я верю в другое, т. е. тоже в закономерность исторического процесса и думаю, что миросозерцание материалистическое и атеистическое, начав борьбу с религиозным и преуспевая в ней, должно докатиться до своих крайних практических результатов, уничтожив Бога, довести человека до ранга бога и тем превратить его в Зверя. Таким он окончательно сделается вместе с торжеством науки и техники. В этом процессе либо человечество погибнет, может быть даже вместе с планетой, и сбудется реченное в Евангелии о конце мира, либо, как сказано у Достоевского, народы восплачутся и вновь вспомнят о « хлебе небесном » и на коленях приползут к служителям и последователям Христа, которые к тому времени уже окончательно должны будут скрываться в катакомбах. И так как в этом провиденциальном развитии большевизм является самым ярким представителем начал атеизма и материализма, он и одерживает победу за победой, сами противники ему помогают своей растерянностью и внутренним банкротством, происходящим от нечистой совести, и ничего положительного, никакой новой органической идеи они противопоставить ему не могут. Ибо противопоставить диаволу можно только Бога, а в

Бога демократы, позитивисты и гуманисты так же не верят, как и большевики. [...] Вот, в основном, как я понимаю наши расхождения, конечно, деталей я не касаюсь.

21 июля 1947.

[...] Последнее время я живу под *русскими* впечатлениями в связи с прочитанными мною такими произведениями как « Мёртвые Души » (не перечитывал *целиком* уже лет 25-30), « Господа Головлёвы » (читал единственный раз в 1913 году и, помню, впечатление было громадное, я им делился с В. С. Протопоповым среди горгулей на башне Notre-Dame), « Униженные и Оскорблённые », затем Тургеневские « Переписка », « Яков Пасынков », « Поездка в Полесье », « Первая любовь » и « Фауст ». Сейчас перечитываю « Записки из подполья ».

В душу нахлынули воспоминания о России, о годах отрочества и юности в Москве; ведь те годы с их жизнью, мечтами, бытом, межчеловеческими отношениями стоят гораздо ближе к тургеневской, щедринской и даже гоголевской эпохе, нежели к нынешней. А в то же время, я помню хорошо, каким далёким и отжившим веяло на меня тогда, при первом чтении, от всех тургеневских и щедринских образов и драматических ситуаций. Всё это ясно показывает, до чего же субъективное существо человек, до чего шатко и как бы призрачно его самосознание, как относительны его критирии и оценки!

Я сказал, что в связи с чтением русских вещей нахлынули в мою душу русские переживания и далёкие воспоминания, однако, не подумай, что всё это повергло меня в грусть и меланхолию, вызвало в сердце моём тоску по утраченной родине, по невозвратном прошлом, по ушедшим дорогим и близким. Всё это, наверное, было бы так, если бы дело произошло, ну скажем, хоть лет 20-25 тому назад. О, тогда я действительно был очень подвержен припадкам меланхолии в связи с чтением, да и просто воспоминаниями. Теперь же я уже не тот — то ли я постарел и огрубел внутренне и нет уже прежней вибрации нежных и

отзывчивых сердечных струн, то ли тут нечто другое, и действительно, скорее всего другое, а именно — постепенно, под влиянием всех последних мировых событий сложившееся во мне *ощущение преходящести всего человеческого и земного, какой-то даже мимолётности* не только личных индивидуальных переживаний, но и целых « бытовых укладов » и « исторических » не только событий, но и « формаций ».

И одной только вечно и незыблемо стоит над этим тленным миром « бывания » — это создавший всё и вся Бог, направляющий вселенную *к неведомой нам таинственной цели*. Мысль эта действует успокаивающе и примиряюще, и главная цель моего теперешнего существования — это претворить названную мысль в постоянное, *непреходящее « ощущение »*. Поэтому-то я остаюсь довольно равнодушен к тому факту, на который ты так негодуешь в своём последнем письме, а именно, что « последним словом европейской истории оказался гнусный пройдоха и циник Сталин ».

Я, право, гораздо снисходительнее к Сталину, и думаю, что *эта фигура недаром выдвинута Провидением* в один ряд с такими великими « деятелями » истории, как Наполеон или Бисмарк. Несомненно, недаром : уже хотя бы ради одного того, чтобы заставить нас задуматься о ценности всех дел человеческих, направленных на здешнее земное устроение. В общем, я думаю, особенно события последних десятилетий как бы нарочно скомбинированы так, чтобы иллюстрировать и подтвердить истинность евангельских и библейских суждений, приговоров и оценок, чтобы показать человечеству, что оно, однажды отказавшись от евангельского закона, неизбежно должно было запутаться и зайти в тупик. И в таком случае на авансцену и наверх как раз и должно было выползти нечто ещё небывало паскудное и отвратительное. И ведь выползло оно не сразу : вместе с успехами « прогресса » вся жизнь мельчала и оскудевала. Что же до Сталина, то право не знаю, так ли уж он хуже тех, которые садились с ним за один стол и подписывали контракты и о Германии, и о Восточной Европе, и о репатриации советских граждан. Прирождённый

« хам » есть явление, так сказать, естественно-историческое и потому нейтральное, а вот « джентльмен », который ползает перед хамом ради своих материальных выгод, это явление нравственного порядка и, потому, глубоко возмутительное. Как показательно прочитанное мною в Manchester guardian описание того заседания Палаты общин, в котором Бевин и Иден, захлёбывались от восторга после того, как Молотов соизволил сказать « да » на предложение приехать в Париж. И согласись этот Молотов на план Бидо-Бевина, на какие только уступки не пошли бы западноевропейские « джентльмены » : тогда, быть может, не в Париж пришлось бы ехать твоему бедному другу, а куда-то в обратную сторону; да и всем ему подобным.

В моём последнем письме я попытался изложить тебе вкратце сущность моего взгляда на мировое положение. Я не вижу *принципиальной разницы между современной демократией и большевизмом. Последний есть доведение до конца первой, которая остановилась на полдороге.* Разница в procédés, в приёмах. Но даже и в приёмах представители демократии, когда надо, подражают тоталитаризму. Достаточно указать на разрушение Германии, на Хирошиму и Нагасаки, на Нюрнбергский процесс, где, уж если вообще признать допустимость подобного суда *одной* стороны, на скамью надо было рядом с Риббентропом посадить Молотова и Сталина. Всё это оправдывают нуждой и обстоятельствами, но ведь и большевики свой террор оправдывают обстоятельствами. Впрочем, об этом довольно...

Удивила меня в твоём последнем письме одна вещь : ты пишешь, что ты в твоих взглядах и настроениях вовсе не так далёк от меня — и это меня очень обрадовало. Но далее ты пишешь, что, как русский, ты *обязан верить* в Россию, как европеец обязан верить в будущее Еворпы с её культурой, как земнородный — в будущее человечества. А почему ты не пишешь, что как существо обладающее и живущее духом, ты *обязан верить в Бога,* Который есть Вечный и Абсолютный Дух, единственное оправдание всякого бытия, без Которого ни мир, ни человек, ничто вообще не имеет никакого смысла? А между тем, дальше ты

же говоришь, что *«человек создан по образу Божию»*. Что же значит это упоминание о Боге? Просто façon de parler? Этот вопрос надо как-то решить, обходить его нельзя. И только решив его, можно стать на твёрдую позицию и в отношении к большевизму, и в отношении к демократии, да и в отношении ко всему существующему вообще. Либо Бог существует как Творец мира и человека, как его Промыслитель и Управитель, и тогда *мы должны подчиниться Его воле и Его Промыслу,* жить согласно Его заповедям и законам. Либо Бога нет и тогда, что тогда? Тогда, пожалуй, не о чем разговаривать, валяй каждый, как кому заблагорассудится, кто во что горазд, ибо что может ограничить или связать моё «я», мою прихоть, мой каприз?

Наука? По самому существу своему она проповедует свободу мнения, свободу последования, утверждения и отрицания. Человеческая мораль? Она ведь есть только пережиток, или подражание прежней богоустановленной морали, отброшенной вместе с отказом от веры в Бога. Остаётся только сила, насилие большинства над меньшинством или массы над индивидом, или даже кучки над массой. Следовательно, сила и должна теперь господствовать и вместе с нею террор и обман и ложь, словом всё что угодно, лишь бы преуспеть и достигнуть цели. А коль скоро преуспел, значит и оправдан, а стало быть и говорить дальше не о чем. Преуспели большевики, значит и говорить не о чем: все демократы и джентльмены и полезли на перебой их признавать. А преуспеют они окончательно, они же и будут судить мир, как судили Германию на Нюрнбергском процессе. Не понимаю, как можно возражать против всего этого и против такого именно хода вещей, если Бога нет и если не ищут даже веры в Него. Для меня отрицание Бога как Творца и Промыслителя мира есть бессмыслица уже по одному тому, что без Него весь мир, да и я сам, не имеем ни смысла, ни ценности. Вера в Бога ещё не исчезла повсюду и окончательно. Но она изъята из обращения во всех решениях современных кардинальных проблем, она перестала быть движущей силой так называемых исторических событий. Отсюда весь хаос,

безумие и ужас нашего времени. Впрочем, это известно и переизвестно. Тем страннее, что мне приходится ещё раз напоминать об этом тебе. Тут должно быть что-либо одно : либо Бог, либо большевизм — tertium non datur.

Хоть ты и пишешь слово Человек с большой буквы, а без Бога он Зверь, худший всех прочих зверей и таким он проявляет себя и в образе большевика и в образе « гуманного » демократа. Ты ещё пишешь о « грехе », но я боюсь, что ты не знаешь, что такое на самом деле грех, ибо не веришь в Бога. Грех только там и есть, где есть Бог, т. е. где Он признаётся, где в Него верят, Ему поклоняются. А иначе это не грех, а законное удовлетворение моих природных склонностей, обусловленных тем-то и тем-то, которых научно говоря, никто не имеет права не только ограничивать, но и вменять мне в вину. Но я опять возвращаюсь всё к тому же и к тому же, что уже совершенно ясно.

17 августа 1947

[...] Ты называешь моё понимание христианства ересью и буддизмом, упрекаешь меня в квиетизме и резигнации. А между тем твоё понимание христианства, на мой взгляд, ничего не имеет общего ни с Евангелием Христа, ни с посланиями апостолов, ни с толкованиями восточных отцов церкви (особенно IV века), ни с духом русского православия, как оно отразилось у Хомякова, Иоанна Кронштадтского, Достоевского, Антония Храповицкого и других, менее известных.

Не стану развивать это понимание, ибо боюсь навлечь на него твои новые ядовитые стрелы и вызвать новые недоразумения. Скажу только, что твоё понимание весьма далеко от Нагорной проповеди, заповедей блаженства, от « Царство Моё не от мира сего », от « Царство Божие внутри нас ». Ты пишешь, что любишь православие и соблюдаешь обряды, но что христианином себя назвать не смеешь, очевидно именно в этом смысле евангельского христианства. Но ты стоишь на почве « христианской культуры », и то, как

ты её характеризуешь, показывает, что ты её смешиваешь с гуманистической, уже проникнутой язычеством культурой, начавшейся с эпохи Возрождения. И потому не случайно ты говоришь о своей « вере в Образ Божий в Человеке » (у тебя эти слова с больших букв), но молчишь о своей вере прямо в Христа. Далее, ты говоришь о богочеловечестве, но в сущности понимаешь под ним человекобожество, т. е. ты близок к возведению человека на степень бога, что, по-моему, и является логическим следствием атеизма и материализма (мысль, развиваемая Достоевским, между прочим, в « Бесах »).

Ты утверждаешь, будто христианство возвеличивает человеческое достоинство и личность. Нет, оно говорит о недостоинстве и греховности человека и о его душе, которую хочет спасти, а не о личности, которой предписывает смирение и покорность воле Божией. А между тем, у тебя воля Божия поставлена в кавычки. Конечно, в христианстве человек стоит высоко, но совсем в другом смысле, чем у тебя. Там он несёт на себе следствие первородного греха и очищается верою в Христа и следованием Его заповедям. Там он призывается к спасению собственной души ради вечного блаженства за гробом тесным путём самоотречения и служения ближнему делами любви и милосердия. Никакой « ответственности за общечеловеческую судьбу », как утверждаешь ты, оно на нас не возлагает. Мне кажется, что ты христианство толкуешь по-своему, и имеешь право это делать, так как стоишь не на его почве, а именно на почве христианской культуры, т. е. чего-то общего и неопределённого, где каждый волен распоряжаться на свой манер и выбирать из христианства то, что ему нравится и кажется полезным для его земных целей и склонностей. Но если бы ты вдумался хотя бы в заповеди блаженства и в слова апостола Павла, что « мудрость века сего есть безумие пред Господом », ты должен был бы отказаться от своего понимания.

Далее, ты, видимо, очень рассержен тем, что я демократию и большевизм вывожу из одного корня [...] Это сопоставление всё же верно в отношении к некоему третьему, каковым у меня является религиозное миро-

созерцание. Впрочем, я не напираю так на демократию, как это делаешь ты, не придаю ей такого значения, ибо вижу в ней прежде всего словесный термин, под который ещё надо подставить конкретное содержание. Какую демократию имеешь ты в виду : американскую (где безнаказанно убивают негров, как мух) или английскую (где тред-юнионы не подпускают иностранцев даже к работе, а не то что к своим правам), афинскую или русскую добольшевистскую (согласно твоей теории)? Быть может моя трактовка большевизма возмущает тебя оттого, что мы оба в наших различных его пониманиях выбираем его различные черты, и что ты, может быть, имеешь в виду его отвратительные методы политики и управления, тогда как я — его лозунги и идеалы, его общую с меньшевиками марксистскую идеологию? Но ведь и у современных демократий практика не чужда презрения к правам личности, гражданской и человеческой свободы и вообще гуманности, что так ярко выявилось во время и после этой войны. Наконец, по формуле « скажи с кем ты знаешься, и я скажу тебе, кто ты », сколь ясно вырисовывается сущность представителей и вождей современной демократии, пояхшавшихся со Сталиным, как раньше они якшались и с Гитлером. Теперь, правда, наступило расхождение, но лишь когда встал вопрос о шкуре и о брюхе, ибо и современная демократия — европейская и американская — так же служит брюху, а не Богу, как и большевизм.

[...] Всё, что я писал тебе, есть мой объективный взгляд на вещи, теория, на практике же я сам сын мира сего и века сего, я вырос и воспитался в семье отца, западника и либерала (если не революционера) 60-х годов, и с молоком матери всосал идеалы « просветительства », демократии, гуманизма, отчасти народничества. На практике всё это сказывается, разумеется, весьма сильно и теперь, когда мой собственный опыт и наблюдения долгой жизни, полной превратностей и современной столь великим потрясениям, открыли мне глаза на многое, к чему я был раньше слеп, и внушили мне моё нынешнее мировоззрение.

[...] Весною я, помнится, писал тебе о моём огороде. Ныне я пожинаю плоды трудов своих : haricots verts,

томаты, огурцы. Всё это не так удачно и не так обильно, как могло бы оказаться, будь у меня больше сил и энергии на удобрение скудной немецкой почвы, но всё же является достаточным подспорьем к нашему ди-пийскому рациону, в котором, однако, и овощи не восполняют недостатка жиров. Зато зрелище лагерных огородов из моего окна восхитительно и неизменно радует мой глаз разнобразием всех оттенков зелени. Сейчас ночь, и в лагере воцарилась тишина, и в моё открытое окно вливается свежий воздух. А за окном черно, и только редкие звёзды мерцают на небе.

2 сентября 1947 г.

[...] Письмо твоё меня очень обрадовало, но как тяжело и грустно, что я далеко не « рыцарь и т. д. », а самый окаянный грешник со всяческими пороками и недостатками и без малейших доблестей, дающих право на твой почётный титул... И вот сознание моей греховности в результате жизненного опыта и привело меня в своё время к религии и к церкви, как к якорю спасения души уже здесь на земле, в поисках единственно правильного жизненного пути, *личного моего* пути. Вот, что такое для меня религия — это, так сказать, некий огромный коэффициент каждой моей мысли, слова и поступка. И именно православная христианская религия, дающая мне все мои критерии и оценки. Я не знаю, правильно ли я понимаю твою позицию в отношении религии, но мне кажется, что она совсем иная, так сказать, внешняя и рассудочная, тогда как моя — внутренняя и душевная. И потому-то мы говорим, видимо, о разных вещах в нашем споре, и потому не понимаем друг друга. Ибо, ей-Богу же, для меня непонятно и, прости за резкое слово, просто как-то дико сопоставлять христианство и демократию. Если есть у тебя христианство, *то не все ли равно демократия или деспотия, или олигархия и т. д.?* Как где-то в Писании сказано : « Господи, если Ты есть у меня, то что мне небо и земля? »...

Дорогой Ванечка, мне кажется, ты как будто обиделся за моё сопоставление демократии и большевизма и не хочешь понять (или, может быть, я не

сумел толком объяснить тебе), в каком смысле я их сопоставляю. Ведь недаром ты во всех твоих ответных письмах совершенно обходишь моё исходное противопоставление двух миросозерцаний: религиозного, с одной стороны, и атео-материалистического, с другой последним звеном которого и является большевизм.

Ты требуешь от меня одинаковой мерки в отношении христианства и демократии, « либо по их идейному и моральному содержанию, либо по конкретному воплощению в человеческой грешной среде ». Твоё требование для меня неприемлемо, ибо оно сопоставляет несоизмеримые явления. Если бы ты упрекнул меня в приложении различных мерок к демократии, с одной стороны, и к аристократии или к тоталитаризму, с другой, я бы с тобой согласился, ибо здесь мерка прилагается к явлениям одного и того же порядка — к формам человеческого общежития с их политикой, экономикой и прочее. В сущности, твоё требование ко мне означает, что ты допускаешь сравнение Евангелия с « Contrat Social » или с « Капиталом » Маркса, и этим самым показывает, что на религию вообще и, в данном случае, на христианство ты смотришь с какой-то утилитарной точки зрения, ожидая от неё выполнения тех же задач, какие выполняются теми или другими формами экономики, политики и социальных отношений. Я не думаю, что ты стал бы возражать против справедливости этого моего возражения.

Как-то, ещё до первой мировой войны, я был в Париже на предвыборном собрании, где Вивиани с замечательным красноречием и к великому восторгу аудитории развивал мысль, что социализм тем-то и превосходит христианство, что он берёт на себя задачу осуществить « le paradis terrestre », и я помню с какой уверенностью он гарантировал слушателям-рабочим установление этого paradis, как только путём выборов социалисты придут к власти. Вивиани не был большевиком, но социалистом и, если не ошибаюсь, жоресистом, а цель у него была общая с большевиками и одинаково противоположная христианству. Я не понимаю, как это ты не понимаешь, что все вообще планы социально-политического переустройства, начиная с эпохи Возрождения выросли в оппозиции к христиан-

ству, которое, де, оказалось неспособным дать человечеству земное материальное счастье, благоустройство, просвещение и т. д., которое, де, поддерживало невежество, неравенство, нищету и т. д. Всё это так; на всех церквах, в том числе и на православной, лежат тяжёлые грехи, как на земных учреждениях, имеющих дело с политикой и с материальными интересами. Но ведь вся разница в том, что Церковь (самая плохая) открывает мне абсолютную истину и даёт спасение моей душе, а демократия — хотя бы в самом идеальном её осуществлении — обеспечивает мне лишь справедливое распределение *материальных благ и всякого рода гражданских « прав »*.

Я отвечу на твой вопрос иначе и скажу, что если я беру идейное и моральное содержание из христианства, то-есть если для меня главное вера в Бога, в бессмертие души и загробную жизнь, то демократия и тому подобное играет для меня роль лишь постольку, поскольку я всё же придаю значение земным вещам и могу видеть в них средство для осуществления моего христианского поведения в земной жизни. Таким образом, демократия, т. е. совокупность демократических учреждений, в глазах христианина могла бы иметь такую же ценность, как хорошая школа, приют или богадельня, при условии, конечно, если бы они не делали упор на paradis terrestre.

Если же ты хочешь знать, какое « конкретное воплощение » христианства я считаю подлинным, то это христианство в эпоху его сознания своей полной противоположности « миру », т. е., до, грубо говоря, 313 года. Ближе всего к этому христианству, кажется мне, стоит православие — конечно как оно представлено восточными отцами церкви, русским старчеством и каким оно сделалось в России после 1917 года в лице стольких мучеников. К этому-то православию, *гонимому,* я и вернулся при большевиках.

Всё мною здесь сказанное, как и раньше, представляет только обрывки общего моего взгляда в целом, обрывки поневоле, так как для полного его изложения нужен либо целый трактат, либо долгий обмен мыслей в повседневном общении, что нам и

открывается теперь с тобою в связи с предстоящим нашим переездом в Париж.

[...] А я уже предвкушаю Париж и Лувр, Моне, Делакруа, Самофракийскую Победу, Тициана и т. д. Друг мой, войди в моё положение : шесть лет жизни буквально среди « физических развалин » европейской культуры, а перед тем жизнь в обстановке духовного развала вообще. Чтобы выразить переживания души современного культурного человека среди этой катастрофы в художественной литературной форме, нужен по крайней мере новый Эсхил или Данте, но подобному гению не место в наше время, ибо религиозное мировоззрение исчезло из масс.

ОПЯТЬ В ПАРИЖЕ

(Из записной книжки)

12 ноября 1947 г. Париж.

Сегодня я, кажется, открыл секрет почему блага культуры перестали оказывать на меня прежнее действие. Я вышел на перекресток Avenue de l'Observatoire и Boulevard Montparnasse, чудное место, откуда открываются перспективы на Petit Luxembourg с его массивами зелени каштанов, которые несколькими аллеями уходят в даль, и на Boulevard St. Michel. Очертания домов и групп деревьев сочетаются в необычайно спокойной, чудной гармонии на фоне серого парижского неба. Масса пространства, света и воздуха! Сколько раз в моей прежней парижской жизни я любовался этим грандиозным пейзажем несравненного, единственного в мире города. Он не только ласкал мой взор, он много говорил моему уму и сердцу. Он воплощал в моих глазах всю красоту современной культуры, так полно и ярко выразившейся именно во Франции. За красотою внешних форм мне виделись красота и совершенство самого духа современной культуры с её свободой, человечностью, с её победоносным шествием человеческого гения во всех областях жизни и деятельности и общего устроения человечества на земле. Во всех этих достижениях современной культуры с её наукой, искусством, музыкой мне чудилось преддверие новой эпохи, всеобщего счастия, свободы и справедливости.

Все эти предчувствия и мечты разрушены теперь навеки всеми переживаниями и опытом последних 33-х

лет, представляющих ровно треть столетия. Всё, что казалось когда-то абсолютным достижением и неприкосновенной святыней, повергнуто во прах, растоптано, опозорено. Сразу уничтожены работа и достижения сотен поколений. На место гуманности выступило зверство, на место культуры — варварство. Прежних усилий, прежних достижений как будто бы и не было. И если всё то, что когда-то казалось прочным, бесспорным, неотъемлемым от современной жизни и современного человека разрушено его же собственными руками, то какова же цена всем этим достижениям? Каково их значение? Очевидно, только в наслаждении самим процессом творчества, как у ребёнка, которого тешит самый процесс игры, не имеющей никакой разумной и нравственной цели. Приятно слушать музыку, приятно любоваться живописью и архитектурой, приятно пользоваться удобствами жизни, быстрым и легким передвижением, доступностью красот природы и прелестями климата чужих земель. Но ведь не ради же одной этой приятности человечеством было потрачено столько труда, гения и борьбы ради достижений современной культуры и общежития. Ведь процесс имел определённую цель, и только в надежде, более того, в твёрдой уверенности, что она будет достигнута, что все препятствия будут преодолены раз навсегда заключается главный стимул, напрягавший волю, окрылявший гений человека. Отбросить этот стимул, и что останется? Только честолюбие, желание славы, успеха, обогащения и наслаждение самым процессом работы и творчества. Путём прогресса человечество шло к счастью, впереди рисовалась финальная эпоха, завершение всех предшествующих усилий. Выходит, таким образом, что всё строительство культуры есть не более как детская игра, бесцельная, безрезультатная, лишь в самой себе находящая смысл и оправдание.

И пусть бы ещё катастрофа пришла извне, из-за слепых стихийных разрушительных сил или как дело случая. Тогда можно было бы начать снова строить разорённый муравейник. Но нет! Культура наша в самой себе несла свою гибель. Сознание это уже тогда в виде зловещего предчувствия отравляло радость наслаждения, подрывало надежду и веру в достижи-

мость конечной цели. Но всё же раньше колебания и сомнения можно было преодолевать и находить силы для борьбы и работы. Лишь после всего пережитого стало ясно, что если начинать строить снова, то надобно идти по новому пути. Стало ясно, что строительство культуры было делом не благих только сил, но также и злых, и быть может, главным образом злых. То, что казалось тогда красотой и благом, было в действительности прелестью, соблазном злого духа. Вся эта культура была обманом, погоней за миражем. Она была отказом от простой, но глубокой мудрости, накопленной тысячами поколений людей, живших верой в Бога и сознававших ограниченность человеческих сил и возможностей. Скромность, смирение было уделом тогдашнего человечества, гордыня и самопревозношение стало двигателем современной культуры.

(Из записей 1948-го года)

Ошибка отношения к современности ещё в том, что мы не хотим принять добровольно то, что нам сейчас навязывает мировая « конъюнктура », а именно страдание, необходимость его как искупления. Эта идея страдания и искупления теперь совсем забыта. Меня сочтут сумасбродом, если я скажу : хорошо всё, что стряслось над Россией, что стряслось над Германией и, наконец, над всей Европой. Это — наказание и наказание очищающее. Но никто этого не понимает и не хочет понять. Потому что никто не читает восточных Отцов Церкви и забыли Христа. Забыли даже служители Церкви, особенно Католической. Ибо стремятся к прогрессу в старом смысле и в то же время знают, что он обречён и хлопочут, как бы найти какое-то дешёвое средство, чтобы вытащить его из зажора, в который он попал.

И как я вижу, особенно неисправимы Германия и Франция. И потому обречены; Англия — другое дело; но увы, её положительные черты всё же покоятся на гордыне, то есть на дьявольщине.

* * *

Христос сказал, что без Него люди ничего не могут сделать. Это подтверждается теперь. Со времени Возрождения человечество идёт к упадку. Прогресс — кажущийся. Вера в него построена на обмане, который поддерживается сознательно и всё больше и больше. Дело не в том, сколько в жизни благ земных: богатства, комфорта, усовершенствований, облегчений труда и нужды, поблажек лени, жажде наслаждений и удовольствий, удовлетворённых честолюбий и самолюбий, возможности для удовлетворения дерзаний и претензий. Дело в том, что во внутренней своей установке человек пошёл назад, точнее говоря, не назад, а вниз, он утратил драгоценные истины, которыми жил как идеалами.

Христианство дало идею всеобщего братства и человек жил ею, он жил как бы в семье, в близости к людям; он соответственно им давал и от них брал или ожидал или требовал. Ему легче было сносить обиду, бедствие от людей, несправедливость, ибо он был воспитан на заповедях терпения, прощения, любви и всеобщей ответственности перед Богом.

Теперь человек живёт в моральной пустыне, в отчуждении, в разобщении с себе подобными. Разделение внесено сначала национальностями, затем классами. Но пока сохранялось христианство, поверх разделений ещё жило сознание общего братства и равенства людей как детей общего Отца. Теперь этого нет. Группировки построены не на братской любви, но на сознании и учёте общих интересов, следовательно, на корыстном и эгоистическом расчёте.

У людей не было гордыни преуспеяния и априорной уверенности в автоматическом усовершенствовании жизни уже в силу самого процесса её развития. Было сознание всеобщего греха и недостоинства и потому стремление к личному, внутреннему совершенствованию.

Вследствие ощущения, что мир во зле лежит, не было нынешней избалованности и страха перед этим злом, была способность встречать его лицом к лицу, бороться с ним своими собственными силами, ничего не ожидая от « условий » и « общих объективных факторов », которые должны как бы сами собою, без

всяких усилий и жертв с нашей стороны принести желанный благой результат.

Суровость жизни, жестокость её, трудные окружающие условия мы привыкли считать бедствием, ибо уже более 400 лет человечество воспитывается на идее материального благополучия как искомом идеале, как цели жизни и деятельности человека и человечества, как основной задаче земного существования. Причём это материальное благополучие основывается на разумности и целесообразности, понятие которой заимствовано из представления о рационально поставленном коммерческом предприятии. С этой точки зрения весь большевистский порядок в России кажется абсурдом и нелепостью, а также обречённым на провал, ибо он с материальной и рациональной точки зрения убыточен, нерентабелен. Но это верно лишь в том случае, если признать абсолютно правильной нынешнюю мировую установку на материальный прогресс.

Большевизм потому-то и неотразим, и непобедим, и непреложен, что он, исходя из этой самой установки теоретически, опровергает её практически, т. е. в своём осуществлении материальной программы нашей современной цивилизации (т. е. окончательного осуществления « прогресса ») привёл к « варварству », к ужасным условиям. Таким образом ему как бы вверена высшая миссия доказать человечеству, что идя по пути материального прогресса оно должно прийти к противоположному результату, гоняясь за материальным благом, изобилием, богатством, оно должно прийти к нищете и к сплошному бедствию.

В этом-то и заключается *оправданность* большевизма в высшем плане истории человечества. Он не случаен, он не эпизод русской истории, он не плод русского варварства и отсталости, животности и грубости большевиков, рабьего духа русского общества, звероподобия Сталина и т. д. Все эти факторы и моменты явились весьма кстати, чтобы показать страшные потенции, заложеные в современной цивилизации, которая в своём отрицании религии и христианства неминуемо должна привести к оскотению человека, что уже и намечалось в ней в XIX веке в буржу-

азном быту и в буржуазном типе человека и что лишь ускорено и доведено до полной ясности в русском большевизме.

Ибо, сколько бы ни возмущались большевизмом разные писатели и другие с западно-европейской культурной точки зрения, большевизм полностью сроден западной цивилизации в своей лжи, маккиавелизме и атеизме. Он лишь более откровенен, ярок и безогляден.

Если бы он был целиком Западу чужд, то Запад полностью от него отказался бы, но Запад стоит на почве материальной выгоды и материального прогресса и им приносит всё в жертву. А отсюда все сделки с большевизмом. Ибо помилуйте : как же отказаться от торговых договоров? Ведь от этого пострадает та или другая отрасль индустрии, т. е. тот или другой доход, тот или другой комфорт, а в общей сумме пострадает наш западно-европейский прогресс. Караул! Фабрики остановятся, наступит экономический кризис, не будет сахару, масла и прочего, словом жить будет невозможно.

И потому отбрасываются все « принципы » и фразы о гуманности, честности, правде и с большевизмом заключаются выгодные торговые сделки, т. е. он поощряется и черпает силы и возможности в той же самой западной цивилизации, которая, однако, продолжает лживо себя противопоставлять русскому и большевистскому варварству.

В большевизме человечеству уготовляется смерть в социальной и моральной (духовной) сфере.

В развитии науки ему уготовляется смерть в виде атомной бомбы.

* * *

В своё время большевизм обуздал русскую общественную и народную стихию, раздираемую классовыми, идейными, национальными и религиозными противоположностями и противоречиями, обуздал анархизм и эгоизм личностей и групп и наспех, грубо, варварски сколотил для них внешнюю форму жизни, внутренне мертвящую и автоматизирующую, но достаточную для собственного самосохранения власти и,

как затем показали события, способную послужить государственным и национальным интересам России. Эта форма представляет теперь несомненную международную силу и охвачена агрессивной динамикой. Её существование должно служить грозным предостережением всему миру.

Европейское и другие, вышедшие из европейского, общества, несмотря на раздирающие их противоречия, держатся крепче своими вековыми связями традиций, навыков культуры, знаний, политического опыта, самодовлеющей, вошедшей в привычку дисциплины. Здесь нет тех предварительных предпосылок для большевизма, как в России и в Восточной Европе. И тем не менее опасность налицо, ибо если крепость сильна, то в лице мощного государства и мощной армии большевизм теперь тоже вооружён сильнее, чем он был против керенщины в 1917 году, рискуя на восстание Октября.

На спасение человечества и мировой культуры должен прийти новый подъём духа, новое его торжество над материей. Не от дальнейших успехов науки, техники и благоустройства зависит этот дух, но скорее от пренебрежения ими.

Недаром в мире там и сям раздаются авторитетные голоса, требующие контроля над научным и техническим прогрессом (над чем иронизируют большевики и учёные Советского Союза). Несмотря на то, что сейчас во всём мире стоят впереди вопросы производства и распределения материальных благ и особенно голодного или сытого брюха, но всё же многие чувствуют, что суть лежит в вопросах духа, ибо не управляемый духом материальный человек сдерживается только силой, а это явление и есть большевизм.

Что сейчас намечается мировое движение именно в этом направлении, за это говорит многое. Мы ещё далеки от преобразования, от духовного преображения, но разными путями западное человечество ищет его. Оживление церкви, отвращение от блеска и утончённости культуры, самый упадок этой культуры сравнительно с её недавней высотой на повороте XX века есть свидетельство этому; интерес к России, к большевизму, к примитиву — всё это симптомы искания и их

надо приветствовать, хотя старшим поколениям, современникам ещё недавнего цветения, и горько расстаться с воспитавшей и живившей их атмосферой. Нынешнее время с его противоречиями и исканиями можно назвать кануном новой эпохи.

Никто не знает готовых открыться в ней путей. В высшем плане истории, начертанном рукою Провидения, они предопределены, но для нас смертных они скрыты и выбор их предоставлен нашей свободной воле. Большевизм стоит как предостережение миру. Он несёт в себе форму жизни, основанную на страхе и принуждении. Эта форма вступит в свои права только если высокие стимулы жизни, сознание долга и добровольное самоограничение во имя высшего духовного начала — божественного и общественного — окажутся исчезнувшими из человеческих душ.

Антибольшевистский мир, по-видимому, всего менее думает о борьбе с большевизмом духовными факторами, т. е. собственным перерождением.

Должен очиститься *человек*, сам переродиться в одиночку путём внутренней борьбы, поста, молитвы, прильнув к ближайшему доступному ему источнику духовности, которые все, в конечном счете, восходят к христианству. Это, так сказать, авангард перерождения, авангард хронологический (т. е. первая стадия) и тактический, где все пока идут вразброд, в одиночку и питаются каждый своим духовным источником. Но в тылу движения, за этой завесой, должны организовываться главные силы, т. е. строиться церкви и выдвигаться духовные вожди, вестись планомерная пропаганда идей и практического поведения, а также социального переустройства не на основе экономических законов выгоды и целесообразности, а на основе нравственных законов благотворения людям и пиетета к природе.

Утопия? Возможно. Но всё же её надо провозгласить как цель, как идеал.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Achevé d'imprimer le 1er Avril 1971
sur les presses de la P.I.U.F. — Paris